

Октябрь

**СТО ЛЕТ
МИНУС
ПЯТЬ**

12 2019

Денис Осокин
Марта Антоничева
Ксения Викторовна Драгунская
Анна Александровна Матвеева
Ольга Сульчинская
Борис Мессерер
Игорь Савельев
Дмитрий Алексеевич Данилов
Дмитрий Петрович Бак
Булат Ханов
Тимур Валитов
Кирилл Рафаилович Кобрин
Марина Магомеднебиевна Ахмедова
Денис Викторович Драгунский
Алексей Борисович Сальников
Александр Сергеевич Бушковский
Геннадий Викторович Вдовин
Женя Декина
Юрий Викторович Казарин
Руслан Сафербегович Омаров
Евгений Анатольевич Попов

**Борис Дорианович Минаев
Владимир Иванович Салимон
Павел Владимирович Селуков
Вячеслав Николаевич Курицын
Анаит Суреновна Григорян
Юбилейный выпуск
журнала Октябрь**

*Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=48936901*

Аннотация

«Сто лет минус пять» отметил в 2019 году журнал «Октябрь», и под таким названием выходит номер стихов и прозы ведущих современных авторов – изысканная антология малой формы. Сколько копий сломано в спорах о том, что такое современный роман. Но вот весомый повод поломать голову над тайной современного рассказа, который на поверку оказывается перформансом, поэмой, былью, ворожкой, поступком, исповедью современности, вмещающими жизнь в объеме романа. Перед вами коллекция визитных карточек писателей, получивших широкое признание и в то же время постоянно умеющих удивить новым поворотом творчества. Это многолетние авторы журнала «Октябрь», такие как Борис Мессерер, Вячеслав Курицын,

Денис Драгунский, Борис Минаев, Евгений Попов, Ксения Драгунская, Денис Осокин, Владимир Салимон, Дмитрий Бак, Кирилл Кобрин, и те, кто сравнительно недавно дебютировал и в литературе, и на наших страницах: Дмитрий Данилов, Алексей Сальников, Павел Селуков, Булат Ханов, Анаит Григорян, Александр Бушковский и другие. Завершает нашу журнальную антологию обширная дискуссия ведущих критиков о премии «Поэзия», запущенной в год юбилея журнала, и публикация первых лауреатов премии со вступительным словом ее куратора Виталия Пуханова.

Содержание

Журналу «Октябрь» – 95 лет	7
Денис ОСОКИН	10
Денис ДРАГУНСКИЙ	20
Евгений ПОПОВ	31
Марина АХМЕДОВА	39
Владимир САЛИМОН	71
Александр БУШКОВСКИЙ	85
Ксения ДРАГУНСКАЯ	100
Алексей САЛЬНИКОВ	109
Руслан ОМАРОВ	120
Дмитрий ДАНИЛОВ	132
Женя ДЕКИНА	145
Борис МИНАЕВ	158
Ольга СУЛЬЧИНСКАЯ	174
Моя первая девочка	174
Мой первый мальчик	185
Злые бабы	201
Юрий КАЗАРИН	211
Тимур ВАЛИТОВ	222
Борис МЕССЕРЕР	232
Вячеслав КУРИЦЫН	249
Секуция в Мещанской	249
Бутерброды в Баден-Бадене	252

С чем же? С чем они – пирожки и бутерброды?	254
Рога в Берлине	258
Электричка до Нахабина	261
Павел СЕЛУКОВ	264
Сом	264
Синдикатчики	265
Анна МАТВЕЕВА	274
Булат ХАНОВ	323
Игорь САВЕЛЬЕВ	336
Анаит ГРИГОРЯН	351
Марта АНТОНИЧЕВА	370
Геннадий ВДОВИН	377
Дмитрий БАК	387
Кирилл КОБРИН	395
Премия «Поэзия»-2019	421
Дмитрий ВЕДЕНЯПИН[17]	424
Екатерина СИМОНОВА[18]	426
Возможно ли «стихотворение года»?	430

Журналу «Октябрь» – 95 лет

Сто лет минус пять

Наш юбилейный номер – уникальная антология лучших достижений литературы, свидетельство бесконечно расширившихся возможностей короткой прозы.

Пять лет назад, в свои девяносто, мы уже посвятили весь праздничный номер «Рассказу с ладонь» и малой прозаической форме. Подобно тому как сменяются поколения, сменяются и жанры: сегодня рассказ вновь поднимается на вершину литературы, сосредоточивая в себе все те социальные смыслы, остроту и артистическую энергию, носителем которых в прошлом и позапрошлом веке выступал русский роман. На наш взгляд, современная литература аккумулирует в этом жанре стремительную изменчивость сегодняшнего быстрого времени.

Не изменяя себе, «Октябрь» продолжает вести художественную летопись литературы и страны. Девяносто пять лет своей истории журнал выступает площадкой, на которой встречаются экспериментальное дерзновение и сила традиции, блистательные мастера и многообещающие дебютанты.

Журнал «Октябрь» – действующий центр литературной жизни, благодаря которому создаются новые связи между автором, читателем, издателем, премиальными комитетами,

филологическими кафедрами вузов. Журнал активно участвует в литературных событиях, выпуская специальные номера и целевые блоки материалов, посвященные значимым совместным литературным проектам как внутри страны (фестиваль «Аксёнов-фест» в Казани, Литературное собрание в Петрозаводске), так и в сотрудничестве с другими странами (российско-французский «Литературный экспресс», Фестиваль российской литературы в Сен-Мало, Российско-китайский литературный форум и др.), да и сам не раз был организатором такого рода проектов (проекта «Шелковый путь поэзии», Международных одесских фестивалей, Международной конференции по актуальным проблемам современной литературной критики).

«Октябрь», чей первый номер увидел свет в мае 1924 года, первым в стране вышел из-под ведомственного подчинения и в 1990 году зарегистрировался как независимое издание № 1.

Его история – летопись золотых имен русской литературы. На страницах журнала выступали Михаил Шолохов и Владимир Маяковский, Андрей Платонов и Юрий Олеша, Сергей Есенин и Михаил Зощенко, Александр Твардовский и Алексей Толстой.

Позднее на смену им пришли Виктор Астафьев и Фазиль Искандер, Владимир Маканин и Юрий Нагибин, Белла Ахмадулина, Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко.

Запрещенные советской цензурой стихи и прозу Анны

Ахматовой и Владимира Набокова, Василия Гроссмана и Фридриха Горенштейна, Александра Галича и Вячеслава Ходасевича тоже опубликовал «Октябрь». Он же открыл для российских читателей творчество Абрама Терца, Сергея Довлатова, Саши Соколова.

Здесь печатались мастера современной российской словесности, произведения которых стали классикой двадцатого века. Журнал также активно работает с авторами, начинающими свой путь в большую литературу. Наиболее яркие примеры тому в прошлом – Светлана Алексиевич, Татьяна Толстая, Алексей Варламов, Павел Басинский, Олег Павлов и другие. И в наши дни первые произведения многих молодых писателей обрели свой дом под обложкой «Октябрь».

Перед вами номер, где писатели разных направлений и поколений: постоянные авторы «Октября» и те, кто раньше не выступал на наших страницах или только недавно вошел в литературу, поздравили журнал не изысканными словами и восторженными эпитетами в наш адрес, а своими произведениями высочайшей художественной пробы.

Девяносто пять лет журналу – не многие издания в мире литературы могут похвастаться таким долголетием! С этим и поздравляем всех наших читателей и себя!

Денис ОСОКИН

йүд орол

Ночной караул

колокудо 2018

1

километр или полтора – между жилой деревней колокудо и нежилой маскародо. колокудо – значит двадцать домов. маскародо – род медведя. кроме названий я о них помнил только огромные, не по-земному огромные просто березы – высоченные, толстенные – в окрестностях этих деревень. или ветлы... а больше ничего. моя мама из маскародо. и я бывал здесь в глубоком детстве – когда живы были мамины родители. а сейчас и мамы давно уже нет. и дом тот стоит очень страшный. наверное.

2

я не был здесь двадцать восемь лет. хотя от города где я вырос и живу – до маминых деревень километров семьдесят. так вот вышло. а еще вышло вдруг что в день своего тридца-

типятилетия я поспорил с своей невестой, олей – хватил о стену телефон, сунул в сумку одеяло и пасту с щеткой, поймал на улице такси и поехал в колокудо. переночевать думал в мамином родительском доме в маскародо – если он еще вообще на земле стоит. а если развалился – в колокудо к кому-нибудь попрошусь. там должны помнить мамину семью. а может быть и меня. я ведь – олеш. или даже по-детски-марийски – оль. алексей по паспорту. шла уже вторая половина дня. и месяц стоял – октябрь.

3

я ехал и думал: зачем? зачем?.. и нас было жалко с олей – и телефон – и ночь предстояла неизвестно какая – но точно уж не уютная. на трассе хотел развернуть машину несколько раз – но всякий раз вспоминал оины слова – леденел и не разворачивал. здравствуй, колокудо. ни души. только висит красный таксофон на столбе. снял трубку – работает. здравствуйте, березы. все-таки березы вы. отыскав за деревьями и кустами дорогу на маскародо я пошел по ней и очень жалел что не подумал взять сапоги – сразу же весь устряпался. птицы, деревья и мелкая вода были моими спутниками. но я дошел. и вошел в улицу. деревня лежала неживая – и красок в ней не было. только дерево и изредка камень – невидимого цвета – цвета пустоты. даже улицей идти было трудно – потому что она заросла. хорошо что осень сейчас – не

зеленое лето. дома по обе стороны были разной величины, разного возраста – но все пустые. а дом в который приехал я оказывается все еще стоял. я зашел за ворота. ну и как я буду здесь теперь?

4

никак не буду. буду никак. я ведь этого и хотел. за этим и ехал. я сидел на сломанном стуле за сломанным столом и смотрел в сломанные окна прямо в заросли чего-то сломанного. кроватей не было. голодному и холодному мне видимо предстояло просидеть вот так до утра, может быть что-нибудь понять, чего-нибудь заметить – а скорее всего ничего не понять, ничего не заметить, только очень намаяться – и утром вернувшись в колокудо, а от него дотопав несколько километров по грязи до трассы уехать отсыпаться в город. но я немного ошибся. темнело стремительно. на подоконнике и части стены рядом с ним лежала лужица света и таяла. я за нее держался глазами. а как только она совсем исчезла – в окно постучали палкой.

5

- привет. раз приехал – выходи.
- привет. вы кто?

- мы от пожара деревню караулим.
по-марийски говоришь?
- нет.
- а. ну ладно. выходи – заговоришь.
- а что караулить если тут никого?
- значит пусть горит?
- и потом – с чего ты взял что тут никого?
- а кто здесь?

6

- ты идешь или нет?
- у меня нет сапог.
- мы тебе всё дадим.

7

я вышел на улицу. и никого не увидел. только палки и фонарики окружили меня со всех сторон. я почувствовал что на мне телогрейка и шапка, на руках вязанные перчатки, а на ногах сапоги до колен с сухими теплыми вкладышами. и – я думал и говорил на марийском.

- куда мы пойдём?
- да по деревне.
- до утра?
- до утра. ты голодный?

– не очень.

– хорошо. еды с собой полно.

голоса были и мужские и женские. вернее сказать – мальчишечьи и девчоночьи – молодежь. взрослых было двое всего. но может быть караульных было больше – и кто-то молчал? мы пошли улицей – от моего дома в дальний конец маскародо. не спрашивая – я теперь сам всё прекрасно знал о ночном карауле и о том как он обычно проходит и скорее всего пройдет и на этот раз.

– сколько вас?

– восемь. ты – девятый.

– многовато сегодня.

– ну так младшие вон увязались, обрадовались, интересно им.

– ну да.

8

на йўд орол выходят каждую ночь – по известному всем порядку – от семьи к семье. как на дежурство – ну так это дежурство и есть. как на общественное пастушество – все по очереди. делать ничего особо не надо – сидеть где-нибудь то там то тут – обойти деревню несколько раз, а если вдруг дым или пламя – всех будить, всем тушить – всё просто. чаще всего караульные сколачивали приятные-дружеские компании, не обязательно родственные, просто ответственность

лежала каждую ночь на конкретной семье – садились где-нибудь вплотную к деревне, при этом вне ее чтобы никому не мешать, в месте откуда всё хорошо было видно – жгли небольшой костер с чайником, большой нельзя, а то от пламени потеряешь зоркость, разговаривали и молчали, смеялись и пугали друг друга, а если кто в кого был влюблен – ну так они в темноте и за руки еще держались... я шел и обнаруживал внутри себя глубокую-яркую радость – я же так обожал эти ночные хождения. и даже бывал на них старшим лет с четырнадцати. а если летом – это ж вообще роскошь... мой бог... да меня ведь этот йёд орол и воспитал... просто – самим своим существованием. и я не сумею назвать для себя более сильных и внятных учителей. даже роши-кюсото не были так убедительны... святые места мне нравились, волновали – но сердечное общение с ними я всегда откладывал на потом. а йёд орол был всегда – как палка, как собака, как день и ночь. и я ждал его. я его по-настоящему любил. а через него и с его помощью – по-настоящему любил весь мир и себя в нем.

9

мы охраняли только маскародо. в колокудо была своя стража. но поскольку деревни совсем рядом – мы обязательно встречались между ними за ночь хотя бы раз. здоровались и какое-то время сидели вместе. а потом расходились. ко-

гда встречались – оставались вместе ровно столько сколько нам этого хотелось. компании караульных бывало что совпадали по духу и дружбе – а бывало что нет. я не удивлялся тому что обо всем этом знаю. как не удивлялся ночной своей теплой-удобной одежде, своей возбужденной радости, своему языку, который так ладно и складно и влажно зажил во мне, вернее и стал мной. я по-прежнему не видел вокруг себя никого – только слышал, видел же палки-фонарики и темную-темную деревню. и она была брошена, пуста. только тревоги это больше не вызывало. обратиться же с вопросом ‘кто вы?’ к тем кто пришел ко мне под окно и меня вызвал – я не мог: я понимал животом и спиной что это грубо, что этого делать не стоит. захотят – представятся. а нет – так и не надо значит. тем более что я уже ведь спросил – с этого вопроса и начал наш разговор. кто вы? – мы йүд орол, охраняем от пожара деревню. и меня сразу же напрочь покинул страх – а чувство самосохранения стучало моей кровью спокойно-спокойно. более того – так спокойно мне не было очень давно, многие годы, может быть никогда. и я наслаждался – покоем, своими шагами, невидимыми товарищами, бесстрашием, красотой.

10

а еще я не спрашивал – потому что знал с кем я сейчас в ночном карауле. ни с кем иным – как с судьбой. с чистой

судьбой. вот значит какая она из себя. надо ли мне что-то делать, пользоваться моментом? спрашивать или просить или спешить или к чему-нибудь подготовиться..? мои мысли были видны – мне сразу ответили – и я ответил:

– да нет, не надо.

– ну да, не надо.

– просто встреча?

– да. просто встреча.

– и ничего?

– и ничего, олёш.

11

мы ходили, ходили. ходили, ходили. перекусывали. жгли костер. потом тушили его. перекусывали снова. было вкусно. сидели на краю болотца на поваленном стволе. говорили мало. а иногда побольше. стояли в поле. сидели на крыше самого высокого дома в маскародо – забирались туда прислонив лестницу что валялась в том дворе. доходили до колокудо пару раз – и здоровались с тамошними ночными сторожами и поворачивали обратно. а потом стало понемногу светлеть – и я остался один. в одежде в которой приехал. стал мерзнуть, особенно ноги. попытался вспоминать марийские слова – и не вспоминал ничего кроме того что знал раньше –

здравствуйте, до свидания, слова с уличных вывесок и бутылочных этикеток... я же не был здесь двадцать восемь лет. и никогда не ходил в ночной караул – не успел по возрасту просто. перед тем как мне исполнилось семь я перестал сюда приезжать. но в этом ночном карауле я был. и во всех оживших во мне караулах – был тоже. я ничему за эту ночь не научился. я не хочу теперь даже говорить. не встретился с мамой и с ее родителями, ни с жителями маскародо, оставившими свои дома и поверхность земли. а разве я этого хотел? нет ведь. вот таких встреч можно было бы и впрямь испугаться..

12

мне очень захотелось сделать бумажный самолетик. только сделать его было не из чего. один девчоночий голос из наших караульных – голос который мне больше всех понравился и больше всех меня согревал – голос который другие называли таней, наверно невеста моя, судьба, с ней бы мы никогда не ругались – сказал в какой-то момент этой нехитрой однообразной ночи: я люблю бумажные самолетики. когда я вспомнил об этом – я был совсем в другой стороне от дома, с которого все началось – на дороге к колокудо. несмотря на зябкость и сырость в ногах – я вернулся в маскародо в дом, бывший когда-то нашим. а теперь и всю почти жизнь он и вовсе мой. или и мой тоже. только зачем он мне?.. вернулся

найти там бумагу. ничего путного не нашел. оторвал от стены кусок обоев. сложил самолетик. и пошел в колокудо снова.

13

я шел и пускал самолетик впереди себя. поднимал – пускал снова. поднимал – пускал снова. иногда он летел вбок. иногда планировал в лужи – и я к нему бежал – чтоб не размок совсем. и мне кроме этого ничего не хотелось делать больше. и никто мне не нужен был. никто кроме нас – дороги между маскародо и колокудо в месяц и час когда на ней никого не встретишь, самолетика из обоев и меня.

Денис ДРАГУНСКИЙ

Звери

рассказ

Тамара и Никита поехали раздавать гуманитарную помощь беженцам. Помощь была расфасована в одинаковые картонные коробки. Коробок было пятьдесят шесть, точно по числу беженцев, которых временно поселили в бывшем пионерлагере «Валентина», сто километров от Москвы. Тогда эти лагеря еще не снесли и не понастроили на их месте коттеджные поселки или просто виллы для богатых. Был, кажется, девяностый год. Апрель. Воскресенье. Одиннадцать часов.

Тамара была штатной сотрудницей российско-немецкого фонда «Гуманус», а Никита – членом общественного совета. Тамара была за рулем. Она быстро и ловко вела небольшой фургончик, иногда посматривая на бумажную, вытертую на сгибах карту – никаких навигаторов тогда еще не было. Никита сидел рядом, глядел на поля, уже совсем обтаявшие, покрытые нежно-коричневой прошлогодней стерней. Было скучно. Он зевал и переводил взгляд на Тамару, гадал, сколько ей лет: наверное, под тридцать или чуть больше, но все равно моложе него – ему-то в июне исполнялось сорок. Она была в жилете со множеством карманов, в туговатой юбке

камуфляжной расцветки, в тяжелых ботинках и шерстяных носках, скатанных книзу. Ноги были голые, потому что было не холодно, даже почти тепло.

Съехали с большого шоссе на узкую асфальтовую дорогу.

– Еще пятнадцать верст, – сказала Тамара.

– То есть полчаса?

– Примерно... – кивнула она и добавила: – Их специально в чертовой жопе селят, до электрички четыре часа пешком пилить, а автобус давно не ходит.

– Специально?

– Ну да. *Чтоб не расползлись.*

Никита внутренне поежился, услышав такое презрительное к людям слово, но виду не подал, лишь спросил, как же они поступают, если что-то вдруг случится.

– Есть машина у начальника лагеря. Скорую можно по радиции вызвать. Пожарных и ментов. И полевая кухня приезжает каждый день. Так что не кисни, Никита Николаевич. Всё гуманно, высший сорт! Ничего, что я на «ты»?

То есть она поняла, что он тайком возмутился. Какая чуткая – страшное дело.

Ответил:

– Да, конечно, давай на «ты».

Приехали.

Там в лагере было два дощатых «спальных корпуса» и что-то вроде клуба со столовой. Тамара поставила машину около крыльца. Посигналила.

Подбежали человек пять, мужчины и женщины.

– Где начальник? – Тамара вылезла из кабины.

– В Егорьевск уехал, – ответил пожилой мужик. – Сказал, в обед будет.

– Ладно, – сказала она. – Обойдемся. Собирайте народ! – и посигналила еще раз, долго и пронзительно.

Никита тоже вышел из кабины, огляделся. Тоскливый вид, однако: пустое поле, вдали тощий лесок, разбитая дорога.

Люди из спальных корпусов шли, почти бежали, к машине.

Когда они собрались, Тамара открыла заднюю дверцу фургона.

– Внимание! – сказала она. – Мы приехали от гуманитарного фонда. Привезли вам помощь. Посылки типа. В каждой посылке рис, сахар, масло, конфеты, печенье, халва, джем, – она загибала пальцы, – мыло, тушенка. Еще зубная паста. Вроде всё. На каждого человека по одной посылке. Есть парни поздоровей, чтоб мне самой коробки не таскать?

Выдвинулось двое мужчин лет сорока. Подошла еще одна

крепкая тетка.

– Под расписку выдаете? – спросила она. – По паспорту?

– Нет, – сказала Тамара. – Всё на доверии. Ну, понеслась... Эй! Ты чего творишь? А ну, отдай! – закричала она.

Потому что эта тетка, подождав чуточку, вдруг схватила сразу две посылки и побежала к отдаленному корпусу.

– Стой! Отдавай! – кричала Тамара ей вслед.

– Она вообще-то с дочкой, – сказал какой-то мужик.

– Тогда ладно, – успокоилась Тамара.

– Ай-ай-ай, да не очень ладно! – распевно сказал другой мужик. – Дочка уже хватанула! Вон они бегут, вон!

Да, две женские фигуры бежали по размокшей тропинке, тащили коробки.

– Суки! – заорала Тамара и побежала за ними.

Никита вдруг испугался за нее и побежал следом.

Вбежал в корпус, по коридору двинулся на крики, распахнул дверь комнаты и увидел, что мать и дочь лежат на полу, не позволяя Тамаре залезть под кровать и вытащить лишнюю посылку.

Тамара встала с четверенок, начала яростно объяснять, что ей самой не жалко, но кто-то из беженцев – «из ваших соседей, из ваших товарищей, ясно вам?!» – останется без передачи. Без сахара, печенья и варенья. «Не стыдно?!» Мать и дочь, не вставая с пола, заслоняя телами подкроватное пространство, молчали. У них дрожали губы и, казалось, слюна падала с зубов. Или это ему только показалось?

– Звери! – прошипела Тамара, плюнула и вышла вон.
Вернулись к фургону.

Он уже был пуст.

– Самообслуживание, блин! – сказала Тамара. – Ну, как-жись, поехали домой.

Захлопнула заднюю дверцу фургона, открыла кабину.

– А наша помощь где? – раздалось сзади.

Подошли еще человек пятнадцать.

– Уже, – сказала Тамара.

– То есть как «уже»?! – завозмущались люди. – Где наши посылки? Опять обман?

– Внимание, – железным голосом сказала Тамара. – Мы привезли сюда пятьдесят шесть коробок. Ровно по числу проживающих в данном пункте временного размещения. Вот накладная, – вытасила из кармана бумагу, развернула, потыкала пальцем в цифры прямо перед носом самого старшего мужчины – смуглого, седого и тощего.

Тот моргал глазами, поправлял очки.

– Увидели? Поняли? Еще кто хочет посмотреть? Нет? – Она спрятала накладную обратно в карман, застегнула его на молнию. – А что ваши соседи всё разокрали в две минуты, так вы сами с ними разбирайтесь.

– Под расписку надо было выдавать! – крикнули сзади. – Стеречь было надо!

– Так я, значит, и виновата? – возмутилась Тамара.

– Где наши посылки? Отдайте наши посылки! Жулики

московские! Отдайте, хуже будет!

Люди обступили машину. Никите стало чуточку страшно: а вдруг они их не выпустят, устроят самосуд, черт знает. «Несчастные, отчаявшиеся люди, – думал он. – От таких можно всего ожидать. Вплоть до».

– Стоп! – Тамара снова отперла заднюю дверцу фургона. – Смотрите! Все пусто. Ничего нет. Всё ваши дружки-приятели разокрали. Ну, – наступала она, – чего смотрите?

– Нам жрать нечего! – крикнула женщина.

– На! – закричала Тамара, выхватила из кармана выкидной нож; щелкнуло лезвие. – На! – Тамара протянула этой женщине нож и свою левую руку. – Отрежь кусок, зажарь и сожри! Больше у меня ничего нету!

Женщина зарыдала. Старики оттащили ее. Тамара спрятала нож. Люди стали медленно расходиться.

* * *

– Звери, – вздыхала Тамара, гоня машину по шоссе. – Чистые звери. У своих крадут.

– Это несчастные люди! – Никита в ответ качал головой. – Ты хоть представляешь себе, чего они натерпелись? Полный обвал, и впереди ничего. Никаких перспектив. Никакого будущего. Вообще. Это же страшно! Я не могу их ругать и осуждать. Вот честно, не могу.

– Звери, звери, – повторяла она. – Я к этим бабам при-

смотрелась, которые лишнюю посылку сп...здили. Обе беременные. На шестом примерно месяце, точно говорю.

– Ну и что?

– А то, что они здесь уже больше года торчат. Они уже здесь между собой перетрахались. Погоди, они еще размножаться начнут. Уссаться.

– А ты злая, – сказал Никита.

– Зато ты добрый. Минус на плюс, в результате нолик.

Небо потемнело. Сверкнуло, загрохотало. Они въехали в ливень.

– Люблю грозу в конце апреля, когда весенний что-то там! – засмеялась Тамара. – Стоп. Смотри, прямо завеса водяная. Я не могу вести. Ничего не вижу. Постоим?

– Постоим.

Тамара съехала на обочину, заглушила двигатель.

– Радио включить?

– Не надо, – сказал Никита. – Давай послушаем дождь.

Дождь и в самом деле на разные голоса тарабанил по капоту, по крыше, по стеклу. Дворники попискивали, не справляясь со струями воды.

– Послушаем дождь, – тихо повторила Тамара. – Кап-кап, трын-трын. Какой ты лирический. И добрый. Наверное, из богатой семьи? – Она выключила дворники, и в кабине стало еще темнее.

– Ну, так, – сказал Никита. – Более-менее обеспеченные. Папа доцент. Мама просто старший преподаватель.

– Тю! – сказала Тамара. – У меня покойный папа был профессор МАИ, а мама была секретарь Фрунзенского райкома партии. По оргработе. А я вот получилась злая. Поцелуй меня за это.

Она что-то нажала под его сиденьем, и спинка откинулась назад. Она налегла на него сбоку. Они долго целовались, потом она левой рукой стала освобождать его от одежды.

– Ох ты, – лопотала она ему прямо в ухо. – Ох ты какой... Ох, я уже вся мокренькая... Давай я на тебя присяду, м-м-м?
– М-м-м... – кивнул он.

Она задрала юбку и что-то сделала со своими трусами – наверное, сдвинула на сторону.

– Вот ты какой, – громко вскрикивала она. – Ну ты какой...

Никита чувствовал, что ему просто прекрасно, как не было, пожалуй, никогда, – из-за какого-то сладкого легкомыслия, до сих пор не испытанного ни разу. Он всегда сдерживался, затягивал время, чтоб женщине подольше было приятно, и следил за собой, чтоб вовремя вытащить, а тут он чувствовал беззаботное и безнаказанное удовольствие. Но все-таки спросил, скорее, по привычке:

– Можно?

– Давай! – задрожала она и потом застонала: – Ой, как тебя много... Ой, как хорошо...

– Не боишься? – шепнул он.

– *Главное, ты сам не бойся!* – сказала она. – Платок но-

совой есть?

– В кармане брюк, достань сама, мне далеко тянуться.

– Спасибо.

* * *

Но эти слова – «главное, ты сам не бойся!» – Никита не забыл.

Особенно стал помнить после восемнадцатого июня, это был день его рождения, сорок лет, и папа-доцент произносил тост и сказал: «Главное, сынище, ничего не бойся! Понял, что отец говорит? Главное – не бойся!» Кажется, Никита даже покраснел, потому что рядом с ним, во главе стола, сидела его жена, и она засмеялась, и чокнулась с ним, и сказала: «Вот именно! Слушай папу!»

Потому что жена считала его человеком, мягко говоря, нерешительным.

«Что же она тогда в виду имела? – сотый раз спрашивал себя Никита. – Ну, конечно, скорее всего, какую-то обыкновенную ерунду. Типа не бойся, не залечу. А если залечу, то сама справлюсь. Скорее всего, так. А может быть, в другом смысле? Что она такая отвязная, захочет – забеременеет и родит? Безо всяких мыслей о будущем? Вот как эти тет-ки-беженки. Ужас».

В конце июля, после отпуска, он пришел в фонд «Гуманус» получить бумагу о том, что он является членом общественного совета. Якобы это нужно было в отделе кадров его института. Так он объяснил жене.

В коридоре он сразу же наткнулся на Тамару.

Она была в той же самой камуфляжной юбке и в жилете с двадцатью карманами. Только вместо тяжелых шнурованных ботинок на ней были босоножки; виднелись толстые пальцы с короткими некрашеными ногтями.

Но главное, у нее торчал беременный живот. Несильно, но явственно.

– Привет, Никита Николаевич. – Она спокойно чмокнула его в щеку. – Как дела, как жизнь, как успехи?

– Привет, – сказал он, приобняв ее за плечи. – Ты...

– Что я? – Она немного нарочито подняла брови.

– Ты беременна?

– Нет, что ты! – засмеялась Тамара, хлопая себя по животу. – Пирожков наелась в буфете! С капустой!

– То есть...

– Ты, вообще, считать умеешь? – Она засмеялась еще громче и стала загибать пальцы. – Май, июнь, сейчас июль! За три месяца такое не нарастает. – Она снова хлопнула себя по животу. – Не тоскуй, Никита Николаевич, все хорошо.

– То есть ты уже была беременна?

Она кивнула.

– Ты, наверное, замужем?

Она кивнула снова.

– А кто твой муж?

– Ну, всё тебе сразу расскажи! – хмыкнула она.

– Ладно, – вздохнул Никита. – Хорошо. Тогда пока.

– погоди, – сказала Тамара. – Минутку. В воскресенье надо ехать гуманитарку раздавать. Лагерь под Шатурой. Отъезд отсюда в девять ноль-ноль. Я тебя запишу к себе в пару?

– Конечно, – сказал он. – Обязательно.

Евгений ПОПОВ

«Случай» на станции Варварка *Святочный рассказ «из жизни»*

– Вот над новыми русскими когда-то повадились смеяться и сочинять про них анекдоты, а ведь они всегда были совершенно разные, не говоря уже о крайностях, когда один олигарх убил жену с расчленением и шьет рукавицы в Красноярском крае, а другой выиграл у англичан миллион фунтов и вступил в партию, название которой я не выдам даже под пытками. Заодно не спрашивайте меня, почему я терпеть не могу недорогие мужские духи «Пол Смит»...

Иван Иванович лукаво, как Ленин, прищурился на нас, и мы все замерли в ожидании его нового интересного рассказа «из жизни». Все мы – я, Фофанов, Егорчиков, Абдрашитов, Шепета, Колесов, Ким, Лобычев, Кабаков, Гаврилов, Кац, Салимон.

– Если уж тебе в чем не везет, то с этим совершенно и не надо бороться, – решил наконец новый русский Эдик, когда отроги Сихотэ-Алиня затянул предательский туман и стало понятно, что ни один самолет сейчас взлететь не может, а тем более спортивная «Сесна», принадлежащая лично Эдику, которой он управлялсам, не доверяя этот дорогостоящий

механизм более никому на свете.

Тоска не отпускала. Эдик мучился, потому что никак не мог понять, что это такое – тоска, когда последнее время дела идут так ладно. Не то что в прежние близкие времена, где его компаньоны вдруг оказывались предателями, дефолт караулил человека за каждым углом и даже прекрасные женские глаза светились знаком «\$», как электролампочка вольфрамовой нитью. На одной из обладательниц таких глаз он и женился тогда, хотя сейчас их совместная жизнь явно зашла в тупик: Эдик мечтал о сыне, жена рожать детей решительно не желала, утверждая, что «это портит фигуру». А фигура ей была ой как нужна на пляжах экзотических стран и островов, куда она обычно ездила в одиночестве, утверждая, что «супруги время от времени должны отдыхать друг от друга».

В проходящий поезд «Москва – Владивосток» он сел без труда, потому что билеты сейчас, надо прямо сказать, стали довольно дорогие, а если даже их нет, то всегда есть билеты в вагон «СВ», которые еще дороже.

А Эдик, как вы понимаете, был богат, относительно богат, потому что абсолютных богачей не существует, равно как и абсолютных бедняков. Человеку всегда есть куда развиваться: вверх ли, вниз ли, влево, вправо – все равно. Человек ведь вовсе не безнадежен, как бы об этом ни твердили различные исследователи человека, начиная от времен Гомера и заканчивая временами Сорокина.

Главное, как это ни странно, чтобы человек был хороший.

А Эдик этот наш был ну уж, может быть, и не так хорош, как ангел, но уж и не такая дрянь вроде черта, каковыми являлись и являются многие деятели его сословия, отдельные представители которых вдруг безвременно, в расцвете злых сил оказывались на кладбищах, зато другие вдруг взлетали на такую высоту, где их и установкой «Град» не достанешь.

Эдик всегда пытался вести свои дела честно, помня, что первоначальный капитал ему достался в прямом и переносном смысле от Бога. Дело в том, что на самой заре начала конца перестройки он вдруг оказался в братской черноморской стране на букву Б., где еще всюду свирепствовали старые порядки и в частности было запрещено верить в Бога и торговать иконами. А у нас в России уже всюду выпускали бумажные иконки. Эдик тогда признал денег у родственников и коллег по Центральной научно-исследовательской лаборатории Министерства цветной металлургии, где он парился в качестве младшего научного сотрудника, и, прикупив таких бумажных иконок на все эти деньги, перевез товар в братскую страну Б., где с помощью уже новых коллег, зарубежных компаньонов по бизнесу, наклеил иконки на полированные, тонированные деревянные дощечки, которые были проданы с прибылью более тысячи процентов. Дальнейшее – понятно. Сейчас, например, он занимался разработкой заброшенных молибденовых рудников. И здесь тоже все было по-честному. Потому что, во-первых, до рудников из-за низкого содержания в них молибдена и золота никому

не было дела, а во-вторых, Эдик решил на месте организовать переработку руды до состояния конкурентоспособного концентрата, отчего и оказался перед самым Новым годом в этих диких для него дальневосточных краях.

– Может, в картишки перекинемся, – предложил ему сосед, так и не представившийся по имени вальяжный господин с набриолиненной головой, резко пахнувший недорогими мужскими духами «Пол Смит».

Эдик отрицательно покачал головой.

– Тогда... может это... глоточек виски со льдом, – заторопился вальяжный, искоса поглядывая на дорогой кожаный портфель странного попутчика, возникшего в этом двухместном купе буквально ниоткуда и вот уже полчаса молча глядящего в темное окошко, за которым своей отдельной жизнью жила невидимая Россия.

– Нет, не хочу, – сказал Эдик.

– Почему? – искренне удивился его визави.

– Тоска потому что, – нелюбезно ответил Эдик и вышел в коридор, резко затворив за собой дверь. Растворил другую дверь и шагнул в морозный тамбур, чтобы продышаться перед походом в вагон-ресторан. Поезд внезапно замедлил ход, и сквозь морозное стекло вагона перед Эдиком вдруг мелькнуло тусклое «Ст. Варварка Приморско-Сиб. ж. д.».

И будто какая-то неведомая сила заставила Эдика рвануть обратно в купе, схватить портфель, натянуть кожаную куртку и выскочить из поезда уже практически на ходу, не

обращая внимания на удивленные причитания проводницы: «Пассажир, вы куда?».

Остановился. Огляделся. Все было как прежде, двадцать с лишним лет назад, когда студентом Московского геолого-разведочного института имени С. Орджоникидзе он проходил здесь практику на молибденовом комбинате, изнывая от скуки по столице. Да нет! Здание станции было аккуратно оштукатурено, пластиковые окна помещения говорили о наличии в нем евроремонта, уютно светилась неоновая витая вывеска «Кафе “Случай”». Эдик зашел.

В кафе было практически пусто, если не считать одной явно влюбленной парочки, занявшей угловой столик, украшенный предновогодней едой и бутылкой шампанского. Из динамиков тихо играла ненавязчивая музыка, и Эдик, тоже занявший стол, с удивлением узнал в этих звуках мотивы своего любимого Первого концерта для скрипки с оркестром Мендельсона.

То есть любимого тогда, двадцать с лишним лет назад, и здесь, на бедной станции Варварка, где он познакомился с Галочкой, юной учительницей литературы средней школы, куда она только что прибыла по распределению из громадного сибирского города К., стоявшего на великой сибирской реке Е., впадающей в Ледовитый океан. Именно она и приохотила молодого геолога, которому, по его собственному признанию, «медведь на ухо наступил», к классической музыке, именно под звуки этого Первого концерта они жарко

любили друг друга тогда, перед тем как расстаться навсегда.

– Кто-нибудь, подойдите ко мне! – Эдик решительно постучал столовым ножом по графину с водой, уже стоявшему на чистой скатерти в окружении комбинации приборов-приправ: соль, перец, уксус, масло. «Прямо как на Западе, – зло усмехнулся он. – А обслуживание как было, так и осталось совковое».

– Извините, заговорился, вот меню, – перед ним, покинув свою спутницу, чуть-чуть прихрамывая, остановился один из «влюбленных», рослый парень в черном костюме с зауженными лацканами.

– Да нет, это вы меня извините, – невольно смутился Эдик. – Я ведь, собственно, никуда не спешу.

– Мы с мамой, признаться, не ожидали сегодня посетитель, – сказал парень, который пристально... да-да, пожалуй, даже слишком пристально всматривался в лицо странного клиента.

– С мамой? – удивился Эдик, переведя взгляд на аккуратно причесанную девушку, которая приветливо махнула ему рукой из-за углового столика.

– Нет. – Парень замялся. – Это – моя невеста Лена. А кафе принадлежит моей матери. Я же просто работаю у нее и учусь заочно в Педакадемии, после того как пришел с той войны, о которой уж давайте не будем сегодня говорить, в этот праздничный день... Эдуард Иванович.

– Вы знаете меня? – удивился Эдик, не веря своим ушам.

– Да, Эдуард Иванович, – просто сказал парень. – Ведь ваш портрет я однажды нашел в бумагах мамы, и тогда она была наконец-то вынуждена ответить мне, как зовут моего отца. Но она... она никогда вас ни в чем не обвиняла. Она говорила лишь, что «так получилось». Она ведь так и не вышла больше замуж. Она до сих пор любит вас.

– Стой. Постой. Ты ничего не путаешь? Тебе сколько лет?

– Двадцать с лишним... папа, – тихо сказал парень.

– Так приди же ты скорей в мои объятия, сынок! – Эдик неловко поднялся, и предательские слезы потекли из его на секунду ослепших от счастья глаз. – Но я же ведь ничего не знал. Почему? Почему она не написала, не позвонила мне? – все твердил и твердил он.

– Вы бы знали, какая она гордая, наша мама. Ведь и сейчас она делает вид, что все о'кей, хотя и молибденовый рудник, и обогатительная фабрика – всё теперь стоит в ожидании настоящего хозяина, – сказал парень.

– Все поезда куда-то уходят, а я остаюсь, – вдруг пробормотал Эдик.

Они все еще стояли обнявшись. И лишь поэтому не видели, как открылась дверь и на пороге появилась статная, высокая, все еще красивая женщина с седой прядкой волос и бездонными голубыми глазами, так и не потерявшими прежней чистоты.

– Галина Никифоровна, не мешайте им, – сказала Лена, приложив палец к губам в ответ на ее немой вопрос.

Тихо падали снежинки. Играла тихая музыка. Вальяжный господин, оставшийся в одиночестве двухместного купе поезда «Владивосток – Москва» был сильно разочарован. В дорогом бумажнике тисненой кожи, который он успел вытащить из портфеля полоумного попутчика-растяпы, не было ничего: ни денег, ни кредиток, ни документов. Ничего, кроме портрета юной женщины, миловидным лицом которой невольно залюбовался даже этот мелкий набриолиненный негодяй, резко пахнувший недорогими мужскими духами «Пол Смит». И юное миловидное лицо молча смотрело на него. Было двенадцать. Было двенадцать.

Было двенадцать. Было двенадцать.

– Ну, что же вы это приуныли, друзья? Ведь жизнь продолжается, – улыбнулся Иван Иванович, закончив свой рассказ.

И мы все заулыбались, задвигались. Все мы: я, Фофанов, Егорчиков, Абдрашитов, Шепета, Колесов, Ким, Лобычев, Кабаков, Гаврилов, Кац, Салимон.

Наш поезд летел вперед, на восток.

– Жизнь скоро будет совсем замечательная, – сказал Иван Иваныч.

Марина АХМЕДОВА

Корова

рассказ

«Погуляла и хватит, погуляла и хватит», – повторяет про себя Галя, когда выходит из рощи, из запаха муравьиной кислоты и земляных грибов на яркий солнечный свет. Он ослепляет ее на миг, и в этот миг Галя надеется увидеть Зайку пьющей из речки.

– Зайка! – строго кричит она.

Три желтые коровы, аккуратно пившие из мелкого течения, в котором едва смогли утонуть велосипедные шины, испуганно бросаются на берег и уходят, повиливая хвостами, в высокий сорняк.

Галя заходит на мост, берется за шершавые, горячие от солнца перила и смотрит на острые макушки темно-зеленых елей, отчетливо прорезающихся на фоне искрящегося синевой неба.

Что-то тянет ее смотреть в сторону леса, а не на село, где у самой реки, на краю, кривится злополучный дом. Дом Гороховых – с заросшим бурьяном огородом, а у других в это время уже поднимается картошка. Дом Гороховых – самый близкий к речке. Все в округе слышат ее голос и понимают: Галя Зайку ищет.

Галя опускает голову. Река мутнеет, камушки и бутылки, лежащие на грязном дне, размываются, оттого что Галя смотрит на них сквозь мутную линзу слез. Слезы наконец отрываются от глаз, падают в недвижную водную гладь речушки, никак не побеспокоив ее.

Галя касается согнутыми пальцами ресниц и чувствует, что всего две слезы забрали у нее силу. Раньше она плакала не так: в последний раз плакала три года назад – по мужу, который ушел к другой в Мую. Плакала весь год, все триста шестьдесят пять дней, а потом перестала. В тот год слезы шли просто, и чем сильнее, тем больше сил появлялось на то, чтобы плакать.

– Зайка! – кричит она, голосом приказывая отозваться.

Кричит так громко, чтобы в доме Гороховых слышали. И тон выбрала такой, чтобы Гороховы понимали: это им она приказывает вернуть Зайку, рыжую покладистую корову, такую беззлобную и безобидную, что Галя, назвав ее сначала Зойкой, незаметно для себя отказалась от первой клички и стала звать ее ласково – Заинька, Зайка.

Эти – вечные тунеядцы и алкоголики Гороховы – могли ее увести. Других коров не тронули – охота им разбираться с хозяевами? – а Зайка старая, за нее спросу меньше: зарезал, и всё. И Галю можно не бояться, она с тех пор, как Сергей ушел в Мую, одна.

В голову печет, но она все смотрит и смотрит на лес – высокий, он забирается на гору, но никогда солнце, как бы жар-

ко оно ни палило, не могло выбить из него ярких красок. С расстояния он всегда оставался темным, в отличие от лугов, лежащих у горы. Луга пестрели оттенками зеленого, хоть на них и росла одна и та же трава – все зависело от того, под каким углом на них солнце ляжет.

Люди стали ее меньше уважать – это она заметила еще в первые недели, как осталась без мужа. Галя ничего не сделала такого, чтобы люди переменялись к ней. А у селян все равно появилось пренебрежение. Она была уверена, что ни бывшему мужу, ни людям ничего дурного не сделала. И она жаловалась на людей, обращаясь вверх, к небу. В Бога Галя, как и все тут в селе, не особо верила, но чувствовала, что над горой, над лесом, над животными и над людьми есть еще что-то, высший разум какой-то. И ей хотелось, чтоб этот разум понимал, как несправедливо то, что произошло с ней. Ведь должен этот высший разум существовать хотя бы для того, чтобы понимать человека, когда все вокруг его не понимают.

Оставшись одна, Галя в первый год часто выходила из своего дома под ночь и сидела на лавке во дворе, глядя в небо, в котором высший разум зажигал звезды низко, как под куполом планетария. Про себя она спрашивала: почему Сергей ушел – и просила вернуть его обратно домой, веря, что и это зависит от высшего разума, если тот ее, конечно, понимает. Сидя в темноте, она находила созвездия, вычленяла их из разбросанных по небу звезд, очерчивала глазами их грани, как когда-то, еще в школе, она обводила карандашом созвез-

дия в астрономическом атласе. Галя мечтала стать астрономом, но стала продавщицей.

Через год Сергей все-таки не вернулся, слезы почему-то кончились, и Галина перестала разговаривать с высшим разумом. Сейчас она не просила его за Зайку. Но иногда думала: ему, находящемуся выше всего видимого, может просто не нравится, когда люди обращаются к нему с вопросами, ответы на которые знают сами.

Дом Гороховых стоит криво. Пристроенный к нему черный сарай съезжает по склону, почти не оставляя между прогнившей стеной и косым забором зазора. Зелень под забором растет сочная, но то плохая трава – просо сорное, крапива, рогачка.

Людам, живущим в таком доме, ничего не стоит позариться на чужое, поднять руку на животину. Что им корова, когда они с детства родную мать били. Все село знало, как бьет Дарью пьяный муж Игорь. Он и трезвый ее бил, но с еще большим смаком. А устав бить, подговаривал сыновей: «Бейте ее, не жалейте». И они били – сначала отца боялись послушаться, а потом били уже с удовольствием.

Дарья еще жива, а муж ее давно умер – утонул пьяный в водохранилище. Один сын отсидел в Иркутске за кражу, только вернулся. Второй зимой пьяный всю ночь на снегу пролежал, отморозил руки и ноги. Теперь калека, не встает, а местные алкоголики, которым Галя давно уже, несмотря ни на какие уговоры, не отпускает в долг, в этот дом тянутся,

как на мед.

Она спускается с моста и направляется к дому Гороховых. Уже четвертый день она приходит сюда в надежде на чудо – увидеть Зайку среди других коров. И четвертый день хочет Галя зайти в дом Гороховых и сказать: «Съели так съели, уроды. Только мне скажите, чтоб больше я ее не искала, если так».

Может так совпало, что в это же время из тюрьмы вернулся старший сын Гороховых.

В тот вечер, не дождавшись Зайки, Галя побежала на речку, вернулась одна, уложила дочь спать, поспешила к соседям. Попросила жилистого, сорокалетнего Володю Сомова и молодого коренастого Сашу Ямова, только что вернувшегося с покоса, пойти с нею в лес – Зайку искать. Прошли лес от начала до конца, от конца до начала, справа налево, слева направо, светя фонарями между стволами. До самого водохранилища через лес дошли, и фонарный белый свет, будто палками, поворошил там дурную траву, кустарник, мусор, оставленный отдыхающими, и, когда дошел до серой кромки воды, сердце у Гали екнуло, словно потревожил искусственный свет воду и то, что она скрывала под собой. И то самое чувство, которое обычно приходило к ней, когда она в дневное время оказывалась рядом с водохранилищем, сейчас поздним вечером обожгло ее и, заполнив вены, быстро остыло закупоренным ужасом.

В голове ожили рассказы бабы и деда, родившихся тут и

живших на земле, покрытой сейчас водой, пока им не приказали покинуть свой дом и переехать на новое место. Там внизу – несколько деревень с домами, кладбищами, пастбищами и кедрами. Толстоствольными кедрами. А больше на сто километров радиуса вокруг Юголока кедры не растут.

Купаться Галя тут никогда не могла, и никто из ее ровесников – до тридцати пяти лет – не мог. А те, кто моложе, купались: им бабы и деды не рассказывали на ночь о доброй земле, где росла земляника – в июне уже красная с двух боков, светило самое ласковое солнце и цвела самая белая черемуха.

Гале в ту ночь приснился сон: будто баба выходит из воды и выводит Зайку, держа за левый рог. Луны нет, но баба и Зайка посеребрены белым светом фонаря, который светит откуда-то с неба.

Галя, проснувшись, встала, накинула на разгоряченное тело халат и вышла в ночь. Она опустилась на лавку и смотрела на созвездия. В это время года звезды низко опускаются над землей, показываются даже крупичные, и сейчас, в августе, можно даже увидеть, как некоторые звезды падают с небосвода и летят за гору, на то широкое поле, где пастбища.

Галя смотрела на небо, и настоящий, не искусственный свет звезд успокоил ее. Галя сказала себе, что Зайка жива.

А теперь Галя стоит у гороховского дома. Дальше – только сараи и брошенные дома. Она неодобрительно качает головой, глядя на утлое хозяйство Гороховых. Решительно раз-

вернувшись, не зайдя в тот дом, Галя идет по тропинке спиной к лесу.

В траве вдоль тропинки жужжит и звенит. И чем ниже опускается солнце, тем земля звенит сильнее, словно в ней работает бесперебойный генератор, в котором каждое насекомое и каждый стебель знают свою роль и свое место...

Лес темнеет за спиной Гали, и, когда она отходит от дома Гороховых на приличное расстояние, между еловыми лапами высовывается рыжая голова тощей коровы. Темные ласковые глаза коровы тягостно смотрят на удаляющуюся хозяйку.

Галя спускается к сельскому клубу – вытянутому строению, похожему на коровник. Красная дверь клуба плотно закрыта, будто навсегда. От клуба Галя выходит на улицу Ленина. Дома в Юголоке – в один этаж, одинаковые, собранные из бревен, почерневшие, но многие украшены белыми, желтыми и голубыми резными наличниками. У каждого дома в огороде сочно поднимается картошка, а от дров, сложенных у заборов, пахнет смолой – горько сосновой и сладко березовой.

Слышится стрекот. На красном, похожем на муравья мотоцикле к ней подъезжает сосед, пенсионер Анатолий. «Сейчас спросит про Зайку, – думает Галя. – А потом, втягивая щеки, скажет, зря я с ней тянула». В последний год сельчане заладили спрашивать Галю, почему она не режет свою Зай-

ку – корову старую, давно не дающую молока. Подсчитывали, сколько сена съедает ее корова, а Галя – мать-одиночка. Ей должно быть накладно без проку корову держать. Шутливо отмахиваясь от вопросов, Галя про себя раздражалась: можно подумать, Зайка ест сено, купленное из их кармана, а не из ее собственного.

Соседу Анатолию Галя отпускала мясных продуктов в долг не скупясь. Тем более хозяйка магазина, в котором она работала, Алена поощряла продуктовые долги: чем больше люди брали под роспись, тем больше возвращали с получки и с пенсии. Но с позапрошлой пенсии сосед не вернул ни рубля, и с прошлой тоже. Оттого, видать, в его глазах теперь при встречах с Галей появляется этот подобострастный блеск.

Сосед тормозит мотоцикл, оттолкнувшись ногой от желтой земли. Одним взглядом Галя вырезает его из пространства всего по пояс – блеклые сухие глаза, съеденные щеки, тонкий синеющий рот. Ворот белой рубахи, расстегнутой на впалой, смуглой от знойного солнца груди, глубокие складки на морщинистой шее – темные, словно в них аккуратно насыпали щепоть грязи, поднятой с земли. Серую нитку на шее с ключиком вместо крестика. Всю жизнь он носил этот ключ на простой нитке. Так давно носил, что уже никто и не спрашивал, от чего этот ключ, и какой замок отпирает, да и существует ли этот замок.

– Зайку ходила смотреть? Не нашла? – спрашивает Анатолий, прокручивая в сухих ладонях ручки руля и втягивая

щеки. В последнее время усилилась в нем эта привычка – всасывать щеки, будто самого себя поедом ест.

Галя ничего не отвечает, ведь и так ясно: если б нашла, она и Зайка сейчас стояли бы вместе.

– Предлагал же я, – говорит он, с деланным сожалением заглянув ей в глаза.

С неделю назад Анатолий приходил к ней. Позвонил в звонок у калитки, зашел во двор, сухо, гулко и глубоко откашливаясь. Галя вышла из дома. Сосед протянул надутый пузырем пакет. Ручки пакета были завязаны, а через пластиковые стенки просвечивала желтая вода, в которой лежало что-то темное.

– Сома тебе принес, – сказал он. – На рыбалку с утра на водохранилище ходил. Мы с женой уже одного изжарили – обалденно вкусный. Иди, унеси пакет в кухню, разговор у меня к тебе есть.

Галя зашла в дом, неся пакет на вытянутых руках. Опустила его в раковину и вернулась во двор.

– Вчера шел по дороге, – серьезным тоном заговорил сосед, – коровы с луга возвращались, и твоя Зайка среди них. Я так посмотрел на нее, а она идет, на передние ноги прихрамывает. Присмотрелся: суставы надутые, плохо гнутся. Знаешь, что это? Водянка. Хочу поближе рассмотреть. Пустишь?

Галя отстранилась с узкой дорожки между стеной дома и зеленым забором, пропуская соседа к хлеву. Поправляя по-

деловому козырек мятой кепки, он обошел дом.

Зайка подняла рыжую голову и неловко встала на четыре ноги. Пятясь задом, она отошла к бревенчатой занозной стене и прилипла к ней, мотая головой, часто дыша и с тревогой глядя на Анатолия.

Галя вошла следом за ним. Открыв дверцу стойла, она поспешила к Зайке, взяла за левый рог, погладила по шее, чувствуя на плече влажную испарину коровьего дыхания. Запрокинув рогатую голову, Зайка беспокойно поймала глаза хозяйки.

– Тихо, Зайка, сказала – стой! – приказала она.

Анатолий тоже втиснулся в стойло, поймал коровье колено и сжал его. Пальцы с желтыми от никотина ногтями провалились в водянистую плоть. «Будто в магазине, – подумала про себя Галя, – щупает палку розовой колбасы. Что ему за дело до Зайки? Услужить хочет, как будто мне лично за-должал».

– Да, водянка, – важно сказал сосед, выпрямляясь. – Будем резать? – спросил, вытирая руку о серые штаны, коротко подбитые снизу над костлявой синеватой щиколоткой. – Если надо, я помогу, – продолжил он, принимая ее молчание за нерешительность. – Ты только скажи.

Зайка стояла смирно. Ладонь Гали, сжимающая рог, стала влажной. Лето жарило, вползая в открытые двери облаком теплых травяных паров, будто воздушная влага взяла звуки и запахи в пузыри, низко летающие над землей.

– У нас такое же самое с коровой было, – продолжал говорить сосед. – Так она старой была – двенадцать лет. А твоей Зайке и того больше. Я тогда сам справился. – Он с гордостью махнул рукой. – Никого звать не стал, только супруга помогала. А момент упустишь, сама околеет, кому тогда мясо – только собакам.

Он вышел из хлева под напором Галя, двинувшейся на него. Но еще до самой калитки уговаривал ее решить вопрос сейчас. Проводив его, Галя пошла к дому и села у входной двери. Летний жар оглушал, звон, любимый ею с детства, всегда вселявший радость, отуманивал и сейчас, когда ей уже было тридцать пять, звучал однообразно, бесконечно для земного мира, но временно для нее, принося мысль, что скоро все закончится, как закончилось для Зайки, и ничего больше не поменяется, все будет только уходить, и не будет больше ничего нового, а все то новое, которое когда-то в жизни было, уже превратилось в старое. Галя встряхнула головой, и пузырь зноя, сидевший над ней, лопнул, пролив на нее заключенные в нем звуки, и она услышала звук работающего в доме телевизора, голос дочки и негромкое мычание Зайки.

Галя собралась пойти в хлев, успокоить ее, но вспомнила о соме. Она развязала пакет. В нос ударил илистый дух. Блеснула черная глянцевая спина сома. Галя подцепила пакет снизу и слила в мойку желтую воду. Вытряхнула неподвижного, задохнувшегося сома, и тот лег полукругом, при-

нимая форму мойки, его черные водянистые усы распустились по ней, попав кончиками в слив.

Галя включила воду, и та несильной струйкой полилась сому на спину, смывая черный ил со спины. За сомами на водохранилище начинали ходить, когда зацветал шиповник – тогда начинался нерест у них. Август был рыбным сезоном в Юголоке – возле домов жирным соленым столбом стоял запах жареной рыбы.

Галя взяла нож. В кухне запахло болотом и илом. Такой же запах имели те картинки, которые рисовались в ее голове, когда баба или дед расписывали родную деревню, затопленную под ГЭС. Они говорили о падах, в которых всегда раньше, чем в других деревнях, попевала земляника, о солнце, падающем на их село под особым углом, о земле, в которой был только чернозем, а рыжей, будто ржавчина, глины, как в Юголоке, в их земле вообще не было. Хотя та земля и эта земля – одна земля. И считалась бы одним, если бы ее не поделили гора и люди.

Эти сказочные картинки как будто сидели в игрушечном стеклянном шаре, заполненном желтой водой водохранилища, и, если шар встряхнуть, с его дна вместо снега поднимется ил, и поплывут из-под черемухи, из-под веселых домов, из-под краснобокой земляники, из-под кладбищенских плит сомы – усатые, гладкие, извилистые.

Она провела лезвием ножа по спине рыбы и получила оглушающую сырую оплеуху хвостом в лицо. Галя ахнула и

откинулась назад. Сом перевалился через борт мойки, мокро шлепнулся на крашеный пол и пополз по кухне, мотая головой из стороны в сторону, ища щель, по которой смог бы уйти в воду. По полу за ним потянулся скользкий след, и чем дальше сом полз, не находя выхода, тем ожесточенней, чаще мотал головой, изгибаясь посередине и при каждом изгибе наотмашь ударяя себя хвостом по тупой голове. Галя замерла от ужаса и отвращения, ей казалась, от нее уползает змея. Подумав о том, что в кухню может войти дочка, она бросилась к рыбе, упала на колени, поймала ее левой рукой. Прижала к полу. Сом изгибался, хлестал ее руку хвостом справа и слева. Галя тяжело всхрипывала, словно это она сама была рыбой. Галя плакала от гнева и отвращения, но только голосом, а не слезами.

Она подняла нож, сжав его сильно, и, отвернувшись, не боясь перерубить самой себе пальцы, ударила острием в рыбу голову, но в самый последний момент убавила силу, испугавшись, и острие только скользнуло по глянцевой черной голове, вспоров на ней кожу и показав розовое, набухающее кровью мясо. Рыба забилась бесом, хвост шлепал по руке, кожу жгло. Хребет сома будто стал железным жгутом, по которому пустили электричество. И это электричество входило в нее, сотрясало кости и хрящи рук, дрожало в горле, трясло сердце, будто Галя в ожидании казни сидела на электрическом стуле.

Она сжала рукоятку ножа и, набравшись новой силы, пре-

одолевая дрожь, поднесла лезвие к туловищу рыбы там, где кончалась голова. Поднасел на тупое ребро ножа коленом и упала на ягодицы, когда колено прошел хруст. Отталкиваясь от пола пятками, она поползла назад и замерла, сидела так долго и тихо, пока глаз в отрезанной рыбьей голове застывал студнем, а туловище еще изгибалось, ища хвостом голову, охлестывая пустоту, будто электрический разряд не сразу был выключен.

На следующий день Зайка пропала.

«Аметист» стоит почти за клубом – в низком кирпичном домике, который Алена арендует у администрации. Заметив Галю, она сходит с крылечка, на котором курила.

– Галка, привет. Все ищешь?

Галя не отвечает. Алена почмокала большими розовыми губами, будто с отвращением набирая из воздуха дым сигареты, которую, забыв затянуться, держит в руке. Проглотив дым, обхватывает свободной рукой подбородок снизу и так сдавливая уголки рта, что нижняя губа выпячивается, как у рыбы, вздернутой на крючке.

Эта привычка появилась у нее недавно – когда банк потребовал вернуть кредит, который они с мужем брали три года назад на поездку в Турцию, но потом перестали его гасить: Игорь потерял работу начальника бригады на лесопилке. Банк о долге не напоминал, и они подумали, он им его простил. Но банк копил проценты и этим летом напомнил о

себе, уколов Алену в самое сердце, заставив ее жаловаться на несправедливость жизни и проклинать отдых в Турции, который ей с самого начала не понравился.

С тех пор, как банк объявился, Галя ждала, когда же Алена заговорит с ней о продуктовых долгах.

– Галь, зайдем, – просит хозяйка.

Галя проходит с ней в подсобку через магазин, плотно заставленный тремя морозильными камерами с мороженым, окорочками и продуктами быстрого приготовления.

На стене подсобки висит желтый календарь за позапрошлый год с изображением Иисуса Христа. На посудном шкафу жухнет букет роз, подаренный Алене мужем на давно прошедший день рождения. Красные бутоны так и не распустились и, засохнув, пошли желтыми разводами. На столе лежит тетрадь. Толстая школьная, в твердой обложке, которую Галя обычно держит под прилавком.

Галя садится за стол, передвигает к стенке три чашки с остатками чая и растворимого кофе, ставит на освободившееся место локти и обхватывает голову холодными ладонями, закрыв уши, словно не хочет слушать того, что хозяйка сейчас скажет.

После ухода Сергея в Мую Галя осталась без денег. Алименты Сергей заплатил один только раз, и то – с официальной зарплаты, а неофициальная у него была больше, и каждый месяц она уходила на ту женщину и ее детей.

Галя пошла в администрацию села – она стоит тут же, за

клубом. Деревянный барак с российским флагом на крыше и с деревянной дорожкой – над высоким сорняком летом, глубоким снегом зимой и жирной грязью весной и осенью, – которая ведет от задника к деревянному туалету.

Глава Алексей Гаврилович принял Галю в своем холодном кабинете с длинным полированным столом и с портретом президента на стене за креслом.

– Галя, ты развестись забыла, – перебил он ее жалобы.

– А? – переспросила Галя.

– Ты же официально с Сергеем не развелась, – сказал глава. – Для государства вы – муж и жена.

– Какой он мне муж? – вскрикнула Галя. – Он с другой женщиной живет! И давно с ней жил, это я ничего не знала!

– Галина! – Глава надавил на ее имя. – Это мы с тобой знаем, какой он мерзавец и подлец. А государство не знает. Государству дай печать о расторжении брака. Без печати пособия не дадут.

– А сколько дадут, если печать будет? – спросила Галя.

– А вот давай мы с тобой сейчас посмотрим. – Глава выдвинул ящик стола, и, пошумев в нем чем-то на слух тяжелым, достал кипу бумаг, соединенных сбоку скрепками, и, разворачивая страницу за страницей, слюнявя указательный палец, склонил над ними крупную голову с серыми пятнами проплешин. Он читал строчки, с силой закусывая желтыми зубами рыхлую нижнюю губу, медленно вытягивал ее из зубного плена и закусывал снова. Когда его палец остановился

на нужном, губа выглядела так, будто ее укусила змея.

Алексея Гавриловича село переизбирало в главы несколько раз. Он сидел в администрации уже семнадцатый год. Юголокские мужчины его уважали и боялись, женщины – любили и тоже уважали. Только один день в неделю глава проводил в холодном, необжитом, несмотря на семнадцатый год правления, кабинете. В остальное время, включая выходные, кабинет оставался под присмотром президента, взирающего со стены, а сам глава бегал по коровникам, лесопилке и вокруг строящейся детской площадки, на которую выбил у государства грант.

– Сто сорок семь рублей. – Он жестко положил твердую ладонь на лист, как будто на столе лежали Галины возражения, жалобы, причитания, которые ему хотелось пресечь и придавить сразу, чтобы не слушать.

– Сколько? – выдохнула Галя.

– Не сколькай, – ответил он. – Давай, Галя, работу искать.

Работа нашлась на зеленой стене старой водонапорной башни, куда местные вешали все объявления. Магазин «Аметист» искал продавца, и, когда Галя пришла устраиваться, Алена первым делом сказала о долгах: можно отпустить в долг все продукты, кроме водки и сигарет. «Чем больше дашь в долг, тем больше вернут», – сказала она.

– Галь, надо собирать долги, – жалобно говорит Алена, садясь напротив нее за стол в подсобке.

– Как собирать? – Галя смотрит на нее с удивлением.

– Ходить по домам и собирать. – Кровь приливает к трем глубоким складкам на мясистой шее Алены.

– Но ты не говорила, что придется самой ходить собирать, – возражает Галя, сжимая и разжимая ладонь. – Ты сама говорила в долг давать, вот я и давала.

– Придушит меня банк, Галь. – Алена обхватывает шею рукой. – Там уже такие проценты насчитали – мама моя родная! Я туда на прошлой неделе ездила – в Иркутск. Там мне мужчина такой в костюме говорит, что в тюрьму меня долговую посадят, коллекторы ко мне ездить будут. Кредит-то оформлен на меня. Говорила я Игорю: не надо нам этой Турции. Все люди как люди – на водохранилище отдыхают. Чем мы лучше? Брали-то сто тысяч, а верни триста. Мне себя с потрохами продать, столько не соберу. Я же думала, они забыли о долге, – виноватым голосом добавляет она. – А они все помнили и проценты копили... Галь, я ж тебе не говорю ко всем самой ходить. Я тоже пойду. Ты выбери, к кому пойдешь первому. – Алена открывает тетрадь. – И я выберу, с завтраго и начнем ходить.

Галя наклоняется над строчками и буквами, записанными ее собственной рукой и рукой сменщицы. Придвигает тетрадь к себе поближе, подслеповато щурясь, листает ее, пока Алена призывно, с какой-то сильной надеждой, как будто от Гали что-то зависит, смотрит в ее смуглый склоненный лоб.

Округлым, аккуратным ногтем Галя подчеркивает две фамилии, выбранные из десятков других: Горохова Д.И. и Ми-

тюков А.И. Дарья Горохова и сосед Анатолий.

Живя с Сергеем, Галя думала, что ее семья проходит по тому кругу развития, которое всем предопределено установленным порядком, людской природой. Что по такому кругу ходит большинство. Люди встречаются, любят друг друга, рожают детей, охладевают друг к другу из-за тяжелой работы, малости денег, многости проблем да и сами по себе, потому что растратили всю ласку, которая в сердце одного человека полагается для другого человека. А к старости, когда делить больше нечего и вся жизнь – какая была и другой не будет – прожита бок о бок, между двумя людьми – мужчиной и женщиной – снова образуется теплота, и любят они теперь друг друга, как два близких родственника, и теплота эта, если и не греет, то не пускает в сердце одиночество, а это само по себе уже очень много.

Семейная жизнь Гали уже зашла на второй этап, и, хотя они и на нем не были уже в начале, а подвинулись к середине, до старости все же было еще далеко, и Галя думала, на третьем этапе жизненного круга ей воздастся по меркам того, как она терпела. Может, вот так любовь и уходит, думала она, – через безжалостность со стороны мужа. И когда Сергей избил ее в первый раз, она никому не пожаловалась, даже самой себе, просто поплакала недолго, стоя в хлеве, обнимая худую спину Зайки. Короткая жесткая шерсть Зайки не впитывала слезы, они текли по ворсинкам и попадали на

коровью бледную кожу. Зайка вздрагивала иногда.

А по-другому быть все-таки не могло – мужчина, может, и сам удивляется, когда в нем ласки к женщине не остается, сам растерян и, не зная, чем заполнить пустое место, пускает в него безжалостность. И хотя отсутствие чего-то, пусть даже жалости, – это как будто тоже пустота, но между отсутствием жалости и безжалостностью – огромная разница. Она в том, что «без жалости» – это когда в том месте, где обычно в людях водится жалость, ничего нет, и человек, видя, как плохо кому-то, мимо пройдет без сожалений всяких, а «безжалостность» на опустелое место приходит, и самая страшная приходит туда, где раньше была любовь.

Если к этому еще проблемы добавить, трудности, которые встают на мужском пути, неуважение к нему со стороны начальства, так и получается, что женщина рядом ему дана для того, чтоб хоть над ней власть чувствовать. Чтоб, осадив ее крепким словом или кулаком, вернуть к себе уважение. Ведь больше ни через кого он всего этого себе вернуть не сможет. Получается, что вот такая она – эта предопределенная роль женщины – быть битой несколько раз в год.

И хотя Галя смотрела на жизнь именно таким образом, она сама перестала любить Сергея. Иногда к ней приходила мысль – она ее сразу прогоняла, но след от нее все равно оставался, и мысль эта ясно говорила о том, что, умри Сергей под вековым стволом дерева на лесоповале или разбейся насмерть в аварии, она недолго будет по нему плакать, по-

тому что невозможно любить и жалеть того, кого боишься. Того, который поднимал на тебя руку и ударял без жалости.

Но когда он ушел, она плакала долго и, может, только сейчас, когда Зайка пропала, начала понимать, что от разных пропаж люди по-разному плачут. Хотя по Зайке она слезами и не плакала, но это только потому, что однажды сменщица ей сказала: «Плакать на потерю нельзя. Только заплачешь, считай, уже не вернется».

В тот день Сергей, вернувшись вечером с работы, пошел в кухню, приподнял крышку кастрюли, в которой успокаивался только что сваренный суп с лапшой. Наклонился, шумно понюхал, глубиной вдоха давая понять, что суп получился. Закрыв крышку, прошел к двери в кладовку, которая начиналась за кухней, открыл ее. Присев на корточки, повозился на нижних полках и поднялся уже со своей спортивной сумкой в руках.

«Опять уезжает вахтой», – подумала Галя и сказала:

– Сначала поешь.

Сергей молча пошел в их комнату, открыл шкаф и побросал в сумку свои вещи: спортивный костюм, свитера и пиджак с брюками, купленные десять лет назад на свадьбу друга. «Зачем ему в поездке костюм?» – подумала Галя. Он поставил сумку на их кровать, застегнул ее и пошел к двери. Хорошо знавшая его настроения, которые для нее делились на безопасно хорошее и опасно плохое, Галя пошла за ним. Ей казалось, будто Сергей двигается, ходит как во сне – в

ее сне. Накануне между ними не было никаких плохих разговоров, никогда не было ревности, не было угроз, а было только отсутствие ласки и безжалостность, но Галя начала ждать плохого.

Сергей обулся. Он не смотрел на нее. Он избегал ее уставившихся на него глаз.

– Ты меня больше не любишь? – спросила Галя, когда он взялся за ручку двери.

– Давно уже не люблю, – ответил Сергей.

– Ты кого-то другого любишь? – спросила Галя.

– Давно уже люблю другую женщину, – ответил Сергей.

Галя слышала свой голос издалека, будто ее, как рыбу, ударил, оглушил, но не добил неопытный рыбак. Она заплакала. Сергей неожиданно повернулся и пошел к ней, вытянув руки. И Галя захотела вытянуть руки к нему.

– Чуть не забыл, – сказал он, наклонился и вынул из розетки под зеркалом зарядное устройство для телефона.

Галя стояла у порога, держа сцепленные пальцами ладони на груди, давя ими на нее, как будто удерживая там какое-то существо – бескожее, неспособное жить на воздухе. Галя замерзла. Ее колотило так, будто ее посадили на электрический стул, убивающий ледяным током. Она обулась и вышла на улицу. Ватные облака затягивали черное небо, но сквозь их белые разводы в глубине просвечивал синий космос.

Она зашла в хлев, разбудила Зайку и, когда та встала на неокрепшие со сна ноги, взяла ее теплую морду в ладони.

Испарина коровьего дыхания теплой пленкой накрыла ее лицо. И глядя то в один ласково-глубокий глаз Зайки, то в другой, Галя серьезно, будто обращалась к близкому понимающему родственнику, сказала:

– Я думала, у него совсем ласки нет. А у него ко мне ласки нет.

Дарья Горохова стоит на пороге на кривых ногах и, придерживая рукой дверь, не пускает Галю зайти. На ней теплые шерстяные колготки, в которых она выходит на улицу даже летом, и вытертый бледно-розовый байковый халат. Дарья все больше кривела и разъезжалась костями к старости, словно кости ее только теперь вспомнили побои, нанесенные ногами, когда-то зревшими в ее широком костлявом тазу, – мягкими, как пластилин, защищенными от твердых объектов внешнего мира только кровавыми тканями ее живота.

Дарья бросает на Галю взгляд полный подозрения, недоверия, но и понимания – она догадалась, зачем Галя – сельская продавщица, одноклассница ее старшего сына – пришла. Горохова вздыхает и, сняв руку с двери, впускает Галю в дом. Шаркая и переваливаясь с ноги на ногу, она ведет Галю в комнату. Еще с середины коридора Галю сшибает запах – мягкий, сладковатый, как будто мясо долго варили с сахаром, а оно долго кипело в большой кастрюле, пока все не выкипело.

Когда Галя садится, ей кажется, что кресло влажное, будто и его хорошенько пропарили над тем же карамельно-мясным паром.

– Нету, – скрипит Дарья.

– Чего нет? – спрашивает Галя.

– Денег нет, – отвечает Дарья. – Ироды все пропивают. – Она кивает головой перед собой, и Галя оборачивается.

На кровати у окна лежит младший гороховский сын, накрытый толстым одеялом, выпроставший поверх него ручки – маленькие, гладкие, оттого что на них нет пальцев. Он подмигивает Гале, и она поскорей отводит взгляд от его желтой головы, веселых глаз и игривой ухмылки.

– Пакостник, – скрипуче произносит мать. – Второй вон в бане, который раз туда за день таскаюсь: боюсь, повесится. Худющий вернулся из тюрьмы, злой. Хотела фельдшера вызвать, все равно они целый день в поликлинике сидят, ничем не занимаются. Да куда! Этот как заорал – не надо фельдшера ему! И в баню. Я там на полках пошурудила – веревок нет. Косу вынесла. От воли, значит, ломит его – с непривычки. Ничего, пообстукается об нормальную жизнь, жив будет. Родила, – Дарья ставит ударение на второй слог, – я их нормальными. Лучше всех мои сыны были. Мне еще в фельдшерско-акушерском пункте говорили, какие у меня хорошие, крепкие дети родились. Кто ж знает, когда они в пеленках лежат и ссутся, что они – пропащ-шые, – твердо выговаривает она, шипяще, будто язык ей каленым железом

прищемило. – Жалею, что их родила, не надо было рожать, не-а, – продолжает Дарья, хотя Галя сидит тихо и разговор не поддерживает. – Их отец злой был как черт, но не пропаш-шый, не. Один раз на меня молотком замахнулся, а я этого на руках держала. – Она кивает на глумливо загулившего сына. – Я повернулась боком, чтоб его прикрыть. По руке мне попал, чуть всю кость не переломил. Я теперь вспоминаю его, царствие ему небесное, хороший человек был, когда трезвый. Хороший... не к ночи только будет помянут. А ты, Галя... – Дарья ищет ногой тапку на полу, собираясь встать. – Ты, Галя, хозяйке магазина скажи: нету у меня сейчас. Как старший пообстукается, приду, всю пенсию ей отдам. А если ты пришла ко мне корову свою искать, то стыдно тебе должно быть, Галя, никто из наших ее не брал. Они – сыновья мои – пакостники хорошие. Но ты на этого погляди.

Галя решает не оборачиваться на младшего, который, все посмеиваясь, елозит глазами по ее спине.

– Этому, что ли, корову прирезать? Куда ему, когда он не встает? А что до старшего, так он который день ничего не ест, только в бане на лавке лежит и мычит. Пойду его проверить. – Дарья тяжело поднимается. – А ты, если хочешь, пойдем со мной, посмотришь, на кого он похож. Тень, а не человек. И жалко мне его, с другой стороны. Но коровы он твоей не трогал.

Галя встает, чувствуя, как влажная юбка прилипает к ногам. Идет за шаркающей Дарьей, вырываясь из сети, спле-

тенной глумливыми улыбками и сальными взглядами младшего сына Горехова.

– Священник к нам из района приезжал, – оборачивается на нее Дарья. – Говорит мне: «Бог все-таки есть, и справедливость его существует. Муж с сыновьями вас обижали, а теперь посмотрите: вы живы, здоровы, а они – вон где». Там, во дворе стоял возле калитки, в дом не заходил. Весь такой – в черной рясе. А я смотрю на него и думаю: вот ты – священник, а того понять не можешь, что мне, матери, не тогда больно было, когда они втроем лупили меня, а теперь – все сердце мое изболелось сынов своих пропащ-шими видеть. Где ж она – эта божья справедливость?

Во дворе Галя с испугом косится на кривую черную баньку, заросшую узколистой крапивой.

– А ты подожди. – Дарья грубо, с неожиданной силой хватает ее за тонкое запястье. – Хотела тебя спросить. Смотрела я на твою Зайку со двора и все диву давалась: пропащ-шая корова, старая, тощая, пустое вымя болтается. Одного сена на нее сколько уходит. Молока уже не дает. Почему ты ее раньше не зарезала? – Дарья, наклонив голову, вцепляется острыми глазами в Галино лицо.

– Моя корова, что хочу, то с ней и делаю, – грубовато отвечает та, и темный румянец проступает на ее смуглых щеках.

– Любишь, понятно, – говорит Дарья и, отпустив глазами лицо Гали, шаркает к бане, и, когда скрипит банная дверь

на старых петлях, Галя спиной чувствует холод, хотя воздух плавится от жары.

Галя заходит на мост. Под ним неслышно течет вода, возмущаясь только в том месте, где ей нужно попасть в кольцо велосипедной шины, лежащей боком на чурбане, и, словно зверю в цирке, перепрыгнуть через него, устремившись дальше. Но и препятствие река берет бесшумно. Звенят стебли травы по ее бережкам, работает неостановимый генератор – высекается энергия от соприкосновения сильных лучей солнца с землей.

– Зайка! – сжав кулаки, зло кричит Галя, повернувшись к лесу. – Я кому сказала: вернись! Зайка! Зайка!

Со школы еще не было сомнений в том, что старший сын Дарьи пропащий – Галя с трудом удерживается от того, чтоб не произнести это слово по-гороховски – жестко, шипяще. Вон на горе, на той ее части, что спускается к селу чистой от леса, до сих пор виднеются цифры, которые они всем классом выкопали в день окончания школы. Усердней всех копал Горохов – радовался, что больше в школу не придется ходить. Раньше такая традиция у юголокских выпускников была – оставлять на горе четыре цифры года выпуска. Сейчас цифры затянулись травой, но, если приглядеться – Галя шурится, – можно еще разглядеть девятку.

– Зайка! – в последний раз кричит она и идет от реки прочь.

И как только Галя поворачивается к горе, речке и лесу

спиной, из-под еловых лап выходит рыжая корова и смотрит на худую ссутуленную женщину, пока та не скрывается из виду.

Был бы телескоп, то можно было бы посмотреть на звезды, приблизить их к глазам еще больше, хотя сейчас – как обычно в середине августа – они так ярко и низко сидят над землей, что кажется: сверху на небо давит синим прессом космос и небо может разбиться. А утром небо снова уходит вверх, и вот так, не переставая, работает невидимый поршень, поднимающий небо то вверх, то вниз.

Галя сидит у дома и сначала просто бесцельно смотрит в небо, а потом начинает замечать, как зажигаются звезды в ковше Большой Медведицы, как квадраты, ромбы, треугольники рассыпаются по небу. И чем дольше Галя на них смотрит, тем подвижней становятся звезды и спускаются ниже к ней.

Галя вспоминает Зайкиного теленка. Он родился здоровым и крепким, рыжим, как Зайка, но с большим белым пятном на животе. Встал на ножки, ходил, пил из матери молоко, а на третью неделю ослаб, лег, перестал вставать, и Сергей сказал, надо его скорей резать.

Был вечер – не как сейчас. Был осенний вечер. Уже начало раньше темнеть. Галя собралась к ветеринару, думая, если того не застанет, позвать кого-то другого – из старых юголокцев, разбирающихся в болезнях телят.

– Куда собралась? – спросил Сергей.

– К ветеринару, – ответила Галя.

– Какой ветеринар? – зло спросил он. – Резать его надо сейчас. Мясо пропадет.

– Так он маленький... – начала Галя и ахнула, получив удар по лицу.

Сергей схватил ее за волосы и потащил в кухню. Галя шла за ним, некрасиво согнувшись, размахивая рукой, а другую держала на его руке, схватившей ее за волосы. Глядя на мужа из-под низу, она видела его крепкие руки, плотную мужскую кожу на вздувшихся мышцах, белую майку. Он бросил ее на пол в кухне, и Галя с удивлением смотрела на его полусжатую пустую руку: ее темя так жгло, что ей показалось, он содрал с него кожу вместе со всеми ее длинными черными волосами.

– Какой ветеринар? – Сергей пнул ее ногой, попав под челюсть.

Галя прищемила зубами язык и потом шипела несколько дней.

– Быстро взяла таз и пошла помогать! – Он толкнул ее ногой в грудь, и Галя встала, пошла.

Сергей зажег во дворе свет, выволок теленка на каменный пол перед сараем, и Галя сидела на коленях, подставляя таз, принимая из рук мужа горячие внутренности и слушая, как мычит Зайка.

Ночью, когда в доме сладко пахло молочным мясом, она

встала с постели, где Сергей спал рядом с ней, отвернувшись в другую сторону, пошла в хлев. Когда Зайка на нее посмотрела, Галю горячо и насквозь пронзило чувство – есть в жизни что-то, чего не исправишь, с чем придется жить, и нести это до конца, и выть, может, иногда, скрипя зубами, стесывая их до корешков, и в конце – в самом конце – благословлять смерть, потому что она пришла, чтобы освободить тебя от этого неисправимого, чтобы дать тебе умереть и, может быть, родиться заново и жить чистой жизнью, в которой всего этого не было.

Галя долго так стояла перед Зайкой, в тишине размазывая что-то невидимое илистое по лицу.

Перед «Аметистом» тормозят белые «жигули». Из них выскакивает Ямов, громко хлопнув дверью.

– Галь! – зовет он, еще поднимаясь по лестнице. – Галь, там рыбаки твою Зайку нашли.

Галя хлопает дверцей прилавка, бежит, ударяясь боками о тесно поставленные холодильники. Сталкивается с Ямовым в дверях. Он останавливается – широкоплечий, низкий, с чересчур развитыми от косьбы руками.

– В водохранилище утонула? – спрашивает Галя, испытующе глядя Ямову в глаза.

– Утонула, – сглотнув, отвечает он.

Галя снимает через голову синий форменный фартук и кладет его на холодильник.

– А магазин не будешь закрывать? – спрашивает Ямов, садясь за руль.

– Пусть берут что хотят, – отвечает Галя и дальше, не отрываясь, смотрит через стекло на село, на сараи, из которых торчат золотом пучки соломы, на картошку, сочно зеленеющую на квадратных огородах, на мотоциклы, прислоненные к стенам низких, черных домов.

Галя не плачет и не собирается. Но ей хочется открыть окно и крикнуть: «Берите люди что хотите. Не в долг. И сколько вам надо».

– Утопилась она, – косо взглядывает на нее Ямов, как будто опасаясь ее реакции. – Рыбаки видели: сама зашла в воду. – Он молчит, ожидая, что Галя что-нибудь скажет, но она не говорит ничего. – Наверное, почувствовала, что смерть близко, не хотела, чтобы ты видела, – продолжает Ямов, не встречая ее возражений. – Пожалела она тебя... А может, сама зачем-то в воду зашла, коровы ведь – глупые. У них – ни мозга, ни души, – буднично, как будто застенявшись, добавляет он.

Машина выезжает на берег водохранилища, и, увидев лежащую на земле Зайку, Галя трогает плечо Ямова – останавли.

Она спешит по берегу. И чем отчетливей Галя видит Зайку, тем быстрее становится ее шаг. Когда между ними остается только десять метров, Галя бежит и, добежав, падает на колени перед мертвой коровой. Грубо и хрипло спросив: «Да

что же это такое, а?» – она опускает руки на мокрую ляжку Зайки – туда, где рыбацкий багор зацепил ее, вывернул мясо. «Да неужели б я тебя когда зарезала?» – спрашивает Галя и орет. Без стыда и без совести лежа грудью на костлявом боку коровы, она причитает, глядя на воду, и вдруг начинает верить в то, что под водой прямо сейчас лежит самая добрая земля, и черемуха там в цвету стоит сугробом, и земляника краснеет с двух боков сразу, а баба и деда счастливы там, потому что живут еще жизнью на чистом листе.

Владимир САЛИМОН

В преддверии зимы

* * *

Как на обломках самовластья живется? –
спрашивали мы
живущих в здании тюрьмы.
И люди лыбились от счастья.

Или от ненависти к нам,
заезжим не по доброй воле –
по делу службы господам:
Как? Как? Обделались вы, что ли?

Выглядывал в окно старик.
Лохматые юнцы-подростки
сосали пиво,
ни на миг
не выпуская папироски.

Здесь был когда-то монастырь.
Потом – тюрьма.
Промчатся годы,

и каменные рухнут своды.
И образуется пустырь.

* * *

Прогалы в кронах,
словно норы
русалочки среди ветвей.
Прислушайся, их разговоры
в грозу становятся слышной.

Спешат укрыться на деревьях,
торопятся занять места,
как дети в многодетных семьях,
они снуют туда-сюда.

Мы их не видим.
Духи леса
незримы, но в полночный час
трещат, не выдержав их веса,
стволы берез, пугая нас.

* * *

Лежа на спине в траве душистой,
поднявшись на холм,
смотря с моста –
радостно,
как будто Девой Чистой
на небо душа твоя взята.

Ощущенье легкости чудесной,
словно от шипучки ледяной,
словно нету тяжести телесной,
мыслей, что довлели над тобой.

Нет для достижения высшей цели
никаких существенных преград –
ты летишь в красивом новом теле,
устремивши ввысь бесстрашный взгляд.

Выше птиц и звезд во тьме кромешной.
Лучезарен, аки херувим,
освещаая путь улыбкой нежной
в небеса товарищам моим.

* * *

Давно таких не видел лиц –
мальчишка, глядящий собаку,

старик, кормящий булкой птиц,
одетый в длинную рубаху.

С такого написать портрет
Ассизского Франциска можно,
не расплескав небесный свет
из глаз его неосторожно,

не упустивши смысла слов
святого старца ненароком,
не наломав при этом дров,
чтоб нам они не вышли боком.

И мальчика не позабыть,
что к ближнему любовь прилежно
щенку старается привить,
чеша ему загривок нежно.

* * *

Наполовину скошен луг.
Вторую половину луга
косить с чего бы это вдруг,
зачем, с какого перепуга?

Трава, достигнув своего

предела,
не растет уж больше,
но потеряться в ней легко.

Потерянность – нет чувства горше.

Оно становится порой
совсем-совсем невыносимым.
Под мглистым небом,
на сырой
земле, пропахшей горьким дымом.

* * *

Кукурузу грызли не для сытости,
но для удовольствия они –
жертвы безотцовщины, забитости,
как их называют в наши дни.

А тогда мальчишки деревенские
величались местною шпаной,
и ее шнурки интеллигентские
обходить старались стороной.

Полагая верхом неприличия
говорить об этом вслух,

теперь
шепчутся о классовом различии,
затворив на всякий случай дверь.

А тогда Россия зубы скалила
и глядел с презреньем класс на класс,
улыбаясь до ушей,
как правило,
носом шмыгая и щуря глаз.

Будто бы бананами зелеными,
хрумкая початками в кустах –
крепкими, сырыми, несолеными,
сея в наших слабых душах страх.

* * *

За час пути проселок вытряс душу,
и тетка с сумкой у груди сказала:
*О Господи, зачем ты создал сушу,
ужели тебе моря было мало?*

Уймись! –
ответить мог Всевышний тетке,
но промолчал, осекся на полслове,
должно быть, глядя на ее обмотки,

обноски,
нос картошкой, дуги-брови.

Быть может, осознав свою ошибку,
подумал Он, что лучше было б все же
одеть дорогу в каменную плитку,
пусть это и значительно дороже.

Господь был милосерден не чрезмерно,
однако – чересчур сентиментален,
доверчив и покладист был,
наверно,
как самый распрекрасный русский барин.

О Господи! –
стенала тетка громко.
И сумка на груди ее гремела.
А в поле за окном мела поземка.
И грусти нашей не было предела.

* * *

Кинопроектор зажевал
фрагменты жизни нашей:
Елку
в Колонном зале,

школьный бал
и свеклы сахарной уборку.

Теперь следы заметены
и можно скрыть свою причастность
к истории родной страны.
Свою любовь к ней и пристрастность.

Как к женщине,
которую давно
уже не любишь, но ревнуешь,

о прежней жизни все равно
тоскуешь, Боже, как тоскуешь!

* * *

Легко ли жить с такими мыслями,
что мы *живем, как жмых жуем*,
и чувствовать при этом лишними
себя людьми в краю родном?

Хоть от Печорина и Чацкого
отличье наше велико,
как будто бы до принца датского,
до них нам крайне далеко,

но все же в сердце отзывается
14 декабря
недаром,
буря поднимается,
бьет в грудь и валит с ног не зря!

* * *

Отражаются в окнах вагонных
бесконечной чередой целый день
множество областных и районных
городов, городков, деревень.

Отражения смутны, нечетки,
потому и похожи они
на давно пожелтевшие фотки
нашей дальней-предальной родни.

Кто есть кто, догадаться непросто.
И приходят мне мысли на ум
про земную юдоль и сиротство,
видя синий в полоску костюм,

платье белое в черный горошек
и на скошенных чуть каблуках

пару легких совсем (без застежек)
двух сандаликов на ремешках.

Боже правый,
а где же то счастье,
где та молодость, что вдруг прошла,
что стубило людей за напасть,
что за выюга в полях замела?

* * *

Нас разделяют многие границы –
от климатических и часовых
до государственных,
открытых лишь для птиц,
рассеянных в пространствах мировых.

Они день ото дня – то тут, то там.
Команда голоштанная повсюду –
в лесах, в садах,
а нынче в Божий храм
вдруг залетела, что подобно чуду.

Услышать крыльев шум над головой
на Троицу в просторном светлом храме,
который убран с вечера травой

душистой, свежим лапником, цветами,

естественно,

но жутко все равно,

и потому бежит мороз по коже,

и на причастье красное вино

и впрямь на кровь становится похоже.

Подкатывает к горлу ком, когда

я думаю, что это – кровь Господня,

а вовсе не вино и не вода,

что Агнец в жертву принесен сегодня.

* * *

Мы прыгали с грузовика

в снег, под которым в мерзлой глине

так смерзлись тонны буряка,

что сделались подобны льдине.

Нас было тридцать человек,

а буряка – не меньше тонны.

Был серым и колючим снег.

По краю поля шли вагоны.

Никто не плакал и не пел

в вагонах тех гнилых и ржавых,
и черный паровоз летел
по рельсам в облаках кудрявых.

Средь ночи подними меня,
и я скажу, что видел ясно,
как среди дыма и огня
взывал к нам Ангел громогласно.

Но важным делом заняты,
вниманья мы не обращали
(поскольку не было нужды)
на звуки, полные печали.

* * *

Пока в асфальт не закатали
Москву-реку,
мы на кораблике
помчим в неведомые дали
вдоль стен Кремля,
конфетной фабрики.

Здесь в ход идут изюм и цедра,
чтоб подсластить пилюлю горькую
российской жизни,

там их щедро
разводят сладкою настойкою.

Струится аромат чудесный
над парками, садами, скверами,
где по дорожкам в день воскресный
гуляют дамы с офицерами.

* * *

Дожди пошли, похолодало.
Тогда в преддверии зимы
сложивши вещи,
одеяла,
как беженцы, связали мы.

На бегство больше походило
то, что по сути был исход.
Забывтый в летнем душе мыла
кусок растаял, словно лед.

В саду оставленное нами,
перевернувшись как-то вдруг,
лежало кресло вверх ногами,
не шевелясь, как мертвый жук.

Не стали мы на всякий случай
переворачивать жука,
поскольку, как народ дремучий,
боялись страшно мертвяка.

осень 2019

Александр БУШКОВСКИЙ

О любви не вышло...

рассказ

*Времени нет,
Чтобы прожить эту жизнь так, как надо.
Времени нет,
Чтобы принять любовь, как награду...*

Владимир Рудак

... Не вышло о любви, хотя именно о ней я и собирался написать, размышлял, шел до последнего тупика. Или думал, что иду за ней... Да и кто о ней не думал? Кто не мечтал, не ликовал, не ревновал, не маялся. Кто спустя время не задумывался о том, что же это с ним произошло? Глупые вопросы.

И вообще начал несвязно. А ведь конкретная история стоит перед глазами. Но, как это случается, мысли о конкретном проросли в абстрактное и пустили там корни, а точнее, дали метастазы. Что и заставило меня нещадно обрубить их и попытаться оставить сухое и голое, похожее на бревно древо повествования. Однако и тут не получилось.

Тогда я решил изложить предысторию, а там уж как выйдет.

У меня есть хороший товарищ, Володя. Или Вова – как хотите. С друзьями он готов спокойно отзываться и на Вовчика, и на Вована. В отличие от меня, раздражающегося и на Шурика, и на Санька. Мне бы, конечно, льстило называться его другом, но не мешало бы быть скромнее, поскольку это единственное средство, хоть отдаленно приближающее мужчину к человеческому облику. Да и друг – он такой, знаете, со двора или со школьных времен или с какой-то заварухи-передраги типа войны или драки.

А мы познакомились уже довольно большими ребятами. Далеко за тридцать. Незадолго до того я принес свои мрачные опусы в редакцию журнала, а их, к моему удивлению, взяли и напечатали. Не то чтобы я стал ощущать себя писателем, нет, нашло сливную пробку черное, густое, медленно остывающее, отработанное масло, в каком до сей поры терлись и дребезжали мои уставшие от службы госмонстру внутренности. Все опилки мозга, выхлоп легких, короста сердчишка и шлаки печени. Пробку-то оно нашло, но свежего масла вместо него не залилось, и все это продолжало работать всухую, накаляя и без того перегретую голову.

Мне вечно хотелось выпить, а потом подраться или подраться, а потом выпить. Я всюду видел произвол, несправедливость и злой умысел. Искал обид, боялся жалости, насмешек и ночных кошмаров. Книжек почти не читал и писал по ночам всё какие-то страсти и ужасы. Курил. Мир вокруг казался мне неумной шуткой, а люди, за малым исключени-

ем, врагами или предателями. Кроме моих собственных переживаний, все остальное выглядело чепухой.

Тот номер, где меня напечатали, я все же прочел. Там были не задевшие меня стихи, такие же рассказы и статьи, но в конце – небольшая повесть о жизни обычного человека и его повседневных делах, о немного странных и даже абсурдных, грустно-смешных похождениях. Написано было легко, точно, без уже надоевшей, лезущей со всех сторон злой иронии и оставляло впечатление авторского кино с неожиданным сюжетом и простым открытым финалом. Мол, завтра наступит утро, потом день и приключения нашего героя продолжатся. Он же, герой, постоянно выходил за пределы своей роли и жил в мирах всех других персонажей, легко воспринимая быт и улавливая движения души разных людей.

Сугубо реалистичная эта проза была насквозь прошита не совсем ясным для меня подтекстом, скрытой, нематериальной радостью и спокойствием, словно автор констатировал и даже транслировал совершенно очевидный для него закон непрекращающейся жизни. Жизни в стороне от размышлений о деньгах, комфорте, здоровье, болезнях, сексе, политике, войнах, катастрофах, подлости, изменах и разочаровании. Я не был готов к такому ощущению жизни и внутренне спорил с автором...

(Пишу сейчас, разложив блокнот на чемодане, и сквозь пыльные окна вокзала солнце попадает на страницу. Оглядываясь кругом, а рука сама пишет: «Мушки выются пара-

ми – значит, скоро осень».)

Потом меня как-то позвали выпить с поэтами, и Маринка, симпатичная и вредная, но поэт хороший, ворчала весь вечер, что никак не может привыкнуть к Вовкиным коротким предложениям.

«А что за Вовка-то, что пишет»? – спрашиваю я. «Да ты с ним в одном номере напечатан, повестушка эта странная...» – «Мне нравится». – «Мне, в общем, тоже, но можно же мысль свою как-то развернуто подавать, а не в двух словах: “он сказал”, “она отвернулась”, “они ушли”. “Солнце село, холодно не стало”. Ну что это за проза? Кстати, и рифмы у него неточные и нелогичные». – «Он, что ли, еще и стихи сочиняет?» – «Песни. Группа у него. Собрал солистов со всех оркестров, и метелят кто как может. Сам на гитаре, трубач из филармонии, басист из музтеатра, а барабанщик вообще профессор из консы. Когда они и время-то находят с ним играть?» – «А-а». – «У них как раз сейчас концерт закончился, мимо поедут. Мне нужно ему рукопись вернуть, давал мне почитать, поправить. Могу познакомить, если хочешь». – «Ага!»

Выпили еще немного. Похвалили Маяковского и Мандельштама, поругали Пастернака и Есенина. Потом наоборот. И вот у Маринки зазвонил телефон. «О, едет. Надо выйти». «Так пусть сам зайдет, – говорю я, – ему же надо, не тебе. Тут и познакомишь». – «Легче нам спуститься: он не ходит. В кресле ездит». Я... как бы так сказать помягче...

весьма был сильно удивлен.

За рулем приехал Федя, крутой соло-гитарист, но это я потом узнал. Вовка сидел справа. Он оказался обычным парнем. Ну вот обычным. Открыл дверь и сказал что-то типа: «Можно я здесь посижу»? Виновато улыбался и кивал, пока Маринка распекала его за упрощения. Когда я влез знакомиться со словами, что мне интересно, как он пишет, пожал небольшой жесткой ладонью мою руку и предложил: «Заходи тогда в гости, поболтаем».

Я зашел. Стал заходить еще и еще. С первого же раза мне стало легче. Свежее масло потекло в раскаленную голову. Скажу честно, больше болтал я, а он слушал. Я рассказывал истории из своей жизни, он – из своей. Я прямо-таки вещал о себе, я скромно поведал ему о страшных испытаниях, выпавших на мою долю, а он говорил о людях, которые его удивили, обрадовали, восхитили. По неизвестной причине мне часто хотелось заплакать, когда я его слушал, хотя внешне, на первый взгляд, Вовкины истории не были трагедиями и рассказывал он их смешно.

Иногда он показывал мне новую песню, сочиненную накануне, и я поражался. Чему? Сам не пойму. Вот послушайте:

Ну что за вечер!?! Все пьют клюквенный морс...

Меня калечит то, что они просят выключить *Doors!*

Я напрягаюсь – не сыпьте рану на соль!

Я улыбаюсь и достаю свой хромированный кольт!

Или:

Дворники убирают снег.

Электрики добывают свет.

Волшебники уснули до утра.

Ты знаешь, и нам с тобой пора...

Мне сдается, я понял, отчего все, кто знаком с Володей, почти сразу забывают, что он сидит в инвалидном кресле, а не бежит вместе со всеми в атаку на мир или, наоборот, не занимает от него круговую оборону. Он просто живет со своим особым отношением к этому миру, и все, кто попадает в атмосферу этого отношения, вдруг понимают, что счастливы. Как будто в пятом классе ждешь, ждешь летних каникул, и вот они наступают. Однажды, лет десять назад, мы с ним поехали на выставку картин, а по дороге он меня просит: «Давай девушку одну подхватим по пути»? Подъезжаем, а тут выходит девушка – такая красивая, что я заробел: не ошиблись ли мы адресом? Но нет, не ошиблись, она теперь его жена.

И вот как-то раз он рассказал мне историю, из которой мне уж очень захотелось сделать рассказ. Я долго собирался, примерялся так и эдак и понял, что фантазии поставить себя на место героя мне не хватает. Тогда я снова пришел к Вове в гости, а потом записал наш разговор.

– ...Помнишь, ты рассказывал мне? Парень на коляске

под дождем... Меня так эта картина зацепила. Как его, Серёга, кажется?

– Лёха. Его звали Лёха. Веселый такой, компанейский парняга. Он мне как-то написал: «Привет! Помнишь?» Я: «Помню, конечно!» А он раз – и замолчал. Потом с другого адреса пишет то же самое: «Привет! Помнишь?» Да помню я, помню, и пишу в ответ: «Так мне что, твою старую страничку удалить»? (Мы улыбаемся.) Он как ни в чем не бывало: «Ай, ерунда, я пароль потерял»...

Много времени прошло с тех пор, как мы последний раз виделись в больнице, в центре этом реабилитационном. И всё, контакты пропали, а тут он снова меня находит. Я так понимаю, что он попивает-то лихо. Ну, если пишет, что сын приходит его контролировать. Видно, проверяют, чтоб не пил. Историю его после того случая, что тебе рассказывал, совсем не знаю... Хочешь чаю?

– Давай!

– ...Уж насколько мы циники, ну ты понимаешь, о чем я...

– Конечно.

– Когда в одном месте куча людей с одинаковыми проблемами, тогда никто о них не говорит, не рассказывает, потому что все всё понимают. И тем не менее, глядя вот на это все (он на секунду задумывается), я до сих пор ту сцену не могу забыть. Не в том контексте, что вот человек на коляске и страдает-переживает, а в том, что в ней было... сконцентрировано одиночество, возведенное в высшую степень. Когда

чувак едет на коляске под ливнем, под которым он... может не ехать!.. Ему не надо срочно никуда, но оно гонит его из квартиры. И вот ему к станции метро, а потом еще в метро корябаться. А потом электричка... В общем, давай все сначала.

* * *

Это был реабилитационный центр в Москве. Эр-Цэ. Не такой, где все заточено под людей на колясках, а просто отделение при клинической больнице, которое называется реабилитацией. Тогда, в конце прошлого века, было еще очень мало мест, где люди в инвалидных креслах могли общаться друг с другом. Своего рода резервация.

Туда брали тех, кто ничем сопутствующим не болеет, например, нет пролежней, чтобы можно было заниматься лечебной физкультурой или проводить процедуры. Но ни от чего не лечили. Все, кто был там не первый раз, понимали, что чуда не случится, что никаких ног.

Если честно, то все становится ясно почти сразу, за год-полтора. Крайне редко бывает прогресс и чувствительность восстанавливается. Чаще нет... А люди все равно верят и обижаются, если кто-то сомневается. Надежда, конечно, живет. Все втайне молятся, все просят. Ходят всякие слухи и сказки типа «Петя встал, Вася тоже». И у меня были надежды, но призрачные, фанатичной уверенности не было. Я при-

езжал заниматься, с друзьями общаться, а по большей части наблюдать и размышлять.

Вот пройдет, к примеру, твой срок пребывания, и поедешь ты домой. Один. Никто с тобой возиться не хочет, не до тебя. Понятно, время тяжелое, самим бы выжить. Работы нет, интернета такого, как сейчас, тоже. Многие из нас просто сидели без дела. И что придумаешь, то с тобой и будет. Каждый лепил, что мог. Кто-то с друзьями, если друзья есть хорошие. У кого-то, крайне редко, оставалась работа. О, это был большой человек! Ведь он нужен кому-то до такой степени, что за ним приезжают и везут в офис. А ты сидишь дома, и за тобой никто не приедет. Поэтому бывало и уныло... (Мне никогда не передать словами, как он тут усмехнулся.)

Реабилитироваться можно было два раза в год, и туда заезжали целыми компаниями. Люди знакомились, начинали дружить и под конец договаривались встретиться через полгода. Тусовались почти месяц, а потом ждали нового заезда. Готовились к нему. Врачи отказать не могли, если не было причин вроде нарушений дисциплины.

Центр занимал второй этаж огромной больницы, это был длинный коридор с палатами, процедурными кабинетами, ванными комнатами, кладовками, спортзалом и «Байконуром» – туалетом в дальнем конце. Коридор делился на два крыла лифтом, а к лифту со двора через первый этаж вел самодельный деревянный пандус с перилами.

В правом крыле селили новичков. Здесь все было тихо,

по режиму. Можно даже сказать, интеллигентно. В десять вечера отбой. А в левом жили ребята, которые в Эр-Цэ уже не по первому заезду. Братва нормальная, опытная, местами прожженная. Новичков туда не отправляли. И вот там-то вечером жизнь только начиналась.

Часов в пять, после ухода врачей, приступали к жарке-варке. Распорядок дня не соблюдался. От еды на парю все отвыкли. Если у тебя есть связи и тебе приносят копченую колбасу, огурцы-помидоры, сардельки, ты уже не можешь есть по режиму. А в определенный момент уходят почти все медсестры, и тогда просыпаются монстры.

Контингент подбирался разношерстный, туда попадали разные люди со всей страны – и молодые, и постарше. Это крыло, левое, где «старички», существовало исключительно для общения, ведь все понимали, что шевелиться ничего уже не будет. Там выпивали, и прилично, но если не попадаться врачам и договориться с медсестрой, то и она закрывала глаза. Главное, чтобы не было конфликтов.

Лёха был ветеран левого крыла, парень, как уже сказано, веселый и компанейский. И вся палата у них была спаянная. Поговаривали, что сосед Славка где-то поучаствовал и на точку прилетела мина. Осколок попал в позвоночник. А двух других парней не очень помню. Вот у них четверых сложилась своя компания, они загуливали.

Мы дружили, но в шабашах и сэйшнах я не участвовал. У меня была гитара. Она выручала. Народ, как услышит боже-

ственные звуки (улыбается), у дверей толпится. Даже медсестры иногда на минутку останавливались передохнуть и послушать.

А они, Лёха, Славка, нормальные парни, в палате у себя веселятся, наливают-закусывают. Смеются, прямо ржут, друг друга подкалывают. Молодые мы были.

Там же ведь и девчонки на колясках приезжали разные, находились и парни, желающие за ними приударить. Возникли отношения, а где ж еще им возникать, если не здесь? Ходили гулять в парк. Есть у больницы огромный парк, дорожки, клумбы, деревья. Слегка уменьшенная ВДНХ.

Познакомиться просто. Была одна девушка с мамой, ухаживала за ней. Нет, девушка на ногах, конечно, это мама на коляске. И мама была против. Против их с Лёхой отношений. А она, вот не вспомню никак ее имя, может, Надя? Она была такая... среднего роста, стройная. Худенькая, симпатичная, брюнетка со стрижкой. Деловая, о маме заботится, все делает быстро.

Она как-то вышла из маминой палаты, присела в коридоре отдохнуть на диван, он и подкатил. Познакомились. В таких заведениях экспозиция короткая, ведь здесь всё близко и недолго. Вот и у них заискрилось, потом закрутилось-завертелось. Начались отношения, она шла навстречу. У них был ключ от какой-то комнатухи, и отношения... ну, очень личные и очень стремительные. Мама – та просто запрещала, но она ей вопреки все равно встречалась с ним. И они

закрывались в этой комнатушке...

Лёха, кстати, понимал, что встать не получится. Разговоры об этом даже не заводились. Он, по-моему, к тому времени был уже разведен. Чаще всего так случается, что когда человек получает травму, то люди расходятся. Жизнь вдруж совсем меняется, и не все могут это выдержать. А новые пары образуются, когда человека принимают уже вот таким...

Этих людей, под энергетиком любви, их видно издалека. От них какие-то лучи исходят, радиация. Глядя на них, ты понимал, что это не просто шутки, что не романчик это больничный, каких много случалось. И она его не дразнила, не шутила. Она, хоть и улыбалась, казалась такой серьезной, внимательной. Приветливой со всеми. А с ним ласковой и нежной.

Народ вокруг любит подкалывать, но по-свойски, без злобы. С одной стороны, целоваться же в палате не будешь, там соседи могут пошутить, мол, не мешайте, дайте отдохнуть и вообще – взлетайте-ка с «Байконура». А с другой – Лёха собирается на свидание, возле умывальника бреется, а Славка ему из своего угла бросает через всю палату дорогуший лосьон после бритья.

...И у Лёхи с ней все выглядело серьезно. По нему было видно, хотя он почти ничего не рассказывал. Однажды только обмолвился задумчиво, что гуляли с ней в парке, искали вдоль дорожки каштаны. Откуда ни возьмись из-за кустов появляется девчушка лет пяти, нарядная такая, в белом пла-

тье, с бантом и говорит: «Тут каштанов нет, они там, под деревьями»! И снова исчезла. Поехали дальше, а она бегом догоняет, запыхалась вся, и кладет ему в ладонь каштан. Красивый такой, теплый и гладкий. Только и успел спасибо сказать. Ну чистый ангел!

Мы спрашиваем, желание-то загадал, раз ангела встретил? Конечно, отвечает, сам смотрит сквозь нас, улыбается, как Ромео на балкон. Потом вечером, после свидания, на радостях слегка подвыпил с соседями и в темноте уже пробирался к своей кровати. Хотел потихонечку, никого не разбудить. Там над кроватями балканские рамы, такие железные перекладки, чтобы можно было руками цепляться и перелезть из кресла на постель. Утром нам рассказывает: «Лезу и не могу понять, чего ж так тяжело? Кое-как залез и наконец понимаю, что ноги-то от коляски не отцепил, они так и остались ремнем притянуты. Вместе с коляской и взгромоздился на койку, только потом сообразил»! Вот до чего не в себе был.

Из Эр-Цэ они разъезжались как пара, что расстается ненадолго, и у них намечалось продолжение. Они хотели встретиться в Москве, она ведь из Москвы, а он из Подмосковья. Но не будешь же на улице. А тут одна наша общая знакомая, Наталья, предложила встретиться у нее. Она жила недалеко, на Воробьевых горах. Нет, не только им предложила, нас там человек пять-шесть собиралось, Слава, Макс. Хотели увидеться, поболтать, чайку попить. Потом пообедать.

Целая программа была. У Макса машина.

Все собрались, Лёха приехал. Ждали ее, чтобы чаи гонять. Он ей звонил, не мог дозвониться. Наверное, говорит, в метро. Ну еще подождали, она не едет и не едет, не едет и не едет. Он не понимает, что происходит, потому что утром еще созванивались. Он был уверен... Даже предположить не мог, что вот так – бац!

Тут Наталья стала на стол собирать, давайте, говорит, перекусим.

В общем, не был он готов к тому, что она возьмет и перестанет на связь выходить. Сидим за столом, он молчал-молчал потерянно, потом говорит: «У меня электричка скоро». Наталья ему: «Ну куда ты сейчас поедешь, ночуй, электрички эти через каждый час. И дождик вон капать начинает». Мы все: «Лёха, какого ляда? Оставайся, целая комната пустая, с диваном». Он: «Не, не, поеду я, поеду».

Он понимал, что не сможет справиться и сидеть со всеми, шутить-улыбаться. И все мы тоже были озадачены. Точнее, ошарашены. А ему нужна была дорога, дорога... чтобы пережить всё это. И то, что она трубку не берет.

Короче, поехал он. Только на улицу вышел, ливень ударил. В Москве такие дожди бывают летом, прямо стеной, воды по бордюру. Мы даже на балкон вытащились, посмотреть, как он там. Ему нас не видно, он даже и не знает, что мы его видим. По двору проехал медленно, торопиться смысла нет. Трудно колеса крутить под дождем, через воду.

Он скрылся за углом, а мы еще не знаем сколько времени просто молчали. Я представлял себе его путь до метро, в голове висел знак вопроса: почему она так поступила? Не сказала? Не позвонила, что не приедет? Зачем довела до критической точки, до боли такой? Как будто в голый нерв чем-то колют...

Или, может быть, это у нее такой принцип? Взять и дойти до предела, чтобы потом не пришлось растягивать резину? Хотя она могла бы ведь и плавно съехать: не могу, например, не получается. Мама не разрешает... Да и мама на коляске, а тут еще он. Поставь себя на ее место. Никакого времени не хватит...

Ксения ДРАГУНСКАЯ

Черный или зеленый

рассказ

В деревне Логово – церковь рубленая, желтые толстые бревна, стоит на месте старой каменной, снесенной в шестидесятые, прямо на берегу огромного озера.

Два шага – и камыши, в камышах – рыбацкие тропки, лодочки ждут хозяев, толкаются, подталкивают друг друга, как будто подзадоривают, какая первой уйдет в озеро.

На церковном дворе много цветов, детская площадка с качелями и песочницей, в глубине двора – старые липы и дом батюшки с полукруглым чердачным окном. Сейчас там, под липами, визжит пила и стучат молотки, батюшка и два доброхота из местных мастеров большой стол. На днях обещал быть владыка со свитой, надо всех посадить.

К церковным воротам подруливает «рено» типа «сандеро» калужской сборки. Во двор, в цветы, липы и визг пилы входят двое: рослый дядька в бандане и мелкая тетя в панамке. Обоим крепко за пятьдесят. Дядька орел, красавец – нагловатые светлые глаза, шрам на щеке, кривой перебитый нос... В тетеньке есть что-то мартышечье: грустный взгляд, носик бананчиком и зубки вперед.

Они отрывают батюшку от трудов.

– Нам бы обвенчаться.

– Похвальное намерение. – Батюшка улыбается.

В этом молодом священнике прекрасно все: каштановые волосы, чистая белая кожа, янтарные глаза, рыжая борода, тельняшка, татуировка «ДМБ 2002» на крепком предплечье.

– Люблю венчать, – признается он.

Ему уже мерещится застолье, уж всяко повеселее, чем с владыкой, хорошее угощение (номерок на машине столичный – батюшка все заметил), приятные разговоры с культурными людьми и пакет гостинцев, передаваемый новобрачными батюшке на прощание.

– Ну что, когда? Давайте в следующую субботу? Сперва приходите на исповедь, а после службы проведу с вами беседу для вступающих в христианский брак, так положено, и в добрый час. Свидетельство из загса не забудьте прихватить. Или копию.

Бандана и панамка переглядываются.

– Нема, – разводит руками бандана.

– Утрачено? Надо восстановить. Этот документ должен быть в вашем семейном архиве. Постарайтесь побыстрее восстановить, и все сделаем.

– Отродясь у нас такой бумаги не было, – признается дядька.

– Проблема, – говорит батюшка. – Сейчас с этим строго. Без загса – никак.

Бандана и панамка приуныли.

– Вы давно вместе?

– Ой... – Дядька махнул рукой, дескать, вечность.

– Детишек сколько? – деловито спросил батюшка.

Панамка захихикала, а дядька удивился:

– Откуда?

– Я вас не понимаю, – нахмурился батюшка.

– Маня, иди погуляй, – велел дядька.

Она уселась на детские качели, раскачивалась и смотрела, как рыбаки возятся в лодках.

Дядька между тем заговорил тихо, сбивчиво и эмоционально:

– Они в сталинке жили, а мы через двор, в бараке. Уж не помню, почему у них в гостях оказался. В первом классе дело было. У нее папа – инженер-конструктор, мама – библиотечарша... Дома чисто, тихо... А у меня батя – грузчик в угловом, колдырь, гонял нас почем зря... Социальная, короче, пропасть. Бездна! И вот родители ее, они меня с первого класса, как родного. И обедом накормят, и уроки проверят. Михал Абрамыч, Бела Лазаревна... Если при мне кто против жидов что вякнет, я сразу – в торец. Благодарен потому что. Человеком только через их доброту и стал. Это ж Бела Лазаревна первая заметила, что я с деревяшками возиться люблю. Спрофориентировала в ПТУ краснодеревщиков. И работа по душе, и всегда при дензнаках. Кстати, если что – я из икейской табуретки стульчик времен Александра Третье-

го скомстролю, комар носа не подточит, это как два пальца... Дурим лохов богатых, конечно, грешные... Вот, значит. Ну, так и дружим. От шпаны ее защищал. Как брат. И она – как сестренка.

Батюшка терпеливо слушает.

Панамка тем временем безмятежно качается на детских качелях и перекликается с рыбаками:

– Дядь Петь! А линь в этом году хорошо идет? А язь? А лещ? Идет лещ? А Эсокс луциус? А Скардиниус Эростроф-таламус?

– Вы меня запутали, – говорит бабушка. – Брат, сестренка... Венчание... Не пойму... Вы семья или нет? Вы женаты?

– Я? А то! Много раз, и все удачно. У трудового народа как положено – пришел с армии, женись, а то может у тебя дефект какой... Я на Раюхе с третьего подъезда женился, у нас Катюха с Андрюхой... Потом Ольгуня была, там Настёна у меня... Красавица... Жеральдина еще, с пятой подстанции, но с ней так жил, без расписки, чтобы паспорт не марать...

– Но я правильно понимаю, что сейчас вы состоите в гражданском браке с... (кивает в сторону качелей).

– Нет, мы не состоим. Мы по жизни дружим. Ее тоже помотало, пообжигалась девчонка, и по Америкам с Израильями жила, и то и сё, а потом вернулась, на все плюнула и тут дом купила. А что? Рыбалка, лес... Огород развели, сад от старых хозяев остался... Живи да радуйся.

– Понятно. То есть понятного как раз маловато. Эта ваша

школьная подруга не является вашей фактической женой.

Дядька смеется от души, как будто батюшка хорошо пошутил.

– Да на чем тут жениться-то? Жена, она должна быть... Как селедка! Толстая и нежная! Чтоб слюнки текли, как глянешь. А это что? Стебелек мой в красной косынке... Да я-то мужик здоровый, мне иной раз до того охота... Грешным делом за бока ее однажды по-хозяйски взял, так она прямо взмолилась: «Володя, не будем портить отношения». Точняги ведь! Не будем портить отношения!

Пауза.

Янтарные глаза батюшки становятся очень большими и сердитыми.

– Послушайте, вы Евангелие читали? Что муж и жена – единая плоть, вот это вот? Тех, кто не исполняет супружеские обязанности, от причастия положено отлучать. Вы как себе это представляете? Вот допустим, гипотетически, вы обвенчаетесь с подругой детства, с которой у вас чисто дружеские отношения, а как вы, извините за прямоту, нужду справлять будете? Бегать, что ли, по этим Раюхам с Ольгухами?

– Как-нибудь урегулируем, – бубнит дядька. – Господь управит.

– Дикость какая! У вас каша в голове. Значит, или вы будете жить как муж с женой, зарегистрируетесь в загсе, прочтете Евангелие, и после этого я вас обвенчаю, или пере-

станьте голову морочить.

– Нет, как муж с женой – это даже не уговаривайте. Все под откос пойдет через полчаса, спасибо, знаем, плавали, я трех жен ухайдокал, а может, они меня... Раюха, Ольгуня, Жеральдина еще с пятой подстанции... Как вспомнишь, так вздрогнешь... А тут – человеческие отношения. Доверие. Взаимопонимание. Поддержка.

Батюшка молчит, и дядька смотрит на него.

– Не греет вас дружба русского и еврейского народов, – понимает он. – Что-то не рады вы, как я погляжу.

У батюшки зашумело в голове.

– Радует! Очень радует! Вы с первого класса дружили с девочкой, ее родители поддерживали вас, подростка из трудной семьи, вы пронесли эту дружбу и благодарность через всю жизнь, это прекрасно, это очень позитивно, я про вас на проповеди расскажу. Но друзей не венчают!!! Это невозможно. Это бред. Какого лешего вам с ней венчаться???

Дядька не понимает, как батюшка не понимает.

– Так помирать скоро. У нее никого, и я один как сын. А Маргарита Ивановна с восьмого дома, дачница с Питера, говорит, кто не венчался, тот на том свете не встретится. Она врать не станет, она доктор физико-математических наук. Что ж мне, на том свете чаю будет не с кем попить?

«Маргарита Ивановна... Высокая старуха, на службу приходит в тренировочном костюме... Ну, бабка, схлопочешь ты у меня...»

Батюшка садится на скамейку.

– Почему вы так уверены, что на том свете будет чай? – устало и грустно спрашивает он, и в нагловатых светлых глазах его собеседника тоже появляется растерянность и грусть.

На том берегу озера началась дискотека, и простенькая, попсовая песенка казалась издалека задумчивой и красивой...

– Вот что, – решает батюшка. – На днях нас посетит архимандрит, владыка Серафим. Будет проповедь и беседа со всеми желающими. Вопросы и ответы. Обязательно приходите и расскажите обо всех ваших проблемах... Про жен ваших... Про эту дружбу школьную... Уверен, что владыка посоветует вам что-нибудь хорошее.

– Он не монах, часом? – настораживается дядька.

– Разумеется. Чтобы достичь такого высокого сана, надо смолоду принять постриг, – терпеливо разъяснил батюшка.

– Это монах, что ли, приедет население обучать, как мужикам с бабами жить? Интересный случай...

Батюшка встает. Разговор окончен.

Дядька смотрит на него:

– Отец Антоний... Может, договоримся? Тебе крышу крыть надо. У тебя таинства, благодати, а у меня дензнаки. Я нежадный. Договоримся, а?

– Буду рад видеть вас и вашу подругу детства на службе, – с достоинством отвечает батюшка.

Плещется о лодочки озерная вода, солнце собирается

спрятаться за леса на том берегу.

– Маня, валим, – командует дядька, и она спрыгивает с качелей, как воробей.

Батюшка смотрит, как удаляется, покачиваясь на колдобинах, автомобиль, и думает об этих двоих, почти что стариках, стареющих детях, одиноких, льнущих друг к другу... А может, такая вот дружба – это и есть настоящая любовь? Батюшка думает про безбожие, про наивную народную веру, про страх смерти. Он бы еще долго так стоял, смотрел на озеро и думал про всякое...

Но к нему по тропинке спешит матушка:

– Так, Антон... Это долго будет продолжаться? Ты, вообще, на часы смотришь? Куда ты исчез? Вы потом полночи молотками долбачить будете? Дорогой мой, да у тебя столбняк, что ли?

– Извини, задумался, – виноватится батюшка и плетется за ней.

Семья, ничего не попишешь. Муж да убоится жены своей.

Вечером в этих краях долго светло. Поднимается туман от озер и полей. Засыпает земля, многострадальная, истерзанная нашествиями иноплеменных, напитанная кровью солдат, великая и кроткая.

Допоздна работает лавочка, где хозяйкой жена участкового, мужики толкуются на ступеньках. Краснодеревщик выходит с покупками, ручкается со знакомыми.

– Слышь, Мань, что у магазина толкуют, – радостно говорит

он, входя в избу с четвертинкой и пряниками. – В Каменно попу прислали, храм поднимать.

– Вертолетом забросили? – удивляется Маня. – Там дорог нет.

– То-то и оно, – радуется дядька. – Дорог нет, живут полторы старухи, нищета, голяк, а у попа малых ребят полный дом. Мы ему матпомощь оформим, если наш вопрос решит аккуратно. Вот завтра прямо и подкатим.

– Как подкатим-то? Туда и вездеходом не долезешь...

– С озера подойдем! С утряка пойду с Харитоновым про моторку договорюсь. А? Ловко придумал?

Он протягивает ей руку, она шлепает по его широкой ладони маленькой лапкой и смотрит на него с восхищением.

Уломают попу. Будет, будет с кем на том свете чаю попить.

Алексей САЛЬНИКОВ

Сидеть

рассказ

Так постоянно имелись над Илюшей агукающие фигуры, что и в сон проникали полностью, никак не меняясь. Как наяву, трясли перед лицом яркими громыхающими предметами, игриво спрашивали: «Да? Да?» Смеялись. Илюша научился смеяться им в ответ. Обретя клички из двух слогов, фигуры стали следить, чтобы Илюша не ударился головой об угол стола, не сунул пальцы в розетку, не опрокинул на себя кипящую кастрюлю, не упал с дивана. Сажали рядом и повторяли одно и то же, тыкая пальцем в картинки, пока Илюша в один прекрасный момент не понял, о чем это они, всё до последнего слова. Пока не сообразил, что такое «испечь», «колобок», то, как выглядит и называется каждый из зверей, попадающийся колобку по пути. Тогда Илюша еще не знал слова «довыдελывался», но оно в виде чувства промелькивало в нем, когда колобок от раза к разу встречал свой закономерный конец. Сказка не надоедала, Илюша сам уже требовал повторить ее и несколько других историй: про репку, курицу с золотым яйцом, непослушного петуха, которого крала опять же лиса, очевидно не насытившись колобком, она же выгоняла зайца из лубяной избушки, она же пугалась

другого петуха (или того же самого, съеденного понарошку, способного возвращаться то в роли героя, то в роли глупой птицы) и покидала заячью жилплощадь.

В детском саду все делалось вместе: еда, сон, игры. Стоило слегка увлечься какой-нибудь игрушкой или просто сесть где-нибудь, о чем-нибудь подумать в стороне от других, почти сразу же подходили, интересовались, тянули к людям. Когда случился первый в Илюшиной жизни карантин, его отдали соседке-пенсионерке из ближайшего к их пятиэтажке деревянного домика, внутри которого все пахло как из приоткрытой двери детсадовской столовой, а каждая поверхность, до которой Илюша дотрагивался, была слегка липкой. В этом домике Илюша подцепил вшей, и его перестали туда водить – уговорили другую старушку из соседнего подъезда.

С трудом его первый раз запихнули в квартиру, откуда дохнуло на Илюшу так же, как когда-то из кабинета в больнице, где брали кровь из пальца. Если у первой старушки он листал цветные журналы, такие сыроватые, как осенние листья, то здесь, в чудовищной чистоте, где даже кактусы блестели, будто их ежедневно протирали каким-то образом, будто отдельно мыли каждую колючку, в этой квартире нечего было разглядывать. В тех синих журналах, в тех толстых темных книгах, что стояли на полках в шкафу, не имелось картинок, там были одни только буквы. Старушка попробовала научить читать Илюшу, но ему сразу же стало скучно. «Не знаю, – говорила она затем в телефонную трубку, что

была белее, чем яичная скорлупа, – мой Арсений в это время уже гаммы играл».

Все последующие разы Илюша просто сидел на кухне, глядя в окно, а старушка находилась рядом, за кухонным столом, раз в несколько минут перелистывала страницу в синем журнале, поглядывала на белый будильник и тихо вздыхала.

В какой-то момент его собственная бабушка вышла наконец на пенсию, но это уже было ближе к школе, потому что именно из того времени запомнилась ее часто повторяемая шутка: «Ну что? Скоро будешь колы носить мне и маме? Будем огород городить?» Что-то было в ее голосе такое, когда она произносила эти слова, от интонации воспитателей, когда они кивали в сторону Илюши. «Не всем же звезды с неба хватать, – говорила мама, – кто-то и работать должен».

И действительно, в школе не заладилось сразу со всеми предметами, включая труд и рисование. Бабушка отводила Илюшу в школу, затем приходила забирать его из группы продленного дня, выслушивала жалобы педагогов, вела его домой и пересказывала ему эти жалобы, которые он и так слышал прекрасно, затем пересказывала эти жалобы маме. «Ну а что я могу поделать? Я все время на работе!» – кричала мама.

Если бы это сразу обрушилось на Илюшу: если бы его хвалили, хвалили, а затем стали ругать, он, может быть, и погряз бы в тоске. Но, во-первых, почти ничего не изменилось с тех пор, как он был дошкольником, просто задачи, которые

Илюша должен был выполнять, стали сложнее. А во-вторых, что-то затеплилось в нем этакое, которое, может, всегда в нем было, просто никак не проявлялось. Поняв, что он что-то упустил во время первых недель в школе, он, невероятным образом мучая себя тайком от бабушки и мамы, делая вид, будто играет в другой комнате, вглядывался в букварь, потому что если его видели с букварем дома, то сразу же подсаживались советовать и подсказывать, невыносимо скрывая раздражение и бессилие. Это чудо, когда бессмысленно отстоявшие друг от друга значки, имевшие короткие имена, внезапно образовали слово «лес», слово «около», слово «леса», слово «река», Илюша запомнил. Именно оно позволило ему перейти из класса в класс, помогло смешаться с большинством троечников.

Первое школьное лето и несколько следующих частью состояли из пионерского лагеря. Там постоянно крутились многочисленные люди, порой совершенно поначалу незнакомые, с ними нужно было делить едва ли не всё: туалет, душ, еду, сон, любой промежуток свободного времени. Но именно там Илюшу стали звать Ильей, и это прилепилось к нему настолько, что и дома стали звать Ильей тоже. Как раз в лагере случались такие ссоры, из каких он мог выйти победителем: с теми же бабушкой и мамой спорить и драться было бесполезно (да Илья и не пытался драться ни с мамой, ни с бабушкой), местный обидчик в классе чуть что успевал призвать на помощь классного руководителя. В лагере

Илье удалось отстоять себя от тех, кто пытался что-нибудь отобрать у него, лез с прозвищем либо вмешивался в его игру с друзьями. Он почувствовал, что в нем есть нечто такое, его собственное, которое не воспитывали ни дома, ни в школе, этому нельзя было поставить оценку, нельзя было отключить, как телевизор, в наказание за двойку. Еще детским чувством, но Илья определил, как легко расплескать это внутреннее чувство любым неправильным делом, словом, такое странное ощущение, будто на тебя кто-то смотрит изнутри.

Илье исполнилось тринадцать, когда бабушка стала быстро сдавать. Сначала она сама ходила в больницу, затем захромала и стала добираться до больницы с тростью, скоро и этого стало недостаточно, нужно было поддерживать ее, даже когда она желала передвигаться по квартире. Однажды она и вовсе не смогла встать, именно в этот день невыносимо начал гудеть кран в кухне, передавая дрожание и гул во всю квартиру. Мама попросила вызвать сантехника, но, руководимый внезапным упрямством и внутренней интуицией, Илья разыскал отцовский ящик с инструментами (единственное, что от отца осталось, если не считать нескольких черно-белых фотографий) и как-то само собой произвел нехитрую операцию по замене прокладок, точнее, как бы даже не сам произвел, а только слушался уверенного внутреннего себя. И так же, будто себе не принадлежа, года полтора откликался на каждый горестный зов из бабушкиной комнаты, даже уколы научился делать, не говоря уж о том, чтобы вынести суд-

но. Мама принялась намекать, что не только ей нужны подработки, Илье тоже неплохо бы что-нибудь найти, какое-нибудь денежное занятие, поскольку бабушкина ветеранская пенсия скоро прекратится. Бабушка, когда прознала об этих разговорах, устроила маме нагоняй, сказала, что у нее есть сбережения, что комнату, в которой она сейчас безвылазно лежит, можно потом сдать студенту или даже двум, а парень пусть учится, если сможет хотя бы в ПТУ поступить.

Так и сделали, выждали только девять дней, переклеили обои, перехватили соседей, которые тащили на помойку довольно еще приличный диван, вытравили тараканов, живших в этом диване, вытравили тараканов, расплзшихся из дивана по всей квартире по многочисленным щелям в плинтусах, под полом, за тусклым ковром, изображавшим оленей на водопое, за шкафами кухонного гарнитура да много где еще, поставили будущему жильцу журнальный столик, настольную лампу, дали объявление и заселили первого же студента, хотя маме он и не понравился, потому что спросил, можно ли курить в комнате (нет), на кухне (в форточку), можно ли водить в квартиру друзей, девушку, хотя бы изредка (нет). С этим студентом маму примиряло только то, что был январь, другие студенты устроили свое жилье еще летом или осенью, а этого выперли из общежития за некое новогоднее веселье, о котором он не спешил распространяться.

За первым ужином под новой крышей студент сразу же спросил, куда собирается поступать Илья. «В училище ка-

кое-нибудь, – ответила за Илью мама, – только, ой, сильно сомневаюсь, что куда-нибудь поступим, с математикой у нас плохо всё, да и сочинение, не знаю, как он напишет, ничего же не читаем! Лишь бы по улицам с друзьями». «Ну, не знаю. У меня батя однажды, когда делал со мной уроки в шестом классе, даже, кажется, пытался в окно выброситься, а сейчас – вот, все нормально, – сказал студент, – не надо к ней, к этой математике, относиться, как к чему-то прямо-таки небесному, тем более к школьной математике, в которой два прихлопа, три притопа. И поскольку разговор об училище идет, а не об МГУ, то вполне реально все это подтянуть».

«Это просто искусство мухляжа, да и всё, – объяснял он Илье затем, когда убедил его позаниматься. – Почти любое решение школьной задачи – это подгонка под решение квадратного или кубического уравнения, умеешь это делать, считай, тройка или даже четверка в кармане».

«Да и больших книг бояться глупо, это просто вариации всякой глупости знакомой, – сказал студент, когда дела с математикой, едва ли не вопреки воле самого Ильи, пошли на лад, а сочинение еще пугало. – Попробуй прочитать и сравнить. Это просто называется громким словом “классика”, а на деле – вполне себе интересные книги, только к некоторым нужно привыкнуть, ну, как к вкусу какому-нибудь. “Горе от ума” – это усложненная сказка про медведя, который другим зверям дом разломал. Лев Николаевич – “Ежик в тумане”: дуб выплывает из мрака, лошадь возвышается над ежи-

ком, как Наполеон над Болконским. И так же совершенно со всем остальным. А если выучишь слова “сюрреализм” да “экзистенциальный”, а еще лучше словосочетание “экзистенциальная драма”, тебя в ПТУ на руках занесут, может, даже не станут спрашивать, что ты имел в виду, когда это написал».

Студент будто и появился только для того, чтобы подготовить Илью к экзаменам и пропасть. Илья даже попрощаться с ним не успел, застал уже пустую комнату и, хотя и не выдал этого, переживал больше, чем после смерти бабушки, и потому переживал еще и из-за этого.

Илья отучился на оператора-наладчика станков с ЧПУ, затем сходил в армию, где тоже оказался пристроен за станком – делал фигурную резьбу для мебели, производство которой наладил на территории части предприимчивый полковник, затем вернулся домой и по рекомендации этого самого полковника чуть ли не в день приезда устроился на работу.

Почти сразу навалилась халтура. Илью так увлекла эта постоянная активность, когда на раз в две или три недели выдавался единственный день отдыха, так понесла работа, что он не сразу заметил, насколько это тяжело, будто усталость описала некий полный круг, зашла с другой стороны и стала даже бодрить в течение рабочего дня. Несколько лет подряд Илья приходил домой, ужинал, отмечал очередного жильца, жиличку, бывало и так, что сразу семейную пару, да еще и с ребенком, мылся, уходил к себе в комнату и не засыпал

даже, не вырубался, а такое было, словно кто-то батарейки из него вытаскивал, но и этому спасительному мраку фоном служили телевизор, разговоры, ходьба, покашливания, плач чужого ребенка. Илья стал намекать матери, чтобы она завязывала со сдачей комнаты очередным жильцам, поскольку утомительно было в единственный выходной ждать своей очереди в ванную, тесниться на кухне. Деньги, в конце концов, имелись уже. «Раз есть деньги – съезжай, у меня тоже планы, я еще молодая вполне себе женщина», – сказала мама. Связаны эти слова были с тем, что к ним как раз подселился ровесник мамы – сорока с чем-то завскладом с серьезными намерениями. По-хорошему, нужно было просто встретить его на улице, слегка намекнуть, чуть-чуть потолкать в плечо, однако вместо этого Илья действительно снял квартиру с мебелью в другом конце города и в тот же день запихал все свои вещи в рюкзак и переехал двумя трамваями на новое место.

Сначала было беспокойство, будто у собаки, он ходил из угла в угол, смотрел с необыкновенной высоты на кажущийся чужим двор, сходил в магазин и, зачем-то пожадничав, купил сразу четыре банки пива, а потом выпил их минут за двадцать. Долго сидел напротив телевизора, совершенно не видя передачу, увлеченный чем-то непонятным внутри себя, а затем внезапно сообразил, что ведь двадцать с лишним лет вообще ни одного дня не оставался один дома и вне дома так, чтобы кто-то не смеялся, не стучался к

нему, чтобы не было вероятности, что кто-нибудь приблизится и начнет задавать вопросы, рассказывать истории, будет молчать рядом, окликнет, вздохнет, станет жаловаться на что-нибудь, смотреть, советовать, учить, сетовать, завязывать разговор о погоде, политике, жизни вообще, греметь посудой на кухне и громко вздыхать, расстроено резать овощи на разделочной доске, обсуждать его без него самого, сплетничать о соседях, обсуждать срам в телевизоре и газетах, винить правительство, винить коммунальные службы, кондукторов, транспорт, продавцов, цены, рассказывать один и тот же анекдот, лезть с внезапными поцелуями и внезапными объятиями, спрашивать, что он ел и что будет есть.

Он понял: вся его жизнь, от рождения, через детский сад, школу, пионерские лагеря, училище, армию, работу, была будто один день какого-то чужого, очень шумного праздника, где веселились все, кроме него. Без конца его дергали, порой вытаскивали на общее обозрение, ждали от него чего-то, а он хотел только спать, но спать было еще рано. Теперь был вечер после этого немислимо длинного праздничного дня, прошедшего как бы в тесном и душном Доме культуры, где по прихоти пожилого директора переусердствовали с температурой парового отопления, Илья будто вышел из этого дома на зимний воздух. То, что он принимал за отдых, когда отстранялся от общего гвалта, не было вовсе отдыхом, а только передышкой. Оказалось, что под тем расслаблением, к какому он привык от рождения, таился невероятный

покой, охвативший его теперь с такой мощью, что не было сил встать.

Руслан ОМАРОВ

Аристарх

рассказы

АРИСТАРХ ОСВОБОЖДАЕТ НАРОД

Нынче, когда лампа моей жизни догорает (*tant attendue, excusez-moi pour cette coquetterie*¹), в ее ненадежном свете я решился сложить из мозаики подвигов и приключений портрет старины Аристарха, неукротимого искателя наживы, выдающегося разбойника, убежденного казнокрада и очаровательного самодура, – истинного сына благословенной пост-эпохи постгуманизма, постправды, постэтики, постнауки и постискусства, совершенно постисчерпавшей все формы и представшей перед постпубликой в трудно осязаемой постнаоте своего постсодержания.

Старина Аристарх, насколько я успел заметить, путешествуя под парусами своего тщеславия сквозь времена и страны, был одновременно слепком со всякого взятого наугад русского чиновника и полной его противоположностью. Раню унаследовав должность, он застал калейдоскоп царство-

¹ Столь долгожданно, простите мне это кокетство (*фр.*).

ваний Дмитрия Айфонофора и Владимира Ботокса в зените аппаратного могущества. Задумавшись над извилистой имперской историей, он философски взвесил свои цюрихские депозиты, без колебаний задушил под ковровой дорожкой нескольких наиболее опасных друзей со Старой площади и благопристойно удалился от суеты, сняв для себя роскошный этаж на Елисейских Полях. Сюда, к порогу его отеля, меня и прибили волны изгнания. Трудно судить, почему именно мне старина Аристарх отворил двери своей новой жизни, ведь до этого времени мы никогда не были особенно близки по службе. Находил ли он интимную приятность в моей компании или руководствовался обыкновенной скукой, но, живя бок о бок, постепенно мы стали сближаться, и сближение это отчасти переросло в странную скептическую дружбу между двумя молодыми чиновниками, одинаково трезво смотрящими на узы любого товарищества. Там, где мы появлялись в компании, в особенности в богемных катакомбах, куда Аристарха заносили приступы любви к авангардному искусству, нас принимали даже за любовников, но эти домыслы были так же далеки от истины, как и иные, более прозаические подозрения на наш счет. Положа руку на сердце, и я сам не смог бы дать внятной картины наших с Аристархом отношений в одном или двух словах, вот почему мне легче превратить историю этой дружбы в историю о диковинных событиях, участником которых мне довелось быть.

Начну, пожалуй, с рассказа о том, как мой приятель человеколюбиво подарил народу долгожданную свободу. Все культурные герои, титаны и полубоги, начиная с Гильгамеша, время от времени совершают подобное, и тут, на мой взгляд, вовсе нечего стыдиться. Кроме того, как и многие другие поворотные исторические события, не оставившие следа в летописях, это произошло в апартаментах «Пари-Мариотт», где Аристарх коротал время в ожидании реставрации маленького охотничьего замка в департаменте Луар и Шер, купленного им почти за бесценок. В результате чего, насколько я помню, ни один народ не пострадал.

Словом, явился накануне старина Аристарх и принес с собой тяжелый и кислый дух размышлений о византийской нашей отсталости. Ничто так не пугало в его темном облике, как томик «Персидских писем» под мышкой. Вслед за Аристархом внесли и утробистую несториду красной глины с цекубским вином.

– Народ влачит цепи рабства, – сообщил Аристарх, потрясая кубком и роняя на ковры янтарные слезы вина. – Народа слишком много, и кандалный звон уже проник во всякую строку! Нет такого литератора, который, разрывая на себе одежды, не живописал бы его страдания! Некуда скрыться от плача униженных и оскорбленных!

– Нет, ну почему некуда... – возразил я, но был прерван.

– Как выгядим мы в глазах просвещенного человечества? Как?!

– А как? – заинтересовался я.

– Как паразиты, – ответил мой друг, – как ничтожная горстка клопов на огромном, лишенном подвижности теле, все могучие члены которого опутаны мерзким железом. Стыдно! Стыдно открывать инвестиционные сезоны в Цюрихе, зная, что от тебя за версту разит крепостничеством, словно от какого-то азиатского набоба! Пришла пора перемен, освободим же рабов, приятель, и снимем с народа вековые цепи!

– У народа под цепями ничего нет, – напомнил я. – Даже шерсти. Напрасно только испугаем общество его костлявой наготой. Да он и замерзнет в сочельник, без цепей-то! *Écoute, mon chou, sois un peu charitable!*² И вообще, ты зря волнуешься: в Европах привыкли к такому его угнетенному облику. Без оков наш народ, поди, и не узнают, примут за какого-нибудь проходимца, румынского графа или, скажем, волостного писаря из Торжка! Нет, братец, решительно забудь об этом!

– Никогда, – отказался Аристарх, полный самой солнечной решимости. – Позовите народ! Я протяну ему пламень свободы и в щепы разобью безобразное невольничье ярмо!

Сейчас же по знаку метрдотеля народ был бережно введен в гостиную. По сырым народным следам куницей метнулась горничная, вооруженная паркетной щеткой. Я подобрал ноги и вцепился во флакон с нюхательной солью.

² Послушай, дорогуша, прояви же немного снисходительности! (фр.)

– Ответь, народ, – спросил неумолимый Аристарх, бросив на плечо угол тоги и протянув к пришельцу раскрытую для дружбы ладонь, – о чем думы твои? О чем грезишь ты в своей тесной темнице бессонными ночами, когда звезды струят свой бледный свет сквозь прутья ее решетки? Какое истовое желание горит в твоей груди, какой жар наполняет ее, когда слышишь ты свист терзающего тебя бича?

Народ, как это у него бывает принято, безмолвствовал.

– Видишь... – подождав, робко заметил я, – он молчит и смотрит. Ей-богу, смотрит, как сыч! Погаси лампу и читай своего Монтескье – такие у народа желтые, совиные глаза! Ты, братец, только напугал его. Да и меня, признаюсь, тоже...

– Да, народ нам не верит... – задумался Аристарх. – Слишком, слишком долго длилась ночь нашего господства. Но вот настало оно, священное утро свободы! Пусть будут мне свидетелями Аквилон, Фавоний, Австр и Вольтурн, боги четырех ветров, и пусть разнесут они эту весть по всей ойкумене. Отныне народ наш свободен!

И Аристарх, сбросив тогу, остался в одном галстукe. Вся спина его, доброй атлетической лепки, засверкала мириадами бисеринок пота. В нечеловеческом и самозабвенном усилии взялся он за народные цепи и потянул их в стороны. Народ глухо заворчал и заскребся по паркету толстыми ногтями, задыхаясь... Вскоре освободитель догадался, в чем дело, и поменял хватку. Мышцы его стали напоминать жгуты, а вдоль шеи взвилась жила, полная жадного, золотистого све-

та. Все любовались Аристархом и его величественной борьбой с рабством. И железо, и сам народ дружно стонали под его руками. Во лбу мыслителя и труженика легла благородная морщина, оставшаяся там навсегда, как печать подвига. Наконец цепи пали, разорванные Аристархом на части! Их, между прочим, оказалась целая груда – разнообразного металла и чеканки. Вперемешку встречались звенья медные и бронзовые, чугунные и стальные, всюду на них стояли клейма всех времен и царствований. Поистине, они представляли собой бесценный клад для коллекционера вроде меня! Я взял со столика предметную лупу и всмотрелся...

– Где же народ? – удивленно спросил Аристарх, с громом разбрасывая по гостиной обрывки цепей. – Я хочу заключить его в братские объятия и повести в светозарный храм культуры и знания! А тут кругом лишь железо! *Dieu m'est témoin, je ne comprends pas!*³ Что за фокусы? А? Что, что же там такое было внутри?!

ДУЭЛЬ

Однажды старину Аристарха вызвали на дуэль. Вот как это было. Не успели мы сделать и глотка мальвазии, из глубины сада, где играли в макао какие-то тени, приблизилась одна и обрела очертания человека в английском кителе. Сук-

³ Бог свидетель, я не понимаю! (*фр.*)

но на кителе было вологодское, горбатое от стирок, уже чиненное, *plus d'une fois*⁴. Но на плечах пришедшего, как два кузнечных отсверка, горели гусарские погоны Нежинского, кажется, полка. Заметил я и пшеничные усы, слегка сырые от пота.

– Вы, сударь, – сказал этот человек, уставившись на Аристарха, – оскорбили Россию! Я вас, сударь, вызову!

– Куда это? – спросил я за своего приятеля, ибо тот удивленно молчал. – Куда вызовете-с?

– На дуэль! Я вызову вас на дуэль!

– Бросьте, ротмистр, – окликнул его кто-то. – *Qu'est ce que c'est que ce cirque?*⁵

– Нет, не цирк! Не цирк, господа, а вопрос чести. Здесь унизили Родину, а Родина и Честь нерасторжимы-с! Итак, сударь, благоволите назвать ваших секундантов... Ну же, я вас вызываю!

– Ей-богу, сударь, – лениво отозвался наконец старина Аристарх и взял рюмку с вином. – Не смею препятствовать, вызывайте сколько душе угодно. Что касается меня, я на эту вашу глупую дуэль не приду.

– То есть как?

– А так. Я вас не знаю, а на приглашения незнакомцев имею привычку не отвечать. Быть может, вы и приличный господин – кто разберет? – но что у вас там, под усами? Не

⁴ И не однажды (*фр.*).

⁵ Что это за цирк? (*фр.*)

далее как вчера я видел вас у бенедектинцев в очереди за хлебом, а нынче на вас офицерские погоны. Что вы делаете в Париже? А ежели, к примеру, вы задумали меня заманить к монастырю Сен-Виктор да и застрелить там из нагана?

– Но я именно и намереваюсь вас застрелить, – растерялся ротмистр. – Как же-с... Не понимаю!

– Вот видите, – назидательно сказал Аристарх. – Ослом был бы я, если б согласился.

Ротмистр замолчал, словно читая про себя какой-то внутренний решебник. Наконец он в рассеянности сел с нами за столик и поднял на Аристарха измученные рыжие глаза.

– Но позвольте... Это немислимо. Вы трус?

– Время от времени.

– Так я ославлю вас как труса! Погодите, я дам вам пощечину, и вы не посмеете...

– Сделайте одолжение, – сыто поиграл чугунными плечами старина Аристарх. – Не стесняйтесь.

Взглянув на ротмистра, я подумал, что тот едва ли удержит в руках тарелку с супом. Его усы, повторяю, блестели от капелек пота. Из-под обшлагов сразу, без манжет, тянулись к свету лампы синие, худые запястья. На запястьях змеились, нервно вздрагивая, вены. Такими руками просят милостыню, но пощечин, увы, не раздают. Мне стало жаль его, и я раскрыл портсигар, предлагая папиросу. Когда я поднес ротмистру спичку, то услышал, как в дрянной пьесе, надсадный кашель.

– Вы трус, – заговорил ротмистр, глядя мимо нас. – Вы говорите об этом запросто, как о простуде. Вы не желаете принять мой вызов. Вы смеетесь, вы брезгуете мной... Вы правы, да, правы: я не смогу вас ударить. У меня не осталось сил. И вообще ничего не осталось...

– Налейте-ка ему вина, – сказал я кельнеру.

– Благодарю. Сейчас, – кивнул ротмистр в сад, – я проиграл князю Чавчавадзе «Станислава» с мечами.

– Чепуха, – между прочим заметил Аристарх, всматриваясь в сумерки за балюстрадой. – Никакой он не князь.

– Ах, я знаю... Но это все пустое. Я сидел теперь под каштаном и вспоминал такой же, в Киеве, перед дядиным домом. Там... до войны. Мальчишкой еще, помню, взбирался на него, а ветви так упруго играли под ногами. Осыпался, осыпался белый цвет со свечей, как снег. Неужели все было сном? Где все это теперь...

Вдруг он достал из нагрудного кармана очки.

По тому, как он надевал их и как бережно поправлял обеими ладонями дужки за хрящеватыми ушами, я догадался, что очками своими он болезненно дорожит. Следом за ними наш *visiteur* извлек из-за пазухи и положил на скатерть браунинг.

– У меня из всего имущества осталось только это. И в комнату на чердаке я уже не вернусь, меня, сударь, изволите видеть, выставили вон тому как неделю назад. Что же прикажете делать? Я думал покончить с собой, но у меня не хва-

тает духу. Меня нынче преследуют каштаны, понимаете? В Стамбуле, в Париже... Я ненавижу каштаны! Вы не принимаете мой вызов, воля ваша...

Мы со стариной Аристархом переглянулись. Ротмистр влажно моргал под стеклами очков, напоминая ребенка. Мой приятель взял со стола браунинг и повертел в ладони, а я нашел в портмоне и протянул через стол несколько купюр:

– Возьмите, здесь, должно быть, франков пятьдесят. Поешьте, снимите гостиницу, выпитесь и забудьте обо всем.

– За кого вы меня принимаете?! – из последних сил выпрямился ротмистр. – Я, сударь, русский дворянин!

– Ах, оставьте, – поморщился старина Аристарх. – Что ж такого, что дворянин? Со всяким может случиться. К примеру, я проснулся и понял, что родился мавром. Какого, скажите, дьявола делать из этого драму? Итак, возьмите деньги и не валяйте дурака. А пистолет оставьте.

– Вот вам еще моя карточка, – добавил я, ругая себя. – Утром, если угодно, навестите меня, и мы поговорим. Стреляться в наше время пошло.

Мы расстались.

Однако следующим днем, когда я мирно пил кофе, на веранду ворвался, оттолкнув слугу и гневно потрясая вчерашним браунингом, Аристарх:

– Вообрази, что за наглость! Едва рассвело, является ко мне в «Пари-Мариотт» этот пошлый князь. Чавчавадзе! Ты

помнишь? *Mince alors, Il était pieds nus!*⁶ Да, да, не смейся, именно босиком! Ну, конечно, в черкеске и брюках, таких оборванных, что видно штрипки от кальсон! Я спрашиваю, чем обязан эдакой чести, и слышу рассказ. Наш ротмистр ночью проиграл ему твои пятьдесят франков. Но не остановился, подлец, а играл еще и выдал расписок общим счетом сотни на три. Натурально, *cet idiot est désespéré!*⁷, идет и прыгает вниз головой с моста Каррузель. Пьяные, ищут тело, ну, понятно, ничего не нашли. Позвали жандармов...

– Какой ужас! – сказал я, пряча рот за салфеткой.

– Ужас? Какой, к чертям, ужас! Оказывается, он объявил, что мы его поручители и теперь должны по этим его бумажкам! Я, конечно, указываю на дверь! В ответ *mot pour mot*⁸ повторяется вчерашняя сцена, только с князем. Все снова проиграно. Выгнали из гостиницы, некуда идти, ночует где попало, достоинство дворянина растоптано! Каштаны, гори они в преисподней, в цвету, но теперь под Тифлисом! *Croistu?*⁹ А? Извольте, говорит, обратно, по крайней мере браунинг – застрелиться. А нет – примите вызов за несчастного ротмистра и прочий вздор о дуэлях.

– А ты?

⁶ Черт возьми, он был босиком! (фр.)

⁷ Этот идиот в отчаянии (фр.).

⁸ Слово в слово (фр.).

⁹ Поверишь ли? (фр.)

– *Parbleu!*¹⁰ – смутился мой приятель. – Ты спрашиваешь? Он был так жалок, что я дал ему сто франков и велел забыть ко мне дорогу. Какой-то нелепый спектакль! Возьми теперь себе этот дурацкий браунинг, не могу на него смотреть. Так мы встретимся вечером в *Opéra*, как договорились? *Bien!* Я не прощаюсь... Каштаны! Вообрази, какой вздор! Каштаны! Помешательство!

Старина Аристарх, бормоча себе под нос и досадливо пожимая плечами, вышел.

Я взял браунинг, разрядил его и постучал пустой рукояткой по столешнице:

– А ну-ка, вылезайте! Ротмистр, он ушел, вылезайте же! И извольте объяснить, что все это значит?

¹⁰ Ей-богу! (*фр.*)

Дмитрий ДАНИЛОВ

Самолет Можайского

Окаянные дни

Мне нравится умиротворенная атмосфера
Благополучных подмосковных городов
Таких как, например, Домодедово
Особенно вечером
Спокойно, уютно
И в то же время оживленно
Тихо кипит
Скромная тихая жизнь

Например, покидаешь стадион
После матча
Чемпионата Домодедовского района
По футболу
Между командами
Юность-Авангард и Атлетик
И оказываешься
В Олимпийском сквере
Аккуратные дорожки, кустики
Впереди перекресток

Высокий новый жилой дом
И дома поменьше
Яркий свет уличных фонарей
Множество магазинов
И магазинчиков
Рестораны, какие-то еще заведения
Идут люди, едут машины
Можно зайти, например, в «Пятерочку»
И купить, например, бутылку виски
Или, как некоторые говорят
«Чего-нибудь вкусенького»
Какое дикое выражение
«Чего-нибудь вкусенького»
Прямо блевать хочется
Но – да, чего-нибудь вкусенького
Купить вот это вот всё
Вызвать яндекс-такси
И поехать на станцию Домодедово
И поехать дальше, в Москву
В светлой стремительной электричке

Сейчас у нас все плохо
Сейчас у нас все очень плохо
Даже не надо объяснять, что именно
Достаточно произнести (написать)
Некоторые ключевые слова
Которые настолько очевидны
Что их даже не надо
Ни произносить, ни писать

У нас все плохо

У нас все очень, очень плохо

А ведь пройдет какое-то время

Долгое ли, короткое время

В любом случае оно будет коротким

И будем рыдать, светло плакать

Кручиниться, рвать на себе волосы

И с воем кататься по земле

Горевать будем по вот этому

По «Пятерочке» и стадиону

В Олимпийском сквере

По виски в «Пятерочке»

«Перекрестке» и «Азбуке вкуса»

По яндекс-такси

По светлым стремительным электричкам

По возможности и необходимости

Написать и опубликовать

Вот это стихотворение

Напишем книги

Лето Господне, на берегах Невы

Москвы-реки, Шпрее и Мансанареса

И окаянные дни

И снимем, конечно, фильм

Эр-Эф, которую мы потеряли

Но это будет потом

А сейчас уже наступил вечер

Тихий летний подмосковный вечер
И я пишу этот текст
В светлой пустой электричке
Которая мчится сквозь темноту
Из Подмосковья в Москву.

Самолет Можайского

Этот самолет
Не взлетел
Этот самолет
Так никогда и не взлетел

Помню, еще в школе
Нам говорили
Самый первый самолет в мире
Это самолет Можайского
Наш, русский
Подразумевалось, советский
Самолет
Говорили: нет, не братья Райт
А наш
Александр Федорович Можайский
Сделал первый самолет
А братья Райт
Уже потом

Этот самолет
Не взлетел
Этот самолет
Так никогда и не взлетел

При первом взгляде

На картинку в учебнике
Где был изображен
Самолет Можайского
Было понятно
Это устройство
Не взлетело
Это устройство
Не могло взлететь

Квадратные крылья
Нелепые, в клеточку
Три пропеллера
Два паровых двигателя
Две паровые машины
Господи, что же это такое
Как может такое быть
Но вот так решил
Военно-морской инженер
Александр Федорович Можайский

Он просил в военном ведомстве денег
Ему что-то дали
Испытания проходили
В Красном Селе
Под Петербургом
Показания разнятся
То ли самолет Можайского
Все же оторвался от земли
От поверхности земли

Но тут же завалился
И сломал свое крыло
То ли просто подскочил
Наткнувшись на кочку
То ли и вовсе
Не смог взлететь
Оторваться от поверхности земли
И просто тупо ездил
По полю в Красном Селе
Этого мы не знаем

Этот самолет
Не взлетел
Этот самолет
Так никогда и не взлетел

Самолет Можайского
Потом стоял на летном поле
Вернее, это было не летное
А просто поле
И начальство потребовало
Чтобы Можайский
Убрал эту конструкцию
Это сооружение
Эту хрень
С поля
Чтобы она не мешала
Текущей работе
Военного ведомства

Этот самолет
Не взлетел
Этот самолет
Так никогда и не взлетел

А потом взлетел
Самолет братьев Райт

Знаете, это и хорошо
Что не взлетел
Самолет Можайского
Чтобы взлетели
Другие самолеты
Надо, чтобы
Какой-то самолет
Не взлетел
Не смог взлететь

В бесчисленных полетах
Самолетов, которые смогли взлететь
Кроется неполет
Несчастливого самолета Можайского
Или так
Самолета несчастного Можайского
Самолетов, которые летают
Боингов-737, 747 и 767
Эйрбасов-320, 340 и 380
Очень много

А самолет Можайского
Один
И его даже выгнали с поля
Которое не успело стать летным
И осталось просто полем

Этот самолет
Не взлетел
Этот самолет
Так никогда и не взлетел

Чтобы летали
Красивые современные самолеты
Мирные, толстенькие и дружелюбные
Уже упомянутые
Боинги и Эйрбасы
И страшные, завораживающие, смертоносные
Миги-29, Ту-95, В-52, F-16 и как там их еще
Какой-то самолет
Должен был
Не полететь
Не суметь взлететь
Нелепо прокатиться по полю
Нелепо подскочить на кочке
Нелепо завалиться на крыло
На одно из крыльев своих
Огромных, квадратных, нелепых
Нелепо остановиться
И нелепо закончить

Свой так и на начавшийся
Полет

Этот самолет
Не взлетел
Этот самолет
Так никогда и не взлетел

Тогда, в школе, мне было обидно
Как же так, наш самолет
И не первый
А сейчас я думаю
Что это очень здорово
Очень классно
Очень вообще офигенно
Что наш вот этот самолет
Самолет Можайского
Был таким нелепым
И не взлетел
В основе любого
Большого дела
Должна лежать
Какая-то неудача
И чем она будет
Более нелепой
Тем лучше
Сначала должен быть
Оглушительный провал
А потом все как-то пойдет

Как-то все наладится
Паровозы поедут
Пароходы поплывут
Электровозы, искря проводами
Будут гудеть
Оглушительно и мощно
Ракеты взлетят
После нелепых, кривых
Экспериментов Циолковского
Зажжется электрическая лампочка
И заработает персональный компьютер

И полетит самолет
Например, братьев Райт

Если бы не анекдотическая неудача
Самолета Можайского
Если бы не личная драма
Морского офицера
Александра Федоровича Можайского
Пришлось бы
Какому-то другому самолету
Какому-то другому конструктору
Брать на себя
Это бремя неудачи
Но его взял на себя
Русский морской офицер
Александр Федорович Можайский

И сейчас, мне кажется
Когда мы садимся в самолет
Каких-нибудь авиалиний
Например, Аэрофлота
Russian Airlines
Или *Lufthansa*
Или *Air France*
Или, там
American Airlines
И усаживаемся в кресло
И пристегиваем ремни
И готовимся к взлету
Нам надо бы вспоминать
Самолет Можайского
Это нелепое устройство
С огромными квадратными крыльями
С тремя пропеллерами
И с паровыми
Вы слышите, с паровыми!
Двигателями
И когда самолет
Наших современных авиалиний
Начнет разгоняться
По взлетной полосе
Наберет скорость
Задрожит всем телом
Оторвется от земли
И начнет набирать высоту
Нам нужно вспомнить

Просто из соображений
Элементарной порядчности
Тот самолет
Уродливый, страшный
Дикий и прекрасный
В своей дикости
Самолет Можайского

Этот самолет
Не взлетел
Этот самолет
Так никогда и не взлетел.

2019

Женя ДЕКИНА

Вышка

рассказ

В детстве Миша не верил, что дед мог покончить с собой. Наверняка он просто забыл, что уже выпил таблетку, поэтому выпил еще одну. И еще. Бабушка говорила, что столько раз подряд забыть невозможно, и корила себя. Она и правда часто на деда сердилась. Но Мишка все равно не верил. Как можно поверить в то, что его дед, смелый горнолыжник, дважды победивший на Всесоюзных соревнованиях «Трудовых резервов», захотел умереть? Ну и что, что после инсульта он почти не вставал и целыми днями колотил себя по отнявшейся ноге. На лыжах больше не побегаешь, конечно, но не умирать же из-за этого.

Зимой дед брал маленького Мишу на вышку. Они долго готовились: дед надевал свой коричневый свитер с толстым воротником, заносил с балкона лыжи и звал:

– Миха, тащи катушку!

Мишка приносил ему низкий стульчик. Тогда у всех были такие стульчики – крашеная деревянная катушка от провода. Дед натирал лыжи воском, поправлял крепления. Катался дед хорошо, и Мишка не успевал за ним, но не боялся потеряться: любая лыжня вела к вышке да и саму ее было

видно за много километров. Тихий лес, залитый солнцем, и довольный дед, и особенно то, что дома все сейчас делают обычное: спят, пьют чай, смотрят телевизор, а они с дедом тут. Дед прыгал, а Мишка осваивал мелкие горочки и мечтал, что когда-нибудь тоже поднимется вместе с дедом. Но на лыжах прыгнуть так и не получилось: дед умер, а большую часть железных стоек от вышки в девяностые спилили и сдали на металлолом.

Уцелевшую площадку с лестницей Мишка еще на первом курсе показал своему сокурснику Борьке по кличке Чума. Чума занимался альпинизмом в институтском кружке и придумал, как можно на этом подзаработать. Он натянул между вышкой и стойкой линии электропередачи трос и устроил «тарзанку», чтобы катать желающих за деньги. Мишку он, конечно, прокатил бесплатно – надел на него альпинистскую обвязку и подвесил на тросу. Толкнул – и Миша поехал. Внизу его поймал Семен. Сам Семен никогда не катался: боялся высоты, но финансовые начинания друга всегда поддерживал.

Ехать было весело и страшно. Мишка смешно визжал, и Чума долго припоминал ему это. Когда желающие иссякли, Чума придумал с вышки прыгать. Он удлинил трос и заставил Мишу шагнуть. Просто шаг в бездну. В следующее мгновение уже случился спасительный рывок крепления, но вот этот шаг и мгновение полета – это и было настоящей смертью. Мишка будто бы пересилил себя, переломил в себе то,

что заложено природой, – инстинкт выживания. Тогда он много думал про деда и начинал склоняться к тому, что бабушка, может, и права: что такое самоубийство для человека, который каждые выходные делал это – отталкивался от края и летел вниз?

Парни быстро поднялись и съехали на квартиру. Чума вечно где-то пропадал, а Семен устраивал веселые пьянки, куда звал местных студентов. Местные в общагу попасть не могли, а разгула им хотелось не меньше остальных. На одной из таких пьянок у Миши случился первый секс. Он мечтал о нем, как о великом таинстве, преображении, но на деле это оказался нелепый перепихон под старой хозяйской дубленкой. Остался ночевать у парней на надувном матрасе, девушка пришла сама, видимо, назло. Она весь вечер вертелась около Чумы, но тот рассказывал про Эверест, куда мечтает подняться, ничего не замечал, чем и довел ее до отчаяния. Девушка ерзала, прижималась, Миша оробел и вспотел от напряжения, поглаживал ногу вроде бы или бок, но так несмело, что девушка не выдержала и поцеловала сама. И остальное тоже все сделала. Утром она ушла, и больше Миша ее никогда не видел. Потом были другие – там же и по той же схеме, – только теперь Миша подпаивал сам и действовал куда смелее. Через полгода все прекратилось: Чума ушел на Эверест, Семен вернулся в общагу, а Миша устроился сторожить библиотеку вместо своего одноклассника, завалившего сессию. А потом в его жизни появилась Дина.

В библиотеке Дина пряталась от злой бабки – мать жила в другом городе. Миша сразу ее заметил. И она его. Долго и сосредоточенно поводи́ла плечиком так, чтобы широкая серая кофта, видимо бабушкина, сползла, соблазнительно оголив плечо и лямку лифчика, – не вышло. Быстрым движением дернула за рукав и снова напустила на себя рассеянности. Бросила взгляд – смотрит? И тут же поняла, что смотрит он давно и видел все с самого начала. Тут же натянула кофту и покраснела. Миша почувствовал себя таким взрослым и раскованным рядом с ней, что первым заговорил. Она сразу же к нему прониклась – жаловалась на бабуку, рассказывала про тупых одноклассников-малолеток, про то, как станет архитектором. Они слишком быстро сближались, и Миша не знал, как это прекратить. Ей оказалось шестнадцать – он посмотрел в карточке.

Хотел намекнуть, заговорил с ней про Лолиту, она не просто все поняла, она рассердилась и ответила, что ненавидит Онегина, потому что он трус. Трусом в ее глазах быть не хотелось. Потом он как-то не уследил и привык. Ждал вечера, скучал, радовался ей. Семен говорил, что это хорошо даже – никаких тебе инфекций, бывших парней и больших запросов, но Миша злился в ответ: он же не какой-нибудь там педофил в самом-то деле.

Дина призналась ему в любви в хранилище, под тусклой лампой, сделавшей ее смуглой и постаревшей. Он подумал, что лучше бы на улице, потому что сейчас она побежит

прочь, хлопая дверьми, рыдая и задыхаясь, а он пойдет за-
пирать, шаркая, как старик, по стертому линолеуму. И по-
чему-то поцеловал. Сначала они просто целовались, потом
ласкали друг друга, потом она начала оставаться в библио-
теке на ночь, когда у ее подруги Юльки были дома родите-
ли. Юлька Мишу ненавидела, не одобряла их отношений, но
покрывала из духа противоречия: родители не имеют права
ничего запрещать, а уж злые бабки, которые внучке даже те-
лефон нормальный купить не могут, – тем более. На сексе
Дина настояла сама, уверяла, что давно хочет и что все ее
подруги уже успели. И что возраст – предрассудки и что они
ведь все равно навсегда теперь. Миша пытался возражать, но
он хотел ее и дал себя уговорить.

Попались они с Диной глупо – диспансеризация. Одно-
классницы оказались невинны, а гинеколог никаких лечеб-
ных тайн хранить не собиралась – тут же рассказала класс-
ной руководительнице, а та позвонила бабушке. Бабушка на-
придумывала себе плохих компаний, наркотиков и уговари-
ла мать забрать Дину к себе: здесь она точно плохо кончит.

Они прощались под тусклым фонарем, в парке. Моросил
дождь. Миша хотел идти к ее бабушке и признаться. Сказать,
что готов жениться. Но Дина уверяла, что бабушка безумна и
обязательно его посадит. И тогда ждать действительно долго.
А так – всего-то дотерпеть до лета, а там он к ней обязатель-
но приедет, или она к бабушке. А потом ей восемнадцать, и
всё, свобода. Ее странно потряхивало, Миша обнимал ее и

чувствовал, что если сейчас не пойдет, то потеряет ее навсегда. Что ему нужен подвиг во имя, может быть, даже тюрьма, скандал во искупление и тогда их любовь останется высокой, героической. А если смолчать, то все это превращается в пьяный перепахон под старой дубленкой. Но в тюрьму было страшно, и Дина плакала, и Миша опять дал себя уговорить. Решил, что поедет с ближайшей зарплаты. Но зарплату задержали, потом началась сессия, которую он чуть не завалил, потому что вместо подготовки бесконечно болтал с Диной по телефону. У мамы ей было лучше: та наряжала ее, кормила, отпускала гулять, и Дина расцвела – подводила глаза и говорила с кокетливыми придыханиями. Они стали созваниваться все реже и реже. Миша паниковал и чувствовал, что она отдаляется и это только распялет его. В общаге появилась новая интересная девочка, но Миша старался не приближаться – берег любовь. Ему нравилось это страдание, и он подумывал о том, чтобы и вправду жениться. К ее приезду купил тонкое колечко с камешком и собирался подарить. Приятно потряхивало от нетерпения, но, когда он увидел ее, нервную, похудевшую, и этот мгновенный растерянный взгляд, Миша с удивлением обнаружил, что больше ничего не чувствует. Выгорело. Он пересилил себя, по привычке изображал страсть и любовь, но Дина уже и сама зажималась, болтала о пустяках, обсуждала погоду и дорогу. Они пошли в библиотеку и переспали на широком столе читального зала. Лучше не стало. Кольцо он ей так и не подарил.

Потом что-то было еще, какие-то переписки, неловкие со звоны, но, кажется, оба чувствовали облегчение, когда связь пропадала и поговорить не удавалось.

Интересная девочка из общаги оказалась еще и веселой – они часами хохотали в курилке. Уже на пятом курсе, когда интересная девочка его бросила и он ушел в загул, он встретил у Семена на дне рождения Юльку, ту самую подружку Дины. Подсел к ней с улыбкой и хотел посмеяться над тем, как она его ненавидела, но подружка попросила отсесть. Это услышали, и Мише пришлось выяснять, что он ей такого сделал. Все притихли.

– Да Юль, ты чего? Он нормальный, – подскочила грудастая блондинка, которую Миша про себя звал болонкой и собирался сегодня ею заняться.

– Нормальный? – Юлька аж вскочила от возмущения. – Да он девчонку пятнадцатилетнюю трахнул! Мою подругу лучшую! Скандал на всю школу был, ее все опускали, все! А она молчала, выгораживала этого урода!

Все пораженно посмотрели на Мишу. Он так растерялся, что чувствовал только необходимость что-то сказать:

– Ей шестнадцать было, вообще-то.

Блондинка ахнула, кто-то хохотнул, и Миша только в этот момент понял, как жалко это прозвучало.

– Она сама хотела. – Он попытался поправить ситуацию, но только испортил.

– Это Дина которая? Она же умерла вроде, не? – спросила

девчонка с банкой пива в руке.

– Ее к матери сослали, в Киров! Мать ее чморила, она сюда приехала, думала, он ее заберет, а он... Он ее на столе трахнул. В библиотеке.

– Да ну на фиг, ты гонишь! – усмехнулся Толян, но посмотрел на Мишу и осекся.

– Да правда это! – вмешалась девчонка с пивом. – Я ее страницу палила, она в Кирове по рукам пошла, сдолбилась и умерла. Там пусто у нее теперь.

Все смотрели на Мишу.

– Во ты гад, – удивился Толик, но Миша даже отвечать не стал. Просто выскочил.

Он понимал, что надо ответить, оправдаться, но на все это не было сил. Дина мертва. Он был уверен, что она нашла себе какого-нибудь красавчика на красной усаженной бэхе, ей такие всегда нравились, и колесит с ним по Кирову, а ее нет больше. Просто нет. Этих ключиц нет, ручек и капризного изгиба верхней губы. Выходит, он убил ее, из-за него она по наклонной – и умерла... Как он мог это допустить? Почему не предвидел? Хотя вот Семен уверен, что предчувствия не существует – каждый живет в своей консервной банке и познает мир через узкий прокол в оболочке. А когда что-то происходит страшное и банку встряхивает, человек чувствует себя настолько ничтожным, что начинает внушать себе, будто бы можно было это предвидеть и сам-то он подозревал, но вот дал слабину. Слабину. А так-то он сильный, конечно.

И мало того, что перед собой было невыносимо, об этом еще и узнали. Он вдруг предстал пред собой во всей оголяющей простоте, во всем животном своем и отвратительном. Ужас от стыда жить, быть собой и странного, алогичного желания жизни. Будто пустота смотрела в него, и то, что она там видела, было не Мишей, а жалкими стыдливymi комочками слизи. Трепещущими, жмущимися друг к другу в страхе и умоляющими сохранить их с такой силой, которая даже унижительнее унижения. Смерть правильнее сейчас. Спасать нечего. Жить дальше нечему. Все, что есть в тебе, – несколько уродливых комочков слизи, бактериальная масса, плесень, выросшая на чем-то тоже не твоим. Не от боли люди выходят из окна. От омерзения. От брезгливости.

Кроме решимости это прекратить, он ничего больше не испытывал. Была слабая надежда, что не дойдет, что как-то остановится. Что Семен за ним прибежит и задержит, но вышка приближалась с каждым шагом, а ничего не происходило. Когда он полез наверх, скользя по ржавым перекладинам, он надеялся, что сорвется, сломает ногу и это станет для него наказанием и искуплением, но сам чувствовал, что это ложь и что не сорвется он.

Внезапно Миша начал молиться. Первый раз в жизни. Горячо, истово, вслух. Умоляя Бога, чтобы Он подал ему знак, указал, нужен ли он еще в этом мире, стоит ли ему остаться или все уже – он не человек больше, а просто комок слизи, и честнее умереть и не позорить мир своим существованием.

Но знака не было. Уже наверху, когда он подошел к краю, он заметил внизу, прямо на том месте, куда собирался прыгать, подростков. Трех девочек и двух мальчиков. Они не видели его, курили, спрятавшись за кустами.

Подростки никак не уходили. Сил стоять больше не было, хотелось упасть, свернуться калачиком и рыдать. Или прыгнуть, чтобы прекратить это все, но он уже и так сделал слишком много зла этому миру – упадет на подростков, убьет кого-то еще. Он стоял и выл куда-то вверх, раскрыв рот, продолжая молиться и понимая, что уже спасен и что не станет прыгать, остыл, уже плачет. Смирился и хочет жить даже таким. Подростки, как назло, заметили его и поняли, зачем он там стоит. Две девочки с визгом отбежали в сторону, боясь, что он на них прыгнет, и в визге этом слышались нотки веселья. Еще одна девочка поговорила с мальчиками и сначала полезла наверх, но потом передумала. Когда Миша начал спускаться, подростки ушли.

Позже выяснилось, что это было не наркомания, а неизлечимая наследственная болезнь Гентингтона, о которой Дина и ее мать знали. Мама все время плакала и жалела Дину, поэтому та переехала к ничего не подозревавшей бабушке. Как только нарушения координации стали слишком явными, Дина не выдержала и покончила с собой.

Это сильно его изменило. Он посчитал подростков знаком, прощением, доказательством того, что он тут еще нужен. Работал много, занимался благотворительностью, котя-

та там всякие, дома престарелых, бездомных кормил. Перевез к себе маму, долго ни с кем не встречался, не пил, курить бросил. После третьего повышения открыл свою фирму и ушел в работу. Планировал доплатить ипотеку и жениться на какой-нибудь хорошей девушке из волонтеров.

А потом умерла мама. И это было такое новое странное чувство, будто бы он больше никому ничего не должен. Будто бы всё в мире держалось на маме. И что все законы, нравственные и вообще, – все это надо было соблюдать из стыда перед мамой. И тогда он умереть хотел только потому, что боялся, что мама узнает про Дину. А теперь мамы нет и смысла быть хорошим нет. И как выйти из этого – непонятно. Тогда хоть можно было узнавать правду, искать маму Дины в Кирове, писать ей, говорить с теми, кто Дину знал и тоже любил. Радоваться, что она про него рассказывала. И только хорошее. «Правда, тюфяк немного, но не злой». А тут что? Просто боль. Просто прими. Миша перестал спать. Не мог. Вспоминал маму и скучал. Ее нет. Просто нет. Нигде.

Когда стало совсем невозможно, он вспомнил про вышку. Умирать на этот раз не хотел, просто от усталости. Надоела боль. Хотел чуда. Хотел, чтобы снова знак.

Пока Миша лез наверх, ему казалось, что его уже не существует и воздух выходит из груди таким же ледяным, каким он был на вдохе. Хотелось запомнить пуговицу, вытянутую синий кашемир пальто, крупинки грязи на ладонях, луч, внезапно пробившийся сквозь тучу и высветивший пят-

но на клубящейся поверхности леса, неровный овал озера. Это было красиво – готовиться к смерти: стоять вот так, на ветру, в распахнутом пальто, смотреть на заходящее солнце и чувствовать, как ржавая вышка под тобой еле заметно покачивается. Листья еще не опали, и оттого кажется, что мир перевернулся – обычно светлее небо, а сейчас желтые пышные кроны куда ярче, чем серые, нависшие над ними облака.

Шагнуть к краю и посмотреть вниз. Организм осознает угрозу – кожа над висками немеет, а уши оттопыриваются назад, как у кота, и резкий кислый вкус во рту. Разжать пальцы, и всё. Мозг начнет подсовывать спасительные мысли, маневрировать, чтобы отвлечь от пугающего. Пугает, что тело порвется от удара. Что внутренности вывалятся и он станет отвратительным. Замереть так.

Этого животного страха, который пронзает, как электрический гвоздь в затылок, вполне достаточно, чтобы жить дальше. Работать, жениться, заводить детей. Просто постоять у края, ощущая, что можно выйти сейчас из своей жизни, в одну секунду прекратить все. Почувствовать точку пустоты. И все наполняется смыслом, и ходы какие-то, решения проблем находятся. А если и не находятся, то и черт с ним, мелочи это. И не такое переживал.

Жена говорила, что он псих и нельзя играть со смертью, Бог этого не простит. Миша знал, что простит, Бог уже спасал его в трудный момент, и каждый раз на вышке Миша чувствовал особую близость к нему. Не из-за высоты, а из-

за того воспоминания, про подростков. И спускаться всегда странно: весь ты отяжелевший и опустошенный, заторможенный, как после сильной боли, а потом становится весело, и обратно – уже насвистывая.

Сколько раз он сюда приходил?

Борис МИНАЕВ

Прекрасный летний день

рассказ

Однажды мы с Колупаевым решили писать роман про поручика Мертвецкого.

Колупаеву кто-то в счет долга отдал толстую тетрадь за сорок шесть копеек, в коричневой обложке, совершенно чистую и пустую. Больше всего меня поразила ее чистота и пустота. Она была точно как книга, только в ней еще ничего не было написано. Я листал ее страницы в задумчивости и вдруг сказал:

– Слушай, а давай напишем тут что-нибудь?

Колупаев поначалу совсем не заинтересовался моей идеей.

– Да нет... – сказал он скучно. – Это ведь... понимаешь ли, Лева, это тетрадь, которую мне вместо денег отдали. Мне один парень был пятнадцать копеек должен, но не отдавал. Ну а я ему сказал, что за такие вещи бывает, и он мне тогда эту тетрадь отдал. Я ему долг как бы простил. А потом я ему эту тетрадь верну и скажу, что она мне не нужна. Он испугается и денег мне отдаст, сколько я попрошу.

– А почему он испугается? – не понял я.

– Лева, вообще тебе лучше таких вещей не знать, – поду-

мав, сказал Колупаев. – Вот ты, когда деньги даешь, ты их почему-то назад не забираешь. Но тебя за это все уважают. А если я не буду забирать, меня уважать не будут. Так устроен наш мир.

– Да ладно тебе, – пожалел я парня. – Подумаешь, пятнадцать копеек. А мы тут целый роман, может, напишем.

– Чего напишем? – не понял Колупаев.

– Роман! – сказал я.

Вот так бывает. Так устроен наш мир: живешь-живешь и вообще ничего. Никаких происшествий. Ходишь, ждешь, надеешься. А они – нет. Не хотят происходить. Лень им.

Ты уже весь изнемог. Ты прямо уже готов. Ну пусть, думаешь ты, ладно, я заболēju ангиной. У меня вырежут гланды. Зато мама будет очень добрая. Она будет сидеть на твоей кровати. Она будет читать тебе книгу вслух. Желательно интересную. Или пусть на тебя наедет машина, но так, не очень сильно, чтобы ты только испугался. И водитель будет бледный, и довезет тебя до дома с ветерком, и даст тебе пятнадцать копеек на мороженое. Или еще что-нибудь. Но ничего не происходит. Жизнь одинаковая и пустая. Много-много страниц. Ничем не заполненных, как в этой общей тетради с коричневой обложкой.

И вдруг что-то начинает происходить. Да! Но ты еще не понял этого. Что оно начало происходить. Все быстрее и быстрее. Ты так же равнодушно на все это взираешь, как ка-

кой-нибудь Онегин на Татьяну, а оно уже происходит, уже вся твоя жизнь полетела вверх тормашками.

– Ну а про что роман? – спросил меня Колупаев. – Про ковбоев? Или про фашистов?..

– Я даже не знаю, – задумался я. – А ты сам-то про что хочешь написать?

Колупаев пожал плечами.

– Да черт его знает, – сказал он лениво. – Может, про оленей?

Мне даже стало как-то неприятно. Книжку про оленей под названием «Бемби» я читал уже давно, мне кажется, во втором классе. Или в третьем. Ну, короче, очень давно. И как-то быстро ее забыл. Даже не мог вспомнить, в чем там было дело. А вот роман Ник. Шпанова «Поджигатели» произвел на меня очень сильное впечатление. Потому что там было интересно, там были американские шпионы, всякие происки, интриги, в общем, жизнь.

– А олени-то тут при чем?

– Да хрен с ними, с оленями, – согласился Колупаев. – Давай про что хочешь. Только быстрее. А то у меня дела... – Он неопределенно махнул рукой. – Ну там возле школы. С одним человеком встреча. Он мне немного денег должен. Ну, небольшую сумму.

– Да что ж такое, – сказал я. – А ты кому-нибудь что-нибудь должен, Колупаев?

– Не умничай, Лева... – строго сказал Колупаев. – Это тебе не идет.

И я не стал умничать. Я взял ручку и вывел на первой странице: «Поручик и смерть».

– Что? – вскричал Колупаев. – Какой еще поручик? Это что значит, ты по школьной программе решил роман завернуть? Типа «Онегин, я была моложе»? Знаешь, Лева, я от тебя такого не ожидал! Ну вообще! Ну это надо! Я в школе от всего этого знаешь как устал! Шел, понимаешь, в комнату, попал в другую! Ты в другую комнату попал, Лева! Здесь тебе не путешествие из Петербурга в Москву!

...Что меня так повело на этого поручика, я даже не знаю. Был у меня когда-то случай в третьем классе. У нас во дворе открыли библиотеку, такие две бабульки-общественницы, ну я пришел, записался, а книжек хороших-то у них и нет. Все время какие-нибудь стихи. Ни Жюль Верна, ни Майн Рида, ни Луи Буссенара. Ну я тогда взял «Анну Каренину» и решил ее читать. Читал долго, три дня. Мне нравилось главным образом то, что книга была очень толстая. Такой толстой книги я еще никогда в жизни не видел. Я все время думал, сколько же нужно всего придумать, чтобы написать такую книгу. Это приводило меня буквально в восхищение. Я сидел и листал страницу за страницей, не особенно вдумываясь в их смысл. А на третий день мама заставила меня книгу сдать обратно.

– Рано тебе еще читать такие вещи! – сказала она. – Вот читай своих «Поджигателей», ты еще первый том не осилил, а там их целых два. Или «Севастопольскую страду», там даже четыре тома.

– А почему мне рано? – не понял я.

– Ну потому что, – уклончиво ответила она. – Потому что нет там ни сражений, ни битв. Хотя, в принципе, это одно и то же, ну ладно, сейчас не об этом... Сплошные изменения в этой книге. Мужа она не любила, а любила совсем другого человека. Ну зачем это тебе?

– Не знаю, – угрюмо сказал я. – Я же не виноват, что там про это.

Я зачеркнул название и вывел новое: «Лейтенант Володин».

– А почему Володин-то? – удивился Колупаев. – Он твой родственник, что ли? Володин этот.

– Да нет! При чем тут родственник? Простая русская фамилия.

– Лейтенант еще какой-то, – сказал Колупаев. – Мусор? В милиции работает? Тогда это нам не подходит.

– Да нет, ну почему, просто он офицер, в армии служит или, там, в разведке...

Мне уже не хотелось ничего писать, а хотелось пойти домой, лечь в кровать и долго переживать свою неудачу. Мы сидели на корточках, облокотившись спинами о серую кир-

пичную стену трансформаторной будки.

– Нет. Давай так. – Он взял у меня ручку и тетрадь, опять все зачеркнул и написал: «Поручик Мертвецкий».

Я даже не знал, что сказать.

– Ты шутишь или серьезно? – только и сумел промолвить я.

– А ты? – вдруг спросил меня Колупаев.

– Какие уж тут шутки! – горько усмехнулся я. – Я-то серьезно!

– Ну и я серьезно, – сурово сказал Колупаев. – Учти, Лева, теперь мы с тобой соавторы. Пиши первую главу, потом мне покажешь. Только как следует пиши, не торопись. От первой главы очень много зависит. Ферштейн?

– Яволь, – послушно ответил я.

И Колупаев пошел по делу. Туда, где ждал его человек с небольшой суммой денег.

А я остался один со своей тетрадю и стал думать.

«Был прекрасный летний день.

Поручик Мертвецкий подошел к краю палубы и схватился за поручни. Перед его взором хмуро замаячил мировой океан.

– Представляете, Шляпентох, – весело спросил он профессора, – сколько еще великих загадок прячет от человека эта, черт побери, таинственная стихия?

Профессор Шляпентох выпил из фляжки глоток старого доброго вермута и слегка поперхнулся.

– Как-то холодает, – немного неопределенно отозвался он.

Яростный шум волн относил его слова куда-то вбок и на северо-запад.

– А, что вы говорите? Ну да, верно, начинается сильный зюйд-вест!

Они посмотрели друг на друга и поняли, что здесь что-то не так.

– Постойте-ка! – вскричал Мертвецкий что есть мочи. – Но ведь мы должны плыть совсем в другом направлении!

Меж тем старший боцман Бур Дам, которого мы оставили в покое две главы назад, задумывал в каюте на нижней палубе план своей чудовищной мести».

Я прервал чтение и торжественно замолчал.

– Какие еще две главы назад? – недовольно сказал Колупаев. – Разве мы их уже написали?

– Конечно не написали еще! – обиделся я. – Мы их потом напишем, когда будет надо.

– Нет, так не пойдет! Это неправильно. Мало ли как твоя бешеная фантазия разыграет, Лева. Куда она нас понесет. А у нас еще две предыдущих главы не написано. Так мы утратим все нити, потеряем весь сюжет. Давай сначала пиши эти две главы. А потом уж развивай про этого... как его... Бур Дама.

– И кстати! – вдруг сказал Колупаев, высоко подняв над собой указательный палец левой почему-то руки. – Как он,

кстати, выглядит, этот самый Бур Дам? По-моему, мы его еще нигде не описывали.

– Да не знаю я, как он выглядит... – хмуро ответил я. – Обычный злодей, внешность самая заурядная.

– Ну вот нет, Лева! – отвечал мне Колупаев, сделав значительное лицо. – Нет, ты не прав! Злодеи, как ты называешь этих добрых и по-своему порядочных людей, бывают совершенно разные. Одни из них... – и тут Колупаев рассказал мне историю про какого-то дядю Колю, который воровал подшипники с завода и продавал их на Тишинке по двадцать пять копеек. А потом этого дядю Колю взяли и посадили на три года.

– Так какой же он злодей? – сказал я. – Несчастный человек просто.

Мы помолчали.

– Ну при чем тут дядя Коля? – не выдержал я. – Чего ты меня все время сбиваешь, нарочно, что ли? Мы же говорили про Бур Дама, про его литературный портрет. А ты все «дядя Коля, дядя Коля».

– Давай так, – сказал Колупаев. – Я тебе сейчас немножко подиктую, а ты потом разовьешь, харэ?

– Харэ, – послушно сказал я и приготовился писать.

«Иван Васильевич Мертвецкий, молодой мускулистый мужчина с большим шрамом на правой щеке, вступил на палубу парохода “Русский рыцарь”, который отправлялся пря-

мо в Лондон. Был чудесный летний день, играла легкая музыка, и на душе у Мертвецкого было хорошо и спокойно.

Но тут в грудь Мертвецкого кольнуло острое чувство опасности. “Что-то здесь не так”, – подумал он и внезапно оглянулся.

За ним следили два агента полиции: Петров и Водкин. Они тоже сели на этот пароход, притворившись, что едут на гастроли, под видом цирковых артистов. Сейчас они стояли на палубе в обычных костюмах и котелках, курили свои сигары и тихо разговаривали.

К Мертвецкому неожиданно подошла женщина лет двадцати пяти – тридцати. Ее голубые глаза прятались под густой черной вуалью.

– Я вас знаю, – сказала она тихо. – Вы поручик Мертвецкий, герой гражданской войны за освобождение негров. Правда, вы сильно изменились, но я вас все равно узнала. Не правда ли, какой сегодня прекрасный летний день? Так и хочется петь! Я уезжаю в Англию! А вы куда, поручик?

– Я по делу, – ответил Мертвецкий сухо. – Но боюсь, что мы с вами незнакомы, мадемуазель. Тут явно какое-то недоразумение».

«Сегодня у поручика был день рождения. Ему исполнился семьсот тридцать один год. Отмечал он его скромно, в ресторане. Для этого он заказал отдельный кабинет и пару бутылок шампанского “Абрау-Дюрсо”. На столе у него стояла

пустая тарелка и лежал черный блестящий револьвер. Мертвецкий никогда не расставался со своим оружием системы “наган”, даже ночью он привязывал его к руке на специальную резинку. Эта резинка была устроена таким образом, чтобы палец Мертвецкого лежал сразу на спусковом крючке, но при этом не мог согнуться и нанести случайный выстрел. Только проснувшись, Мертвецкий аккуратным движением мог освободить палец от резинки и сразу стрелять куда душе угодно. Еще на столе у него лежала вчерашняя газета, а под ней – колода карт. Мертвецкий не любил играть в карты, но делать это ему приходилось ради денег. В данном случае он собирался сыграть в вист со своим единственным гостем, шулером и игроком в бильярд по фамилии Кий.

Теперь задержим свое внимание на внешности нашего героя.

Как я...» – тут мне пришлось зачеркнуть и сделать первое исправление в рукописи. «Как мы уже говорили, Мертвецкому только что исполнился семьсот тридцать один год, но выглядел он гораздо моложе. Он выглядел... ну, скажем, лет на тридцать, на сорок, на пятьдесят, где-то примерно так. Под тонкой батистовой рубашкой выступали его мощные бицепсы. На груди висел золотой крест огромных размеров с дорогим рубином посередине. Черные волосы были зачесаны назад с легкой небрежностью. Длинный нос Мертвецкого был увенчан очками в стальной оправе. В кармане лежал маленький перочинный ножик с выкидывающимся в случае чего

лезвием. Холодные синие глаза его были в данный момент совершенно равнодушны. Мертвецкий откровенно скучал. “Апельсин, что ли, съесть?” – скучая, подумал он. Официант тут же принес ему апельсин на тарелке с золотым ободком. Причем он даже не заметил, что Мертвецкий ничего не сказал вслух, а просто подумал...

Эти сверхъестественные способности, которыми одарила его мать-природа далекой планеты Оробелла, уже давно не радовали и даже не забавляли их счастливого обладателя. Мертвецкий мог сосредоточить свою мысль на чем-нибудь, и предмет тут же возникал перед ним. Например, стоило Мертвецкому подумать о трамвае, как трамвай тут же останавливался и радушно открывал свои двери. “Интересно, – подумал Мертвецкий, – а вот когда метро изобретут, поезд тоже будет сразу к платформе подходить?”

Он зажмурил свои стальные синие глаза и попытался представить себе какую-нибудь линию метрополитена. Пред его внутренним взором сразу возникла прохладная и уютная станция метро “Краснопресненская”, вся в коричневом и белом мраморе, как дворец турецкого султана. “Ничего себе!” – подумал он.

На самом деле на планете Оробелла жили самые обычные люди, такие же, как мы с вами. У них были обычные руки и ноги, обычные внутренние и внешние органы тела, обычные волосы и обычные зубы. И жили они ровно столько же, сколько и мы с вами. Но у них была цель – покорить все со-

седние галактики. Поэтому они посылали туда своих шпионов и разведчиков. Однако поскольку галактики были очень далеко, у черта на куличках, этих шпионов с планеты Оробелла усыпляли и клали в специальный раствор, где они себе мирно спали до прибытия на другую планету. Здесь они проживали какое-то время, а потом их снова отправляли. И так всю жизнь. Поэтому Мертвецкий точно знал, когда он родился (это было написано у него в документах), но совершенно не представлял себе, когда он умрет. Может быть, никогда. А может быть, завтра. Вот такие дела».

Я переписывал это начало первой главы целый день и вдруг понял, что мне почему-то сильно не нравится. Как-то всего было очень много. И все оно друг на друга как-то напоздало.

Хотелось сосредоточиться на чем-то одном.

Я закрыл глаза, представил себе поле битвы. Огромное поле битвы.

«Король, – написал я, – между тем стоял коленапреклоненный на поле битвы, кругом лежали мертвецы, горами или в одиночку, и тьма спускалась над ними. Мертвецы жутко пахли, и от того Генрих решил заткнуть себе нос.

– Мертвецкий! – заорал он громовым голосом, подобным раскату пушечного залпа. – Дайте мне платок, наконец, экий вы болван!

К Генриху подбежал молодой человек роскошного тело-

сложения и стал доставать из кармана батистовый платок необычайной красоты.

– Какая же вонь! – повторял Генрих, и тут стало совсем темно, тогда он спрятал листок, по которому читал благодарственный гимн, ему он показался слишком торжественным, но и слишком печальным. – Бог всегда на стороне разума, – сказал Генрих, преклонив колени на поле битвы, – а у моих врагов убогие, чванные мозги, забитые дурманом и обманом, ну вот совсем как у вас, Мертвецкий, – захохотал Генрих и откупорил бутылку вина, чтобы отпраздновать победу.

Ужасный, дикий ветер шевелил его волосы...»

– Да, сильная штука, – сказал Колупаев, когда прочитал и то, и другое начало романа. Но я как-то не понял, Лева, а в чем же тут дело? Как будто все из середины начинается. С кем же они воюют? И почему Мертвецкий служит не нашему королю? И вообще, зачем король стоит... это... как его... преклоненный, если он всех их, того... умертвил на фиг... Я что-то не понял до конца, Лева. А так все хорошо, продолжай работу. Вот тебе пятнадцать копеек. Аванс.

– Да не нужен мне твой аванс! – закричал я обиженно. – Аванс он, видите ли, мне принес. Разве я за аванс пишу?

– Ну не хочешь, как хочешь, – сухо сказал Колупаев и забрал свои деньги. – Оставим до следующего раза.

– А он будет? – горько спросил я. – Этот следующий раз? Тебе же все не нравится!

– Будет-будет, – пробурчал Колупаев, задумчиво глядя вдаль. – Не надо отчаиваться. Ты знаешь что, Лева, ты, пожалуй, продолжай эту тему. Что-то в ней есть. Короли, замки, Средние века. Народ у нас это любит. Работай над первой главой. А я пошел.

И я продолжал работать над первой главой. Выглядело это примерно так:

«Мертвецкий ощупал себя, на теле у него живого места не было: мечи, пистолеты, копыя порядком покалечили его, и вдобавок он свалился вместе с конем в огромную вонючую лужу – с первым конем, которому вспороли живот мерзкие твари, эти вонючие гугеноты. Куда девался второй, Мертвецкий не мог припомнить. Наверное, умчался в далекую даль, мерзопакостная скотина! Бросил его одного умирать тут, среди врагов и мертвых тел! Мертвецкий горько задумался. Рука его нащупала флягу коньяка и быстренько открутила пробку. “Ну-ка, хлебнем, пожалуй!” – подумал он...

Повсюду запеклась кровь. “Надо полагать, у меня прежалкий вид”, – думал Мертвецкий, весьма гордившийся своей приятной наружностью. Да. Тут он был прав. У Мертвецкого был длинный прекрасный нос, горячие черные глаза и пушистые усы... Внезапно наступил вечер. “Меч мой сломан, шлем продавлен, и вообще, я весь мокрый и чихаю, – подумал Мертвецкий. – Надо бы скинуть этот чертов панцирь. Погнутая медь мучительно давит на мое израненное тело, так ведь и помереть недолго. Эй, Аркебузир, куда ты спе-

шишь? Подойди сюда, пятьдесят экю за коня, которого ты ведешь на поводу! Только помоги мне взобраться на него”.

Был прекрасный летний день.

На небе зарделся рассвет...

Но на корабле “Донна Анна” все еще спали, кроме команды и капитана, и лишь в каюте номер шестьдесят девять не спал человек с огромным кадыком, длинным носом, всклокоченными волосами и чудовищных размеров пистолетом за поясом. Это и был старший боцман Бур Дам.

Впрочем, не будем чересчур строги к нашему герою. Детство его прошло в очень сложной обстановке. Отец Бур Дам, грузчик голландского пароходства Ван Бур Дам, был человеком необычайной физической силы. Он мог поднять одной рукой полугодовалого теленка, а другой – сундук, набитый ружьями.

Однако судьба оказалась к нему неблагоприятна.

Вскоре Ван Бур Дам переутомился и заболел от тяжелой болезни внутренних органов, а его семья оказалась без средств к существованию.

Маленький Бур Дам вынужден был ходить по улицам родного городка босиком, и его никуда не пускали.

Однажды он так разозлился на эту тяжелую жизнь, что взял и поджег городскую ратушу. Пожар спалил буквально весь город. И вот тогда Бур Дам понял, что он очень рад. Он обрадовался буквально первый раз в жизни».

Вдруг писать про Бур Дама мне стало противно. Как будто манной каши объелся. Или селедки с луком.

И я решил опять перенестись на палубу корабля.

«— Итак! — сказал профессор Шляпентох. — Пока все спят: и капитан, и помощник, и мы все равно плывем неправильным курсом, я расскажу вам, дорогой мой Мертвецкий, более подробно о конечной цели нашего путешествия.

— Я знаю! — нервно перебил его Мертвецкий. — Это остров Куо-Куа. Семьдесят вторая широта и так далее.

Очки профессора Шляпентоха весело блеснули.

— Итак, любезный Мертвецкий, вы безусловно правы, — продолжил он свой рассказ. — Рано или поздно, через день или два, через месяц или через год, но мы, конечно же, достигнем острова Куо-Куа. И там я покажу вам одно удивительное явление природы. Оно перевернет все наши представления о планете Земля! Это будет открытие, которое сделает вас знаменитым. И меня, я надеюсь, тоже, — улыбнулся профессор. — Но для того, чтобы оно состоялось, мы должны попасть на этот остров.

— Что же это за явление природы? — вяло поинтересовался Мертвецкий.

— Ну как бы вам объяснить... — задумался Шляпентох. — Это такой белый свет...»

Ольга СУЛЬЧИНСКАЯ

Бывает

рассказы

Моя первая девочка

Клетчатое пальто – это было необычно. Все пальто в моем окружении были однотонными или в мелкую равномерную крапинку. Были еще тяжелые цигейковые шубы с неповоротливыми рукавами, с крючком под воротником, от которого становилось трудно дышать, с варежками на резинке. Но то зимой, а теперь была весна, как раз такая, когда обнажившаяся земля соседствует со снегом, еще не до конца растаявшим. Руки у меня были голые и красные от холодной воды, но мне это было все равно, я соорудила в ручье запруду. А пальто на девочке, которая смотрела на мое строительство с небольшой высоты своего роста, расчерчивали крупные красные и коричневые клетки, таких больше не было ни у кого в нашем дворе.

Девочка уселась на корточки чуть поодаль от меня и принялась делать свою запруду – выше по течению. Мы передавали друг другу то совок, то плоский камень, то круглый камень. Мы разговаривали сухо и деловито, как хирурги в

операционной. В нашей работе была та слаженность, которая может появиться после долгих лет совместной работы или – вот как у нас – оказаться счастливой случайностью, неожиданным совпадением.

Когда наша работа была окончена и прозрачный жгутик ручья образовал два мутных озера, мы разошлись. Имени девочки я так и не узнала. Для работы оно было не нужно, потому что никто кроме нас не принимал в ней участия. Так что обращались мы только друг к другу, а договариваться на будущее между детьми не принято.

Прошло полгода, прежде чем мы встретились снова. Мне предстояло пойти в первый класс, пройдя несколько собеседований с женщинами, у которых были слишком высокие начesy и странное желание подсчитывать квадратики и кружочки. На излете душного лета состоялось первое родительское собрание. Оставить меня было не с кем, по вечерам детский сад не работал, а бабушка жила на другом конце города, и к ней меня возили только на выходные. Поэтому мама взяла меня с собой.

На потолке жужжали стеклянные трубки, заливая синюшным светом, которому лживо приписывалось сходство с дневным, классную комнату, в которой собирались и рассаживались по партам, не подходящим им по размеру, многочисленные взрослые. Только двое детей было среди них: я и вторая непричесанная девочка, которая пришла со своим папой. Мы посмотрели друг на друга и сразу узнали. Но не

стали ни махать друг другу, ни окликать – имени я не знала, она сидела на другом конце класса, да и разговаривать при таком количестве взрослых было бы невозможно.

Но мы, разумеется, оказались в одном классе. И жили в соседних домах. Я в корпусе один, она – в два.

После уроков мы играли в провожалки. Это означало, что сначала мы шли до моего подъезда, он был ближе, а потом до Янкиного, а потом опять до моего, и так по многу раз. Пока кто-то не говорил: ну ладно, пока!

– Пока, – с готовностью отзывалась вторая. – А то, может, зайдешь?

Тут было два варианта: либо отправиться к себе домой к супу в термосе, либо подняться к Янке.

Суп в термосе мне оставляла мама. Чтобы он был теплый. Газ я зажигать не умела, к тому же мама боялась, что он взорвется. У нее не взрывался, но у меня, судя по всему, очень даже мог. Суп отдавал пробкой, и если Янка не заходила ко мне, то я выливала его в унитаз. Несмотря на то, что я следила за тем, чтобы хорошенько спустить воду, мама меня разоблачила. На стенках оставался невидимый жирный налет, и мама догадалась, откуда он берется. После этого я месяца два честно старалась есть суп. Но его было ужасно противно вытряхивать в тарелку. Особенно если это был грибной с лапшой, похожей на белесые корни, или щи с полупрозрачными капустными водорослями.

У Янки папы днем никогда дома не было. Но иногда там

оказывалась бабушка, высокая худая старуха. Странно было, что старуха – и худая. Моя бабушка была маленькая, вся округлая и мягкая, как тесто, из которого она лепила пирожки. И все бабушкины подруги имели ту же пшеничную природу. Но у Янки вся семья была странная. Мама у нее была геолог и постоянно в отъезде, я ее и видела-то всего пару раз. Она торопливо здоровалась и сразу убегала в комнату, словно стеснялась, что ее застали дома. А папа был альпинист, и про него Янка рассказывала, что он спит в гамаке, привязав его к батарее и вывесив за окно с девятого этажа, чтобы не отвыкать от высоты. Иногда я ходила под Янкиными окнами не без тайной надежды увидеть этот самый гамак на стене дома. Но ни разу не увидела. Наверно, потому, что вывешивался он только на ночь, а ночью меня гулять не выпускали.

А Янкина бабушка варила суп с тараканами. Янку это нимало не смущало. Она вылавливала тараканов и ела суп как ни в чем не бывало. А меня смущало. Я не хотела есть суп с тараканами. Но отказываться, после того как уже налили, было неловко. Меня выручала Янка, она съедала вторую порцию. Она всегда была голодной. И если мы шли ко мне, то спасала и мой суп, и моя мама была очень довольна, что я так хорошо ем.

Летом мы тоже не разлучались надолго. Обе оставались в городе, отпуск у родителей был короткий, на все лето его не хватало. Мы играли в клады. Удивительно, сколько всего можно найти на земле! Деревянная вазочка. Заколка из

желтой пластмассы. Иногда даже мелкие монетки. Когда их набиралось достаточно много, мы покупали себе мороженое. Я больше всего любила эскимо, которое мама мне никогда не покупала, потому что рано или поздно оно падало мне на колени или под ноги. А Янка любила самое дешевое – фруктовое. Если начинать его есть от стенок стаканчика, аккуратно обводя их деревянной лопаточкой, а потом эту самую лопаточку воткнуть в середину, то из него тоже можно было сделать толстенькое лиловое эскимо.

Все найденное считалось общим, и вещь брал тот, кому она нужнее или кому больше хотелось. Янка взяла себе деревянную вазочку с отколотым краешком, зато отдала мне фарфорового котенка, найденного в песочнице совсем в другое время, поэтому она вовсе не обязана была делиться. Но она знала, что я обожаю кошек, а живую мне завести не разрешают из-за аллергии, и я собираю все, что могу о них найти: открытки, книжки... И вот отдала мне своего котенка с цветочком на шее и игриво поднятой лапкой.

Не всегда наши игры проходили гладко. Мы придумали замечательное развлечение – лить с девятого этажа воду вниз. Бабушка к тому времени уже не встречала Янку из школы, потому что папа женился на другой женщине и худая старуха перестала помещаться в их квартире. Новая папина жена была рыжеватой и веснушчатой, а я-то думала, что веснушки бывают только у детей. И у нее родился Янкин братик, но из-за того, что он был еще грудной, молодая мачеха

часто жила у своей собственной мамы. А Янка сказала папе, что она уже большая и отлично справится сама. Поэтому никто не мешал нам ставить эксперименты.

Воду мы лили из бутылок, кастрюль и специальных брызгалок. Падать с девятого этажа было долго, и она успевала рассыпаться на капли, которые в полете становились совершенно круглыми вопреки всем картинкам в детских книжках. Эти шарики волшебным образом сверкали и переливались, пока не разбивались об асфальт в темную лужу. Но соседи с первого этажа в конце концов не вынесли сырости, которую мы разводили прямо у них под окнами, и пришли трезвонить в дверь.

Я страшно перепугалась и забилась под Янкин диван, а Янка мужественно пошла открывать. Она взяла всю вину на себя и поклялась соседям, что больше никогда так не будет. Соседи согласились не жаловаться управдому, но хотели непременно пожаловаться папе, Янке пришлось их долго переубеждать и объяснять, что не стоит волновать мужчину с грудным ребенком. Когда она вернулась в комнату, выяснилось, что из-под дивана я вылезти не могу. Янка стала пытаться поднять диван за край, а я упиралась снизу спиной, но наших сил не хватило. Пришлось Янке вытаскивать меня за руку, и рука от меня только чудом не оторвалась.

Еще несколько раз мы проводили медицинские эксперименты. Янка собиралась стать ветеринаром, поэтому у нее была пластмассовая шкатулка, в которой лежали разные тру-

бочки и штучки. Некоторые из них были запчастями от перьевой ручки, происхождение других оставалось тайной. Мы брали в ванной запасное круглое зеркало, которое Янкин папа использовал, чтобы смотреть на себя сбоку во время бритья, ложились спиной на край дивана и, спустив коричневые хлопчатобумажные колготки и трусы, вставляли себе между ног эти трубочки и по очереди рассматривали то, что получилось, в увеличительную сторону зеркала. Занятие это было жутковатым, очевидно запретным и потому восхитительным. Я очень завидовала Янке, что ее папа не обращает внимания на шкатулку. У меня было предчувствие, что, если бы я держала дома что-нибудь подобное, моя мама быстро догадалась бы, что что-то не так, а может, даже догадалась бы, для чего именно это «не так» используется, и скандала было бы не миновать.

В третьем классе к нам присоединилась Майка. До этого она училась в другой школе и даже в другой стране, где росли пальмы и ее папа работал послом. Но вот он вернулся на родину и развелся с Майкиной мамой, Майка переехала в Янкин дом и пошла в нашу школу. У Майки была коллекция диковинных мелких птичек из стекла, каждая из которых была завернута в ватный комочек и лежала в отдельной ячейке в плоском картонном коробе. Майка тряслась над ними, и все же изредка нам удавалось уговорить ее показать нам этих колибри и разрешить подержать их в руках.

Иногда папа навещал Майку, привозил ей яркие кофточ-

ки и оставлял упаковки жвачки «Ригли сперминт» в белой, зеленой и желтой упаковке. Белых всегда было больше. Но Майка угощала нас даже редкими желтыми.

В неприличные трубочки мы перестали играть, а когда Майка в гостях у Янки спросила про шкатулку: «Что это?», Янка строго велела поставить на место. Майка хотела обидеться, но Янка вспомнила, что нашла у папы целую упаковку презервативов, откуда один можно взять незаметно, и мы втроем пошли смотреть, что будет, если налить туда воды. Похожий на напальчник, но с таинственным соском на конце предмет лежал на краю раковины, а Янка держала его за хвост. Когда мы налюбовались, Янка собиралась выбросить его в мусорное ведро под раковиной, но Майка сказала, что лучше сразу в мусоропровод, чтобы точно никто не увидел.

Втроем с Майкой мы создали общество «Черный ворон» и сочинили гимн. Несколько раз мы его исполнили, налегая на «эр»:

Чер-р-рный вор-р-рон, ты не падалью кор-р-р-рмлен,
Чер-р-рный вор-р-рон, ты знал вкус свежей кр-р-рови.
Так научи же меня ее пить! Вкус свежей крови не
заменить!

Майка фальшивила, но несильно. И в целом получалось здорово. За измену обществу полагалась смерть. Тетрадку с нашим гимном и уставом я взялась хранить у себя.

В обществе были различные испытания. Например, на

смелость – нужно было подойти к прохожему и спросить: «А сколько сосисок вы съели сегодня на завтрак?» или что-нибудь такое же дурацкое. Некоторые улыбались и отвечали. Некоторые молча проходили мимо или говорили: «Какая глупость!» или «Отстань». Прохожих мы потом обсуждали, сочиняя, какая у них семья и жизнь и почему они ответили именно так, а не иначе. Про тех, кто прибавлял шагу, мы чаще всего предполагали, что они одиноки и отвыкли от общения.

В разгар каникул, когда лето стало уже привычным делом, я позавтракала оставленными для меня мамой бутербродами и собралась пойти гулять. Позвонила Янке, потом Майке, но никто не отвечал, так что я вышла одна. На ленивой солнечной улице никого не было. Я сорвала стручок с акации, попробовала посвистеть, но он уже перезрел, да, честно говоря, у меня со свистом получалось и в лучшие дни не очень. Я потопталась на детской площадке, покачалась на самых удобных качелях и уже собиралась вернуться домой, как вдруг увидела Янку с Майкой: они неторопливо брели вдоль второго корпуса, удаляясь от меня.

– Янка! – крикнула я, и она обернулась, а вслед за ней и Майка.

Но вместо того, чтобы остановиться, обе они неожиданно бросились наутек от меня. Я припустила за ними, надеясь, что это игра. Они забежали в подъезд следующего дома и, топоча, понеслись вверх по лестнице. С прыгающим сердцем

я ринулась следом, пытаясь перемахивать не через одну, как обычно, а через две ступеньки, но услышала шум едущего вниз лифта, грохот входной двери – и тишину. Когда я снова вышла на слишком ярко освещенную улицу, их уже и след простыл.

Нет, наша дружба не закончилась на этом, мы еще долго списывали друг у друга домашку, обсуждали мальчишек и учились целоваться, тренируясь друг на друге в ванной с выключенным светом, и только после выпускного разошлись окончательно. Но что-то такое, для чего я не умею подобрать правильное слово, на следующий день незаметно растаяло во мне, как последняя крупичка от сахарного кубика в стакане горячего чая. Мы втроем залезли на толстую ветку старой яблони в саду, оставшемся от бывшего когда-то на месте нашего района колхоза, и, коротая тягучее дневное время, играли в города. После Уренгоя настала пауза – Майка пыталась найти, что могло бы идти за ним кроме уже сыгравшей Йошкар-Олы, – и я спросила как можно небрежнее:

– А что это вы вчера побежали от меня?

Нежно-зеленая гусеница свесилась с верхней ветки, но тут же затянулась по невидимой ниточке обратно.

– Да просто так. – Янка почесала коленку и пожала одним только левым плечом. – Нипочему. Захотелось, и всё.

– Йокогама! – радостно закричала Майка.

– Не, Йокогама на «и», – возразила Янка.

И в это самое время я вдруг ясно ощутила, как что-то обо-

рвалось в воздухе, оставив после себя замирающее трепетание, а потом пустоту.

Мой первый мальчик

1

Чердак в доме был. Я об этом знала, хотя сама туда не ходила. Ходила соседская тощая Лилька – она показала мне дверь, совершенно такую же, как и все прочие двери на втором этаже, только запертую на висячий замок. Лилька сказала, что на чердаке пыль, духота и стоят старые чемоданы. Правда, есть окно, но если его открыть, то сразу заметят снизу. Так что лучше не открывать. Лилька сказала, что смотрела из него и видела нашу лужайку, и качели, и даже далеко за деревьями речку Варейку, ходить на которую без взрослых запрещалось.

Как открывают висячие замки, я не представляла. Но думала, что вдвоем с Сережей мы уж как-нибудь справимся. Лилька же справилась.

Сережа был мальчик, приехавший на дачу, которую мы все уже называли нашей, только неделю назад. У него глаза были разного цвета – один серый, другой зеленый – и челка, похожая на высохшую траву, такая же ломкая и сухая.

Оставалось одно – рассказать Сереже про свою идею: зачем мне понадобилось с ним на чердак. Это оказалось непросто, и было непонятно почему, дело-то было совсем простое.

Несколько дней назад незнакомая черненькая девчонка рассказала мне кое-что важное. Ради этого она в одних белых трусах босиком прибежала в раздевалку – гулкая железная будка напоминала автобусную остановку, только к пляжу она была повернута закрытой стороной, а открытой смотрела на травянистый взгорок, за которым шли непролазные буераки. От земли под железной лавкой пахло сыростью и писями. Я там переодевалась после уроков плавания, закидывая на железную створку мокрый жгутик и пытаюсь ногой попасть в сухое. Жгутик был один – плавки. Лифчик мне очень хотелось, но по малолетству не полагалось.

Все девчонки плавали по-собачьи. Я плавать не умела и хотела как они. Но мой дедушка решил учить меня по-настоящему, брассом. Каждое утро после умывания, чистки зубов и расчесывания, но еще до завтрака я упражнялась под его руководством: ложилась животом на простыню и на счет раз-два вытягивала и разводила в стороны руки, а ноги наоборот – сначала сгибала в коленях, потом делала угол, потом этот угол схлопывала. Ноги и руки двигались вразнобой. А простыня сбивалась под грудью и комкалась под животом. Я расстраивалась. Но дедушка был непреклонен.

После завтрака мы шли на пляж. Река под ярким солнцем казалась черного цвета. Девчонки веселились и ловко греб-

ли по-собачьи, а дедушка заставлял меня повторять утреннее упражнение в воде. Пока он придерживал меня, мне казалось, что я совсем легкая и у меня уже получается. Но как только дедушка убирал руки, я тут же утяжелялась и начинала погружаться, хотя изо всех сил старалась держаться. Я умела не закрывать под водой глаза и видела, что внутри она не черная, а просто темная. Потом я вставала на ноги – река плескалась у груди, а дедушке была чуть выше колен.

На пляже всегда играли в большой надувной мяч, почти круглый, состоящий из разноцветных долек. Иногда бело-синий, а иногда красно-белый. В тонких книжках для детей рисовали многоцветные мячи – желто-сине-красно-зеленые. Но таких на пляже я никогда не видела. Увязая в песке, взрослые и дети с хохотом кидали друг другу мяч, а он норовил укатиться от них туда, где светлый легкий сухой песок темнел и тяжелел, становясь влажным под набегавшей волной.

И вот чужая девчонка вбежала в раздевалку, наткнулась на меня взглядом и с ходу спросила:

– Откуда дети берутся, знаешь?

– Из живота, – ответила я не задумываясь. Я гордилась своим знанием.

– А туда?

Я ее не поняла и задумалась, но девчонка, не переводя дыхания, уже излагала мне механику подселения младенцев в женский живот. И едва закончив, убежала, бросив меня в

одинокестве со множеством вертевшихся на языке вопросов. В целом вся история выглядела, на мой взгляд, не вполне правдоподобно. С другой стороны, могла оказаться правдой. Мало ли на свете странного. Взять хоть историю с ведром.

3

Лилькин папа показывал нам всем во дворе: налив до краев ведро водой, он одной рукой раскручивал его в «солнышко», а потом ставил на землю по-прежнему полным. Вода не выливалась. Ну то есть проливалось несколько капель. А когда я осторожно поднимала то же самое ведро, то, еще даже не повернувшись кверху дном, оно выплескивало все содержимое мне на ноги и на платье. К счастью, бабушка меня не ругала ни за мокрое, ни за грязное. Несмотря на то что его самого ругала моя мама, приезжавшая на выходные.

– Папа! – вскрикивала она, удивляя меня этим не идущим к бабушке обращением. – Ты посмотри, в чем у тебя Лена ходит. У нее же носки уже черные. А они, между прочим, белые.

– Дурацкая идея, – отвечал бабушка, – давать ребенку на дачу белые носки, – и замолчал окончательно.

Мама продолжала говорить, но он только вздыхал. Я не стала слушать дальше: меня как раз тощая Лилька, засунув голову в двери, молча поманила на двор, и я потихоньку ускользнула. Обычно Лилька, которой было уже двенадцать,

с нами, маленькими, не играла, но иногда звала того, кто оказывался под рукой, чтобы показать что-нибудь удивительное. Например, три желудя под одной шляпкой или посаженного в ведро живого ежика.

В общем, в мире было достаточно странного, чтобы дикая история чужой девчонки могла оказаться правдой, по крайней мере частично. Надо было выяснить. Но у бабушки я спрашивать не стала, потому что не была уверена: а вдруг он больше не разрешит мне переодеваться одной в раздевалке. Даже девчонки, отлично плававшие по-собачьи, переодевались прямо на пляже. А я ходила в железную будку, самостоятельная и независимая.

4

Мама приехала на выходные, как всегда, с большущими сумками городских продуктов. Там были крупа и консервы, по большей части не очень интересные, мясные. Но однажды была сгущенка. И я надеялась, что такой случай повторится. На этот раз, однако, сгущенки не нашлось. Зато на мой вопрос мама сразу же ответила:

– Из маминого живота, конечно же.

Тогда я пересказала ей вкратце то, что сообщила чужая девчонка на пляже и спросила, правда ли это.

Мама задумалась ненадолго и ответила, что в общих чертах правда.

Я не уточняла насчет сроков, но прикинула, что недели после мероприятия должно хватить, чтобы получился маленький ребеночек. Дальше я рассуждала так: мама большая, а я намного меньше. Значит, мой ребеночек будет примерно настолько же меньше меня, насколько я меньше мамы. Осталось найти второго человека, и обязательно мужского пола, который бы мне помог. И надо же, чтоб мне так повезло, как раз неделю назад приехал Сережа!

Колька, Лилькин младший брат, рассказал, что Сережа до этого был на море. Меня тоже возили на море в прошлом году, но за год прошло столько времени, что море из реальности снова вернулось в область фантазий, где и существовало с самого начала. Поэтому я с Сережей пока не разговаривала. Говорить о море казалось не совсем честно, а другой темы пока не нашлось. Зато я успела рассмотреть, что глаза у Сережи были разного цвета: левый глаз серый, а правый тоже серый, но не совсем: от зрачка расходились коричневые лучи, и получался зеленый. Нос у Сережи облупился, наверно, от морской воды. Но мне это даже нравилось. И он единственный подходил мне по возрасту. Куда Сережу позвать, тоже было – тот самый чердак, о котором я знала от Лильки.

5

На следующий день после маминого отъезда я сидела во дворе на лавке и ждала, когда Сережа выйдет гулять. Я уже

позавтракала, а до завтрака сделала все плавательные упражнения. На речку сегодня мы не шли, потому что пасмурно. У меня впереди был целый день до обеда.

Сережа показался на крыльце, неспешно спустился и дошел до калитки. «Сейчас толкнет ее и выйдет», – подумала я. Мне за калитку не разрешалось. Но Сережа вернулся, задумчиво качнул низкие качели во дворе и так же задумчиво подошел к лавке, на которой я сидела. Даже больше того, он оторвал взгляд от земли – а ходил он почти все время так, словно высматривал что-то прямо у себя под ногами, – и посмотрел на меня. Ветер шевелил его прямую, слишком длинную челку. Мне оставалось только сказать.

– А у нас в доме есть чердак, – сказала я.

– Я знаю, я там был, – ответил мальчик.

6

Я потом радовалась, что в последний момент решила на всякий случай поговорить для начала с Лилькой, а Сереже в ответ на его неожиданное сообщение ответила только «а!» и, прыгнув с лавки, спешно отправилась за дом, словно меня туда позвали. Потому что Лилька объяснила мне, что для того, чтобы после «посева» получился ребенок, нужен почти год.

– Всем? – уточнила я, имея в виду, что раз я маленькая, то, может, и срок мог бы быть поменьше.

– В каком смысле «всем»? – не поняла Лилька.

– Ну... независимо от возраста?

До Лильки дошло.

– У тебя сейчас пока что вообще никаких детей не будет.

– Почему?

– Потому что сначала должна вырасти грудь, – объяснила Лилька. – Потому что детей грудью кормят!

Я поняла, что моя затея провалилась. Но не успела расстроиться, как Лилька продолжила:

– У меня уже начала расти.

– Да ну? – Я не то чтобы не поверила, скорей, не могла так сразу согласиться.

– Хочешь покажу? – неожиданно предложила Лилька.

– Давай! – с энтузиазмом откликнулась я.

Вопрос «где?» не стоял – мы, разумеется, отправились на чердак.

7

Мы прошмыгнули в коридор мимо кухни, на которой сразу несколько человек, включая нашу хозяйку с непроизносимым именем Варвара Варсонофьевна, что-то готовили, шкворча и помешивая. Потом поднялись на второй этаж, в это время дня он пустовал: кто был не на кухне, давно ушли в лес или на пляж. Когда мы подошли к заветной двери, Лилька протянула руку к висячему замку. Не знаю, чего я ждала,

может, что у нее окажется ключ, хотя и видела, что в руках у нее ничего нет. Но ключ не понадобился. Лилька потянула – и дужка вышла из лунки: тяжелый, наполовину заржавленный замок только выглядел основательно, на самом деле ничего он не запирал.

Лилька перевесила замок на дверную проушину и помашила меня внутрь.

– Лиль, а вдруг нас закроют снаружи? – заволновалась я.

– Вряд ли. Но если что, из окна крикнем, – ответила находчивая Лилька.

И мы пошли, притворив дверь так, что она казалась закрытой, если не вглядываться. За дверью были ступеньки, ужасно высокие, приходилось изо всех сил задирать ногу. А в лицо сразу пахнуло спертым воздухом, жаром, похожим на банный, только совсем сухим, с запахом пыли и чего-то сладкого. Мне вспомнилась пудра в бумажных круглых коробочках – в нашей городской квартире мама хранила ее в верхнем ящике секретера.

Мы прошли мимо больших чемоданов, уложенных друг на друга, пары взрослых велосипедов и вешалки с неправдоподобно огромными зимними пальто – они висели в ряд, прикрытые линялой шторой, и из-под нее сверху виднелись каракулевые воротники.

Наконец мы дошли до окна – из него падал желтый треугольник солнца, но никакие звуки не доносились, и Лилька остановилась.

– Покажешь? – спросила я, и Лилька, кивнув, начала расстегивать сверху вниз мелкие белые пуговики на своем платье, по-лошадиному выгнув набок длинную шею и следя за собственными пальцами с удивлением, словно они были не ее, а чужие. Я зачарованно наблюдала. Ее рука добралась почти до пояса, потом нерешительно тронулась вверх, но замерла, так и не вернувшись к горловине, и, помедлив, осторожно отвела в сторону сатиновую полочку. Я увидела загорелый живот и ребра, выступавшие отчетливо, как на большой стиральной доске. Такая всякий раз попадалась мне на глаза в предбаннике перед тем, как настойчивая мамина рука вталкивала меня в жаркий влажный полумрак – раз в неделю мама меня мыла в хозяйской бане, оттирая намыленные колени и локти, пока они не становились розовыми, и приговаривая наставления насчет чистоты, которые потом никогда не сбывались.

У меня были такие же ребра, как у Лильки – «пересчитать можно», говорила мама, – и такие же ключицы, даже еще более загорелые. Но вот чего у меня не было точно, так это нежной округлой припухлости, приподнимавшей Лилькин сосок, он тоже был не такой, как мой, – темнее, и больше, и словно бы расплывался по краям.

– Можно потрогать? – попросила я.

Лилька важно кивнула, и я, замирая, дотронулась до того места, где приподнятая округлость заканчивалась и возвращалась к пологости. Мягкая кожа под моими пальцами бы-

ла прохладной. Все это хотя и располагалось на Лилькином теле, все-таки было не совсем Лилькой. Это явление существовало само по себе, словно было здесь временно и могло в любой момент вернуться в родной ему мир, подобно бабочке, которая по ошибке залетела в окно и теперь отдыхает, изредка поводя крыльями, на спинке стула или на краю письменного стола.

8

На следующий день солнце светило с самого раннего утра. Хотелось купаться, а плавать не хотелось, но дедушка заставил меня сделать все упражнения. Потом мы пошли к реке. Мне уже удавалось держаться на воде несколько восхитительных мгновений. Дедушка отпускал меня, отступал на шаг и тут же приказывал:

– Давай ко мне!

И я принималась яростно растаскивать в стороны воду перед собой. Мне казалось, что я вот-вот дотронушь мокрой рукой до дедушкиного колена, но оно все время оказывалось дальше, и снова надо было толкать воду. Когда я все-таки схватила его за коленку и опустила свои ноги вглубь, вставая рядом, обнаружилось, что берег сдвинулся. Место, где играли в мяч, ушло мне за спину, а вровень оказался застеленный загорающими телами участок, который раньше был впереди. Дедушка щурил веселые глаза. Я не могла поверить:

дедушка, который никогда не хитрил, как другие взрослые, – и вдруг сжульничал.

– Ты отходил! – уличила я его в обмане.

– Ты научилась плавать, Леночка, – сказал дедушка. И тут же согнал с лица остатки улыбки. – Надо еще много тренироваться.

Я входила в калитку гордая, как шамаханская царица. Я знала, что теперь я смогу разговаривать с Сережей смело, на равных, как человек с человеком.

– Я умею плавать, – сказала я сразу же, как только его увидела.

– Мы уезжаем, – ответил Сережа.

9

Сережина мама была совсем не похожа на мою. Моя была высокая и сильная, с сухими жилистыми ногами, обутыми осенью в добротные туфли на низком каблуке, а летом в боножки-плетенки, которые мне особенно нравились, потому что напоминали корзиночки.

А Сережина мама походила на большую девочку с тонкими руками и ногами, которые неудобно было называть «ноги», а хотелось назвать «ножки». И было странно видеть, как она тащит в руке большой чемодан, укладывая его себе на бедро и для равновесия откидываясь на другую сторону.

– Я помогу, – шагнул ей навстречу дедушка, передавая мне нашу сумку с купальными принадлежностями.

– Спасибо, не надо, за нами приедут, – не согласилась Сережина мама, но все же отдала дедушке чемодан.

По коровьей дороге уже катил, выталкивая из-под колес фонтанчики пересохшей земли, редкий в здешних краях автомобиль.

Весь дом, особенно обитавшие в нем дети, еще долго пребывал в недоумении – что, как, почему? Кто был мужчина, убравший в багажник чемодан и снова севший за руль? Если муж, то почему он не обнял женщину, не потрепал по голове мальчика? Взрослые перебрасывались фразой «срочно вызвали в Москву», а всезнайка Лилька утверждала, что автомобиль был служебный, а значит, в Москву вызвали саму Сережину маму, которая вроде бы оказалась важным начальником. Но воспоминание о ее тоненьких ручках и ножках мешало этому поверить.

10

Мы устроили во дворе прятки-догонялки, и Лилька ободрала ногу о ржавый гвоздь, торчавший из лавки, вокруг которой мы бегали. Из длинной ссадины показалась кровь, и кожа начала синеть и набухать. Лилька растерялась, а я нет, я схватила ее за руку и потащила.

– Идем к нам!

– А можно?

– Конечно!

В комнате я усадила Лильку на стул, сохранивший остатки зеленой обивки, вытащила из кукольной наволочки клочок ваты, гордясь находчивостью, пристроилась у Лилькиных ног на полу и принялась промокать рану.

– Что у вас тут? – Дедушка зашел в комнату.

– Лиля поранилась, а я вот... – и вдруг у меня в груди захолонуло, сжалось, мне сделалось невыносимо стыдно – от крови, от гладкой Лилькиной голени и моей руки с ватой, которую я продолжала прижимать чуть ниже ее коленки.

Но дедушка ничего не заметил.

– Давай посмотрю, – сказал он, и я отошла, а Лиля все так же сидела на стуле не шевелясь.

Дедушка соорудил ей ловкую наклейку из матерчатого пластыря, а потом взял у Варвары плоскогубцы и вытащил ржавый гвоздь из лавки. Вскоре мы уже снова носились по двору.

11

На выходных мама наконец привезла сгущенку, мы варили две жестяные банки в кастрюле долго, пока с них полностью не сошли голубые наклейки, потом целую вечность студили, а потом был пир, и каждому, в том числе Лильке с Колькой, досталось по несколько больших ложек коричне-

вой сладкой тянучки.

Мама объяснила, почему уехал Сережа: «У них бабушка умерла, и их папа прислал за ними свою служебную машину с водителем». Отчасти мне было приятно, что оправдались мои сомнения насчет того, что вряд ли женщина с тонкими руками могла быть большим начальником, но в то же время немного обидно, что созданная Лилькиным воображением история *государственной важности* утратила последний шанс оказаться реальностью.

Черненькая девчонка на пляже больше не появлялась. А я с каждым днем плавала все легче и дальше, пока наконец дедушка не перестал даже заходить в воду. Теперь он следил за мной с берега, лежа на полосатом полотенце и подпирая голову рукой. Правда, с плававшими по-собачьи девчонками я так и не сдружилась, теперь мне казалось глупым визжать и плескаться на крошечном пяточке, когда можно плыть и плыть, незаметно приближаясь к рубежу, где заканчивается песок и мелкий подлесок набирает силу, чтоб перейти в лес, но тут мне приходилось разворачиваться и плыть обратно.

Вернувшись в город, я начала обдумывать новую идею, суть ее состояла в том, что если для рождения детей женщинам непременно нужны мужчины, то стоило бы выбрать из них самых лучших и поместить в отдельное место, куда могла бы прийти любая женщина, которой хочется ребенка. Куда девать остальных мужчин, я не вполне решила. Может быть, они пригодились бы на строительстве дорог.

И еще долгое время мне делалось нехорошо, стоило только ненароком вспомнить Лилькину ссадину. В такие мгновения я замирала и прислушивалась к бессловесному и мучительному томлению где-то под ребрами, и мне хотелось без остатка свернуться внутрь самой себя.

Злые бабы

У самого мелкого были белые валенки. От этого казалось, что он идет по снегу в носках. Двое других выглядели обычно. То есть совершенно заурядно. То есть вот именно так, как то, что представляется, если сказать: «По улице за нами шли три мужика». А мелкий был похож на карлика, только очень крупного. Эдакий гигант среди карликов.

– Ай, мальчики идут, – захихикала Лариска: она была пьяненькая.

– Смотри, – сказала она мне, – щас буду мальчиков ловить, тока ты не мешай, ага?

Мигом вывернув руку из моей – мы шли под руку: было скользко, – она взобралась на сугроб, подняла обе руки над головой и – а-ах! – бухнулась навзничь в снег.

Мне показалось, что она, не рассчитав, упала слишком сильно, но мальчики с такой готовностью к ней ринулись...

Пожалуй, даже если она малость ушиблась, дело того стоило, подумала я и двинулась через заснеженную проезжую часть на другую сторону, делая вид, что я сама по себе.

Мальчики всю суетились над запорошенной Лариской, поднимали ее, отряхали в шесть рук снег у нее со спины, с плеч.

Лариска пофыркивала и хохотала.

Вот ее поставили на ноги, и они пошли все вместе – двое

держат ее с двух сторон, маленький с достоинством ковыляет в арьергарде.

Я совсем оттушевалась, но к метро было все равно в том же направлении, да и на руке у меня висела Ларискина сумка, тяжеленная, она мне ее сунула перед тем, как изобразить свое картинное падение. Всю компанию мне было видно со спины и отчасти сбоку.

Лариска вертелась, зажатая между двумя кавалерами, я слышала ее смех и голос.

– Эй-эй, полегче! – звонко восклицала она, отталкивая чьи-то слишком бодрые руки.

Мужские голоса доносились до меня в виде смутного бормотания. Все четверо вдруг свернули вправо и двинулась вниз, во впадину оврага. Ларискина высокая лохматая шапка, рыжиной повторявшая ее природный цвет, помаячила над склоном и пропала с глаз. Я повертела головой по сторонам, машин по-прежнему не было, и я перешла дорогу в обратном направлении и заглянула в овраг. Они уже все слились в общий ком на белом снегу и беззвучно возились там. Мне было грустно, скучно и холодно. Алкогольное веселье окончательно выветрилось, хотелось домой, в тепло, в свою спальную окраину на другом конце города. Но мешала Ларискина сумка – ни бросить ее, ни с собой забрать. Я топталась наверху, мысленно проклиная подругу с ее неурочной жадой приключений, но терпеливо ждала, пока они завершат свою распасовку. От морозного воздуха на вдохе слипались

изнутри ноздри.

Из темного клубка на дне оврага послышался то ли всхлип, то ли подвывание. По скрипучему снегу бочком я двинулась на всякий случай по склону вниз, всматриваясь в контуры, пытаюсь различить границы тел. Никто не обращал на меня внимания.

Лариска лежала на снегу, опрокинутая на спину почти так же, как и незадолго до этого. Но теперь мальчики уже не поднимали ее, а наоборот, придавливали, один в головах, а другой в какой-то странной полусидячей позе. Третий в белых валенках по-собачьи бегал вокруг и тоже словно бы на-скакивал. Лариска била выброшенной вбок рукой по снегу – так уложенный на лопатки превосходящим соперником боец подает знак поражения. Но насевший на Лариску мужичонка не обращал на это внимания и продолжал ее уминать.

– Эй! – окликнула я, приближаясь, но не подходя близко. – Эй, вы, я милицию сейчас вызову.

Маленький и тот, что был у Лариски в головах, обернули ко мне лица. Я поправилась:

– Я милицию вызвала, за вами едут! – и для пущей убедительности показала им в вытянутой руке мобильный телефон.

Я понятия не имела, как они поступят, поверят ли мне. Нижний, помедлив, отделился от Лариски, поднял со снега черный клубок, поместил его себе на голову. Все трое за-топотали по снегу, похлопывая на себе одежду, охорашива-

ьясь. На мгновение мне показалось, что они набросятся на меня. Тогда от страха я двинулась на них, набычась и крича, что сейчас их всех заберут, и одновременно на шаривая на мобильном слишком мелкие кнопки, все равно бесполезные, потому что я не помнила, какой номер набирать. Однако мужички развернулись, как по команде, и дружно двинули прочь, в дальний край оврага, и там стали карабкаться вверх по плотно укатанному санками склону к голым кустам, чернеющим наверху.

Лариска валялась спиной на снегу в расхристанном пальто и громко скулила.

– Идем! – позвала я ее.

Она перевернулась на бок и подтянула колени к животу. Ее волосы лежали по снегу веером. Я испытала острый соблазн наступить на них, но только тронула ее за плечо:

– Поднимайся.

Она встала на четвереньки, начала шарить руками перед собой.

– Шапка, моя шапка, не пойду без шапки.

Как кошку за шкурку, я вытащила ее шапку из вертикальной шахты, оставшейся в сугробе от валенка, подала Лариске.

Где-то далеко залаяли собаки. Мы выбрались обратно на дорогу и побрели к метро. Лариска вдруг принялась рыдать.

– Обидно, обидно, – повторяла она.

Я говорила:

– Да ладно, успокойся, ну не вышло, с кем не бывает – и тому подобную чепуху.

Она завывала громче:

– Он меня насильовал!

Я промолчала. Было бы жестоко говорить ей, что она напросилась сама, хотя эти слова так и вертелись у меня на языке.

Она хотела не этого, а большой и чистой любви, мне ли не знать.

Уже вдалеке можно было различить тускло светящееся красным заглавное «М». В детстве я считала его начальной буквой «Москвы», думала, что этим тавром столица клеймит свою собственность.

Ларискин вой тем временем становился громче.

– Отведи меня назад! – голосила она. – Хочу назад! – и висла у меня на руке, как упирающийся ребенок.

Опять же, было件нятно, что слова эти обращены вовсе не ко мне, а к Господу Богу, который все так нескладно для нее устроил. Я ей помочь не могла. Но в таком виде ее, и правда, нельзя было вести в метро. Застегнутая кое-как, со сбившейся набок рыжей кошкой на голове, прилипшими ко лбу прядями, распухшим носом, по которому, видать, успели съездить пару раз, она выглядела жалко и пугающе.

– Ладно, – сказала я, – пошли обратно. По дороге кафешка вроде мелькала. Посидим, отогреемся, приведем тебя в божеский вид. – Я застегнула ей верхнюю пуговицу пальто,

подняла воротник.

Лариска благодарно хлюпнула, но тут же снова скисла:

– Мы их встретим...

– А мужиков твоих убьем. – По тому, как Лариска перестала шмыгать и заглянула мне в глаза, я поняла, что говорю правильно. – Угу, – подтвердила я. – Если встретим, убьем.

– Трех? – с надеждой и недоверием спросила Лариска тоном ребенка, которому пообещали тройную порцию мороженого.

– Точно! – подтвердила я важно.

– Да как же мы их убьем? – снова сникла она.

И меня осенило.

– У нас же с собой ножи!

Я раскрыла ее сумку. Там, украденные со стола, лежали в льняных салфетках, чтоб не звякали, ножи и вилки. Я достала два. Лезвия красиво блестели. Массивные узорчатые рукояти уютно тяготили ладонь. Приятно, когда в ресторане такие солидные приборы. Мы возвращались со свадьбы чьего-то родственника, где, как обычно, немного разжились чем бог послал.

– Держи, – сунула я один в руку Лариске. – Только не на виду. В рукав пока убери. Но пусть будет наготове. Мы их зарежем. Или по башке поганой вот рукояткой – бух! А потом все равно зарежем.

Лариска зажала в кулаке нож и зашагала бодрее.

Через несколько метров мы, словно по заказу, увидели ма-

ленького. Привалившись к запертой пластиковой будке, он сидел на снегу, раскидав ноги циркулем, ушанка съехала набекрень. Он был мертвецки пьян.

– Что делать будем? – спросила я у Лариски.

Не отвечая, она решительно двинулась вперед, подошла к нему вплотную, и вдруг он поднял голову и посмотрел совершенно ясным взглядом.

– Сука! – отчетливо сказал он.

– Кто тебе сука? Я? Сам ты... – взвизгнула Лариска и ткнула несколько раз ножом ему в бок.

Он оскалился, как от щекотки. Нож не пробивал толстую ткань. Мужик, не поднимаясь, замахал неловкими руками, пытаясь загрести Лариску. В расчете ухватить за волосы я сбила с него шапку. Но открывшийся череп оказался лыс. Тогда я двинула его в висок зажатой в кулаке рукоятью. Он крикнул. Я цапнула его за ворот и, разглядев в разъеме воротника голую кадыкастую шею, прямо туда вогнала лезвие, надавливая изо всех сил и жалея, что у столового ножа закругленный конец. Думала, что соскользнет, но он, преодолев сопротивление, прорвал кожу, заскрипел и словно провалился во что-то отвратительно мягкое, а мужик схватился за мои руки обеими руками и попытался встать. С отвращением я стряхнула его. Он сел обратно на снег, обхватив горло, словно решил задушиться. Из-под пальцев у него текло густо и темно, словно открылась нефтяная скважина.

Я отошла в сторону и ткнула ножом в сугроб. Слабо за-

пахло железом. Больше всего хотелось нож отшвырнуть, но я знала, что этого делать нельзя. Гадость не сходила с лезвия, а только размывалась полосами, мне пришлось три раза совать нож в снег, да еще и валтузить его там, прежде чем лезвие очистилось.

– А как мы найдем других? – спросила Лариска.

– Не знаю, – сказала я. – Может, и не найдем.

Второго мы застали в том самом кафе, куда направлялись. Под неоновой вывеской оказался вход в подвальное помещение, а в нем пельменная, каких, я думала, уже и не осталась, с круглыми стоячими столами и салфетницами из рифленой пластмассы. В окнах прыгали, чередуясь, красные и синие лампочки.

Высокий мужик чокнулся стопарем со второй рюмкой, ожидающей своей очереди, махом кинул жидкость в подставленный рот и принялся гоняться алюминиевой вилкой за расползающимися по тарелке пельменями. Увидев нас, он нисколько не удивился, даже кивнул и слегка подвинулся, словно мы были добрыми знакомыми.

– Дружку твоему совсем плохо, – сказали мы. – Плохо, совсем плохо, ох, как плохо.

– Толяну, что ль? – спросил он как ни в чем не бывало.

– Толян – это который маленький?

– Не, тот Сенька. А Толян – это который тебя, подруга, драл. – Он сально улыбнулся Лариске.

– Сеньке плохо. Пойдем, покажем, – и мы потащили его

с собой.

Мужик на ходу ловко опрокинул в рот вторую. У дверей я обернулась. Покинутые пельмени уже стали серыми и выглядели так, словно пролежали на тарелке не меньше трех дней.

Мы в самом деле повели его к Сеньке. Тот никуда не делся, только завалился на бок, и белые валенки исчезли, обнаружив неопрятные мозолистые пятки. На босу ногу он их, что ли, надевал, или носки стащили заодно с обувкой?

Мужик присел на корточки, не вынимая рук из карманов, заглянул товарищу в лицо:

– Это кто же его так?

– А ты догадайся, – сказал кто-то из нас.

Коротко замахнувшись, я съездила ему по уху звякнувшей сумкой. Мужик упал, скорей от неожиданности. Для надежности я ударила его еще пару раз.

– Нож дай, – деловито приказала Лариска.

– Он у тебя.

Лариска задрала ему куртку и пырнула ножом в оголившийся над брюками светлый валик живота с вытарашенным пупком. Потом выдернула и сунула второй раз, в бок.

Когда она выпрямилась, рука ее была пуста.

– Вынь, – сказала я, – не оставляй.

– Не могу, – сказала Лариска, – пойдем отсюда.

– Нет, – сказала я, – надо вынуть, это точно.

Лариска помотала головой. Слышалось короткое частое

сипенье. Мужик еще дышал. Мне не хотелось прикасаться к нему.

– Лариска, помогай! Придержи куртку.

– Не могу.

– Иди сюда! – прикрикнула я. – И держи.

Она снова задрала куртку, я достала зажигалку и стала светить. Сталь отозвалась на пламя бликом, нож валялся у мужика под боком, весь запачканный. Но делать нечего, надо было его забрать.

Мерно поскрипывая, кто-то прошел мимо, не задержав шага.

– Во народ, – сказала Лариска, – даже не спросят, может, помочь надо.

Я очищала нож в снегу. Было ясно, что мои перчатки погибли безвозвратно. Позже выяснилось, что не только перчатки, но и пальто. Его тоже пришлось выбросить.

Может быть, нас кто-то искал. Но если даже так, мы ничего об этом не знали. Ни в каких сводках новостей о мужиках тоже не сообщалось. Неделю я прожила у Лариски, чтобы ей не было страшно. А потом вернулась к себе.

Толяна мы нашли в середине августа.

Юрий КАЗАРИН

Ящерица льда

«Все ближе созвездий живой виноград...»

Все ближе созвездий живой виноград,
и гроздь его над грозью стоят.
Бинтуются главные глины рекою,
и вниз головою березы летят.
Распустишь глаза – и увидишь такое,
что падает с неба светящийся взгляд.
И дом превращается в сад,
и сад превращается в лес, и рукою
его не раздвинешь, и листья болят...

«Всё моросит ресницами укропа...»

К.

Всё моросит ресницами укропа,
ручной листвой, капелью в два прихлопа –
зашевелился обморок звезды:
в сосуде влаги важные сады,
вселенная из яблок и воды –
и шепот призраков потопа.
Здесь воду гнут, ломают и несут –
все серебро, упавшее оттуда,
где изумлен собою изумруд,
где небеса лицо с ладошки пьют,
как зрение, разбившееся в чудо.

* * *

Как память в сердце темноты,
в тебе качаются кусты,
и всё, что вечно, знаешь ты –
любовь, и жизнь, и смерть, и небо –
живут в сосуде пустоты:
сума, тюрьма, и корка хлеба,

и звезды черствые вполне,
язык неслышный – в тишине,
и песнь твоя, и сладкий опыт,
и мухи первой на окне
потусторонний детский топот.

* * *

В небе лопнула бадья,
и по щучьему везенью
с каждой горстью вознесенья
капля штучнее гвоздя:
вот земля – и плачут в землю
все, кто сделан из дождя.
Дышим, вечные вполне,
что-то слышим в тишине
и еще увидеть можем
свой мизинец на окне –
на стекле в скольженье божьем.

* * *

Во чистом поле звезды залегли,
и тьму небес в себя вдувает бездна.

Дым от костра, как зрение земли,
распространяется отвесно.
И между оком, вечностью и мглой
спит пустота, и в бесконечность чудо
вонзается иглой
и возникает в сердце ниоткуда...

* * *

Видишь, капает, не попадая в рот, –
капельница в тебе растет,
как заледенелое древо,
если посмотришь выше и влево,
то увидишь, как собирает Бог
каждый твой предпоследний вдох,
и рыдает дежурная дева,
и готовит в бинтах для посева
кислородный хрустальный горох...
Ночью светлой кладешь больницу –
всю – на одну ресницу,
в каплю слезы вмещаешь
и за окном качаешь.
Снежинки слетаются к мертвецу,
к духу святому, сыну, отцу –
к любому заплаканному лицу.

* * *

Ящерица ледка –
первого – убежала
вверх по течению, встала –
вмерзла в себя, легка.
Тонкая, как финифть,
выпьет звезду любую –
проще с небес вслепую
вправить в иголку нить.
Тряпочкой ледяной
холод цепляет – цаплей,
в небо с земли родной
каplet живой слюной –
медленно, по одной:
море – огромной каплей,
озеро – всей страной.

* * *

Хрустнула стрекоза.
Все мы уходим за
зренье, где смерти нет.
Нужно вернуть глаза,

чтобы оставить свет
в мире, где мы глядим
прямо в живой мороз,
и деревянный дым
сладок без наших слез.

* * *

Птичье вымерло дворянство –
крепнет голос пустоты:
воют волосы пространства,
вьются, свищут сквозь кусты.
Выхожу глазами трогать
иней, выпивший сады,
и на ветке первый коготь
замерзающей воды.
Все божественно – и дико
жечь печные кирпичи
и глаза сжимать до крика,
до свечения в ночи.

* * *

Тяжелой от соли ресницей

скользить за собою, слезиться:
ресница длиннее реки,
Сибири, ладони, щеки,
когда расширяешь десницей
незримой любви угольки,
когда на горячие очи
голодные очи кладет
Господь, отпирающий ночи,
как плач, отпирающий рот.

* * *

Ночью зрение спит и творится,
ночью настужь, как зверь и звезда,
книги сада открыты всегда
и видна отовсюду любая страница:
это в жажде чужая вода
прочитается и переснится.
Осязается буква и звук,
и зазоры меж ними шершавы...
Отпусти меня, Господи... Рук
не отнять от печальной державы.

* * *

... и плыву сквозь себя, упираясь, скользя,
вот и в жизнь повернуть мне обратно нельзя –
муравьи моих глаз облепили язык листопада,
где открыта на каждой странице и вся
книга леса и сада.

Содрогнуться нет сил – и земля в кулаках невесома,
словно лодка по мне золотая плывет, –
все прозрачно и ясно, я молчу потому, что я дома...
Наполняется звездами рот.

* * *

Ласточка в голове,
ласточка в рукаве,
словно рука в траве,
в угольной синеве
дерево осязанья
ищет себя в листве
до потери сознания:
волю, простор и путь –
вырваться, изогнуться,
горькую смерть сглотнуть,

выпорхнуть как-нибудь –
и оглянуться...

«Всё улетаешь – во сне тяготенья нет...»

Памяти Гр. Д.

Всё улетаешь – во сне тяготенья нет,
боги вжимают в шарик любой предмет:
вот пузырек кислорода и водорода –
каждой кровью божья болит свобода.
Солнце зарюют в море – взойдет луна.
Море зарюют в солнце – взойдет волна.
Землю зарюют в небо – увидишь тело,
чтобы душа пустоты из очей летела
прямо на свет, нестерпимый от света свет –
долгий, темнее которого в мире нет.

* * *

Бог виднее в грозу из подвала,
словно смерть сквозь слезу целовала
осторожно и мало – как мало –
целый мир и глаза на лету.
Застекли стрекозой темноту –
и услышишь монетку во рту:

прозвонит от резца до резца,
от когтей до орла, до лица
за решеткой державной свободы,
за глазами черными звезд,
где встают перезревшие воды
в синеоких цепях непогоды
во весь рост.

* * *

Плачет в окне кулик,
в озере ходит Будда
с сетью. Живой мужик.
Тень твоя – проводник
бедной души отсюда –
в эхо, где умер крик,
где, прикусив язык,
чудо живет без чуда.
Тело твое ушло,
небо, как смерть, немного
тронув – веслом весло, –
выплеснув на стекло
очи бога.

Тимур ВАЛИТОВ

Бессмертие Ивана Ильича

рассказ

Ответ пришел в воскресенье вечером, Иван Ильич нашел в сетевом облаке принтер и распечатал красный шестигранный ярлычок.

– Набери мне Просю, – крикнул он в айфон.

Айфон в ответ слегка ударил его током. «Ведь хотел починить, – подумал Иван Ильич, – а теперь вот и незачем».

И через секунду в воздухе задрожало бледное лицо.

– Прося, – сказал Иван Ильич жене, – давай домой. Будем наливку пить.

– Вызвали? – спросило лицо.

Иван Ильич улыбнулся:

– Дома узнаешь.

Лицо улыбнулось тоже – и тотчас пропало. Иван Ильич подождал, пока ярлычок в лотке принтера остынет, потом повертел его в пальцах и отправил в нагрудный карман. Карман оттянулся, ярлычок темнел сквозь хлопковую ткань.

«Вот и славно», – сказал себе Иван Ильич и пошел в кухню, составляя в уме закуску: сморчки по-селянски, перцы с творогом, паштеты, копченый омуль – и вдруг: «Странно как, ей-богу, странно думать об омуле, когда такое», но дру-

гих мыслей не было, и Иван Ильич продолжил об омуле.

Прасковья Федоровна пришла через полчаса. Иван Ильич успел распорядиться насчет стола и теперь, сидя у лампы, держал на ладони ярлычок – точно взвешивал.

– Красный? – спросила Прасковья Федоровна, хотя видела – и даже знала заранее, – что красный.

Потом сели, съели омуля и сморчков, выпили наливки. Прасковья Федоровна хотела сказать соответственно случаю, но, что говорить и как, не знала, только смотрела на ярлычок, помещенный Иваном Ильичом на самый верх этажерки с яблоками.

«Вот ведь и красный в придачу, – подумала она, – а я красного сродясь не любила».

Вслух же сказала:

– Ну, Ванюша, какого дня вызов-то?

– Во вторник, – ответил Иван Ильич, утираясь салфеткой. – Еще завтра, чтобы мысли собрать, и во вторник – пожалуйста.

Прасковья Федоровна кивнула, с минуту ковыряла ложкой в паштете, потом спросила:

– А не страшно, Вань? – и тотчас поняла, что зря.

Иван Ильич бросил об стол нож и вилку, вскочил и замахал вокруг себя руками.

– Не сметь! – кричал он. – Не сметь такого спрашивать!

На крик вбежал мальчишка-казачок: он решил, будто напутали с закуской, но, увидав Ивана Ильича, быстро понял

что к чему и попятился.

– Стой! – рывкнул ему Иван Ильич. – А ну стели мне в кабинете: не буду с *этой* спать!

– Ка-ак же, Ва-аня, – тянула Прасковья Федоровна, – ведь осталось-то ничего – сегодня ночь да за-автра. А ты – в кабинете...

– Стели-стели, – гнул свое Иван Ильич, – а то пугать придумала, – и вдруг схватился за бок и накренился.

Прасковья Федоровна визгнула, казачок подбежал, усадил Ивана Ильича в кресло. Иван Ильич захрипел, перешел с хрипа на стон, со стога на рев, потом разом выпрямился, выдохнул и опять обмяк.

– Ну, сука, – выговорил он наконец, – с тобой и до вторника хер доживешь.

Спустя полчаса, одетый казачком в пижаму, он лежал, уставившись в потолок спальни, и думал, что вот уже понедельник, а там... «И не забыть теперь, – злился он, – ну до чего же сука». Он пробовал отвлечься, вспоминал дословно ответ, затем уговаривал себя, что большая победа, что иначе и быть не могло, что в бумагах полный порядок и даже с приемщиком повезло, но мысли возвращались к кусочку красного пластика, оставшемуся внизу, на этажерке с яблоками. «Как не ври себе, а для бессмертия придется помереть».

Он услышал, что вошла жена, потом ощутил ее рядом, тяжелую, плотную. «Сколько же в ней, суке, здоровья, а то бы *ее* обессмертить и спросить потом, не страшно ли». Так он

мучился еще часа два и, совсем измучившись, уснул.

Снились ему нити жабьей икры в пруду, мамин поцелуй в темя, вода, застывшая потеками на окне летней кухни, иллюстрированный Ларусс на полке, густой и вонючий воздух вагона. Он проснулся в двенадцатом часу, схватил рукой пустоту: жены не было, на трюмо горел удвоенный зеркалом букет маков. Тут же у вазы лежал ярлычок из красной пластмассы. Иван Ильич поморщился, перевернулся. В боку не болело. Он сам, без казачка, встал, надел на пижаму халат, вышел из спальни. Завтракать подали блины с вареньем из ранеток; он попробовал и понял, что сладкого не хочется. Тут же поставили сметану и горчичное масло и следом сморчки из вчерашней банки – Иван Ильич взглянул на них коротко. Аппетита не стало.

Он пошел через сад, то и дело замечая казачка где-нибудь неподалеку: видно, мальчишке велели смотреть за Иваном Ильичом – нельзя же и вправду помереть, когда получен вызов на завтра. Прогуляв больше часа (ветер с реки был полезен – выдувал мысли), Иван Ильич крикнул казачку:

– Поди узнай, воротилась ли Прасковья Федоровна.

Прасковьи Федоровны не было, и просить ее по айфону, узнавать, куда она двинула с самого утра, не хотелось. Иван Ильич побродил еще между ровными кустами тутовника, которые сам обрезал дважды в год, потом опять поманил казачка и спросил:

– Чего ты, не устал за мной глядеть?

Казачок смутился:

– Дык сказано глядеть – и гляжу.

– Вот еще, сказано! – фыркнул Иван Ильич. – А ты поди займись делом. Как воротится Прасковья Федоровна, обе-
дать будем.

– А нету дела, – ответил казачок, – покуда барин спали, мы всяких делов переделали.

– Вот и займись тогда чем хочешь.

– Ничем не хочу, – заулыбался казачок, – хочу на вас гля-
деть.

Ивану Ильичу вспомнился сон: полка с книгами, пруд, летняя кухня. Он опять спросил:

– Чего же ты, всю жизнь на меня глядеть будешь?

– Не-е, всю жизнь не буду, – затряс головой казачок. – Барыня сказали, что вас скоро бессмертным сделают, я тогда в ОМОН пойду.

Иван Ильич засердился:

– Вот и хватит болтать: болтунов в ОМОН не берут.

Прасковья Федоровна вернулась в два: стриженная, с за-
крашенной сединой. Отобедали, сели на веранде смотреть
кино: Иван Ильич любил Тарковского, но сегодня «Иваново
детство» казалось ему слишком уж тоскливым. Наконец он
не выдержал, цыкнул на проектор – кино растаяло, веранда
опустела. Прасковья Федоровна растерялась на секунду, но
не спросила и даже виду не подала, что расстроилась, отвер-
нулась в сад и сидела так, пока не позвали полдничать.

Иван Ильич полдничать не пошел, смотрел в никуда и думал, что вот кому-то в ОМОН, а кому-то обрезать тутовник в апреле и сентябре. А кому-то хуже: помирать всю ночь от боли в боку, трижды просвечивать желудок, почти месяц подбирать обезболивающее, потом глотать какие-то трубки, ложиться под лазерный нож и отныне чувствовать жженный запах, идущий, кажется, изнутри, из-под кожи; потом составлять бумаги, просить людей, знакомцев и незнакомых, чтобы помогли с тем-то и вот с тем-то, и наконец ждать, когда вызовут, и, дождавшись, смотреться в крохотный кусочек собственного бессмертия, в маленький красный ярлычок – все это придется делать *кому-то*, а не ему, не Ивану Ильичу: Ивану Ильичу уже ничего не придется – от этой мысли он вдруг негромко завыл, и на веранду тотчас выскочил казачок.

– Ну-ка, пшел прочь! – неуверенно крикнул ему Иван Ильич.

Казачок пропал, но позвал Прасковью Федоровну. Она села рядом, стала гладить Ивану Ильичу затылок, рассказывая про вчерашнюю службу в Липках, про рецепт блинов польски, про нового цирюльника на краю Москвы.

– Это где же? – спросил вдруг Иван Ильич.

– Через Оку переехать – тут и будет, – ответила Прасковья Федоровна. – На Серпуховском затоне.

Ночью снова сны, наутро мысли – обо всем подряд, вперемешку: о тутовнике, об электричках из детства, о Тар-

ковском. Полвосьмого у ворот поставился извозчик; Иван Ильич все вошкался с левым чулком – придиричиво расправлял его на ноге, от щиколотки к колену, от щиколотки...

– Поспешил бы, – сказала Прасковья Федоровна, уже одетая, – на Симферопольском, поди, пробки.

Но Симферопольское мелькнуло быстро, и на Варшавском почти не стояли – только в Пятое кольцо с трудом вклинились, но по кольцу поехали с ветерком. «Экое бл...ство, – сказал себе Иван Ильич, – еще с час прожду, пока вызовут». Прасковья Федоровна все говорила что-то извозчику – неуместное, неумное: где повернуть, в каком часу будет дождь, когда поднимут прайс на парковку; Иван Ильич не смотрел на жену и мечтал вдобавок не слышать.

Институт стоял на Головинской, непроницаемый, без единого окна, зажатый между прудами и рекой, отражаясь в них всеми четырьмя шершаво-серыми гранями. В вестибюле, выстроенном в двадцатые, когда вдруг случилась жажда на все советское, пестрела в десять человеческих ростов мозаика: пожилой ученый морщится в инвалидном кресле, а за ним облыселый старик в очках и плечистом пиджаке стоит и держит над головой ярлычок, еще плоский и сизого цвета (и называвшийся тогда смешно и точно – мозговым протезом). Ивана Ильича с женой посадили в приемной, где обошлось без мозаики, но по стенам, точно плющ, бежали строчки: «Технологии – продолжение наших тел». Или: «Сохрани своему сознанию жизнь». «Жизнь, – повторил про се-

бя Иван Ильич, – какая тут жизнь! А если я хотел жизнь прожить художником, если я все ждал, чтобы взяться, скажем, за гармонь, а хоть бы даже ОМОН – где мне взять такую жизнь, омовскую? Так и соскребут в ярлычок одно сознание. А на кой мне его? – никто не скажет».

Через полчаса вышла медсестра – благодушная, улыбающаяся. Спросила:

– Иван Ильич?

Иван Ильич кивнул: во рту пересохло, сказать не получалось.

– Отлично, – продолжила медсестра, – положительно отлично. Портатив в наличии?

Иван Ильич растерялся, потом сообразил и достал из нагрудного кармана ярлычок:

– Вы про это?

– Положительно отлично, – повторила медсестра, взяла ярлычок, что-то надавила на одном ребре, и от шестигранника отделилась крышечка. – Теперь проследуйте с портативом в выделительный отсек.

Потом она повернулась к Прасковье Федоровне:

– А вы ожидайте – через два цикла заберете готовый резерв.

«Резерв, – думал Иван Ильич, отыскивая среди неоновых табличек в коридоре выделительный отсек, – вот ведь и название мне придумали – нерабочее, ненужное».

В выделительном отсеке была белая, фенолом пахнущая

пустота. Медсестра вошла через минуту, вывела на стену светящийся экран, поправила что-то в конфигурации.

– Я теперь устранись, – сказала она Ивану Ильичу, – а вы контрибутируйте мочу в портатив. Трех минут достаточно?

– Для чего? – не понял Иван Ильич.

– Для контрибутива.

Иван Ильич долго смотрел в медсестру.

– Это поссать, что ли? – наконец сказал он раздраженно. – Достаточно.

– Положительно отлично, – кивнула медсестра и ушла.

Иван Ильич поглядел внутрь ярлычка: темнота – пластмассовая, чуть красноватая. Ссать не хотелось.

«Вот не поессу, – улыбнулся сам с собой Иван Ильич, – и не будет мне бессмертия».

Вернулась медсестра, взяла у Ивана Ильича ярлычок – крышечка закрыта.

«А ну если проверит?» – струсил вдруг Иван Ильич, но медсестра не проверила:

– Теперь в дезинтеграционную. Вас ожидают.

Коридор все закруглялся. Иван Ильич зачем-то вспомнил «Солярис», а потом пруд, и летнюю кухню, и отцовский Ларусс... Он уже лежал, шурясь под желтой филаментной лампой, а рядом, в никелевом штативе, мерцала тонкая стеклянная игла. Чья-то рука поместила над ним ярлычок – тускло-красный, пустой, а потом раздалось у уха: про короткий укол, про портатив, про начало копирования. Внутрь ярлыч-

ка ударил луч, штатив пришел в движение. Все случилось в несколько секунд, но Иван Ильич еще успел увидеть, как вода ползет по стеклу, постепенно твердея, будто небольшое полупрозрачное деревце, растущее голыми ветками вниз. Игла прицелилась и стремительно поцеловала в темя, и ничего не осталось.

Борис МЕССЕРЕР

Гвидон

рассказ

Андрею Битову

В какой-то момент желание иметь собственную собаку стало жизненной необходимостью. Я сразу знал, что это будет шарпей. Шарпей в переводе с китайского означает «песчаная шкура». Именно такого цвета я представлял себе будущую собаку. Фантазии скоро превратились в навязчивую идею, особенно после того, как одна моя знакомая, темпераментная югославка с волосами, выкрашенными в ярко-красный цвет, позвонила и сообщила, что хочет подарить мне щенка. Я закричал в трубку, что ни в коем случае не надо этого делать, потому что у меня свои планы на этот счет. И на следующее утро поехал на легендарный Птичий рынок. Именно на «Птичке» продавались и собаки, и кошки, и аквариумные рыбки. Рынок находился в Калитниках, в районе Таганки. Трудно описать всю прелесть того, что было там: щенки всех пород мира своими достоинствами и красотой превосходили возможности художественного слова. Но мое страстное желание найти именно щенка породы шарпей было сильнее всех других искушений. Наконец чудо произо-

шло: я увидел девицу с шарпеями. Внешность девицы была несколько устрасшающей. Над нижней губой у нее нависали два огромных зуба-клыка. Это, конечно, напрягало. Кроме шарпеев девица предлагала и щенков бордоских догов невыносимого обаяния. И это оказалось соблазнительным препятствием в осуществлении моей мечты. Продавщица предложила мне погулять по прилегающей к рынку территории со взрослым бордоским догом. Я согласился и по дороге совершенно запутался в своих чувствах. Когда после прогулки я поделился с девицей сомнениями, что с догом не выдержу слишком долгих прогулок, она радостно воскликнула: «А я на что?!» Девица совершенно искренне предполагала, что ежедневно будет приезжать из своего Орехова-Зуева выгуливать дога. После такого предложения я со всей решительностью стал гладить маленького шарпейчика, которого она держала за шкурку так, что его толстый животик тяжелым мешочком свешивался вниз. Я расплатился с девицей и сунул этот комочек тепла себе за пазуху, под рубашку, оберегая его от холода. Малыш расцарапал мне всю грудь, но я мужественно перенес испытание, и мы торжественно прибыли домой, на Ленинградский проспект города Москвы. В первые же часы пребывания щенка в доме я стал думать, как назвать это чудо, и, как всегда, вспомнил своего друга, писателя Андрея Битова. А он, в свою очередь, всегда в тяжелую минуту обращался за советом к Александру Сергеевичу Пушкину. Я последовал примеру друга – стал листать книги

Пушкина в надежде на помощь... И Александр Сергеевич не подвел: «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». Гвидон – какое дивное и могучее имя. Собаке и быть Гвидоном, о другом имени не может идти и речи. Собака – Гвидон. Я никогда не произносил слова «пёс». Оно мне казалось уничижительным. Я называл его «собака». То, что слово «собака» женского рода, меня не смущало. Моя собака – Гвидон.

Уже потом, интересуясь породой шарпеев, я узнал, что истории становления их рода – три тысячи лет. И на вопрос, сколько Гвидону лет, отвечал: «Три тысячи и один год». Кроме того, я прочитал в специальной книге о шарпеях, что в середине XX века их, как и других собак и кошек, по указанию Мао стали преследовать на их родине, в Китае. Но нашлись бесстрашные люди где-то в Гонконге, которые не побоялись и перевезли нескольких шарпеев на большой лодке через море на остров Тайвань и тем самым спасли породу. Потом шарпеи распространились и в Европу, и в Америку, но я продолжал любить китайских шарпеев и, конечно, главного из них, Гвидона.

Всемирная выставка работ художников театра в Праге. Так называемая Пражская quadriennale. Много разноликого народа – людское месиво, толчея. Картины, макеты, инсталляции. В большинство павильонов – очереди. Но есть одна – таинственная, непонятно куда ведущая. Оказывает-

ся, к тайваньскому каллиграфу. Этот талантливый человек испещряет бумагу загадочными иероглифами, написанными согласно пожеланиям стоящих в очереди. Как правило, это поэтические послания любимым женщинам из Праги. Мастер каллиграфии еще и мастер слова. Он пишет короткие стихи с теми немногими подробностями, которые ему успевают сообщить. Люди подолгу стоят в этой очереди: всем хочется получить от тайванца сувенир. Я тоже становлюсь в очередь и все время долгого ожидания с благодарностью думаю о роли Тайваня в деле спасения популяции шарпеев. Мне приходит в голову шутовская мысль: не попросить ли написать слова приветия моему шарпею по имени Гвидон, подчеркивая роль острова Тайвань в его судьбе? Каллиграф, явно вдохновленный идеей послания, относится к ней весьма серьезно, к чему, полагаю я, примешивается чувство национальной гордости. Он прописывает на редкость красивые иероглифы. Конечно, я не могу прочитать и оценить стихи, но тайванец заверяет, что его постигла творческая удача и стихи получились хорошие. Я возвращаюсь в Москву и торжественно вешаю листок на стену. Прибываю низко, чтобы собака могла видеть каллиграфическое послание Гвидону.

Пишу о пражском эпизоде с нежностью, которую я испытывал к Гвидону, его гордой повадке и непредсказуемому поведению. Два качества особенно полюбились мне в его характере: решительность и непреклонность. Как-то он поразил меня, когда на утренней прогулке во дворе нашего до-

ма подошел к лавочке, на которой группа бомжей с бутылкой разложила нехитрую закуску. Закуска тем не менее оказалась весьма привлекательной – в мгновение ока, не обращая ни на кого внимания, Гвидон залихватски расправился с угощением, оставив общество бомжей в растерянности. Непочатая бутылка водки так и стояла во главе не стола, но скамейки. Я спешно увел собаку подальше от места происшествия. По дороге зашел в магазин, чтобы возместить пострадавшим утраченную закуску. Радость бомжей по случаю возвращения закуски трудно описать. Я почувствовал, что в их очерстневших душах, измученных вечным гонением и отторжением, возникло какое-то теплое чувство. Бутылка, стоявшая на прежнем месте, начала бойко наклоняться, разливая драгоценную влагу.

Гвидон гордо за всем наблюдал.

Но этим эпизодом отношения Гвидона с бомжами не закончились. Дело в том, что я гулял с ним в самое неожиданное время, поскольку строгого рабочего расписания у меня не было. Иногда мы вставали довольно рано, и я должен был успеть выгулять собаку до отъезда в мастерскую.

В один из таких дней мы увидели позади железных гаражей кучу картонных коробок и просто листов упаковочного материала. Гвидон упорно тянул меня туда. Неожиданно картонная гора зашевелилась и появилась фигура женщины-бомжа, которая проснулась по вине Гвидона. Повинуясь неистребимому женскому инстинкту, первым делом она по-

смотрела на себя в осколок зеркала, припрятанный где-то в недрах баула, чтобы проверить, как она выглядит. Я растерялся, оттащил Гвидона, извинился за нарушение ее «распорядка» дня. В знак наших добрых намерений и за прерванный сон я протянул ей сто рублей, и мы удалились. Я – пораженный, Гвидон – невозмутимый.

Гвидон знакомил меня с жизнью нашего двора, с какими-то неизведанными местами, куда один я вряд ли бы заглянул. Вспоминается отрывок разговора двух бомжей, мужчины и женщины – хочется сказать «дамы», – направлявшихся в сторону нашей «престижной», как считалось в округе, помойки. Гвидон обнаружил их присутствие в кустах, которые прикрывали это место. Мужчина вел себя по-джентльменски, широким жестом руки обводя помойку, спрашивал: «Дорогая, может, тебе что-то из обуви надо?» Так я представлял себе кого-нибудь из моих друзей в Париже, в магазине *Galleries Lafayette*, где он предлагает даме выбрать из последних образцов обуви лучшую модель.

Гвидона привечали все мои приятели и друзья, хотя он будто бы не замечал никого.

Гвидон бывал участником всех домашних да и ресторанных застолий, и, если он отсутствовал по какой-то причине, мои друзья, встречаясь у меня за столом, будь то в мастерской, дома или в ресторане, неизменно спрашивали: «А где Гвидон?» Если гулянье происходило в Тарусе, в ресторане «Золотая кружка» на берегу Оки, то Гвидон обязательно

залезал на скамейку, придвинутую к столу, и торжественно усаживался рядом со мной и гостями, чтобы быть на равных. Я не кормил его за столом, потому прибежал к некоторым хитростям, стараясь ему, как и всем другим, предложить какое-нибудь блюдо, правда, то, которое он не ел, например, селедку. И это не было подлостью с моей стороны, а выглядело как завуалированное ухаживание, проявление внимания.

Как-то у меня дома собралась шумная компания литераторов, среди которых был и Андрей Битов, мой незабвенный друг, тогда еще полный сил и молодецкого задора. Гости всецело сосредоточили внимание на том, что находилось на столе. И только Битов, ярко жестикулируя, вызывая всеобщий интерес, под столом небрежно, одной рукой играл с Гвидоном. Вдруг он с раздражением отдернул укушенную Гвидоном руку. Лицо его помрачнело, и он резко произнес: «Не люблю фамильярности!» На что я хладнокровно заметил: «Гвидон тоже!» Испытывать характер Гвидона позволил себе и другой мой товарищ, художник Сережа Бархин. Он, подобно Битову, позволил себе с Гвидоном непростительную небрежность, был также укушен и сидел с завязанной платком рукой. Бархин мужественно заявлял присутствующим, что сам виновен в произошедшем. Дело в том, что Гвидон по натуре своей был однолюб и панибратского отношения к себе не прощал никому, кроме меня. Излишне говорить о мере преданности Гвидона мне, его хозяину. Он не выносил малейшей потери моего внимания и выказывал свою любовь

всеми возможными способами: тыкался мордой в мои колени и старался лизнуть в лицо, не отходил от меня ни на минуту и, конечно, норовил спать в моей постели, не щадя новых чистых простыней.

Гвидон в моем представлении обладал невероятной красотой. Его причудливая свирепая внешность несомненно способствовала успеху. Когда после работы в мастерской я совершал с собакой традиционный «круг почета» по прилегающим улицам, то собирал дань поклонения Гвидону. Апофеозом этого стихийного преклонения перед красотой собаки явился мой собственный поступок. Я случайно увидел в собачьем магазине удивительно роскошный (как мне показалось) широкий ошейник с вмонтированными в него стразами – россыпью искусственных бриллиантов, переливающихся на солнце.

Я купил ошейник и надел это сверкающее чудо на Гвидона. Только тогда я понял всю глубину своего нравственного падения. На самом деле он абсолютно не подходил суровому «стилю» Гвидона. Было видно, что собака стесняется этого украшения, о чем красноречиво говорил ее взгляд. Большой нелепицы нельзя было представить.

Я растерялся, но, чего никак не могу себе простить, все же повел Гвидона на прогулку. Я испытующе смотрел на встречаемых-поперечных людей, попадавших мне по дороге, – проверял их реакцию на ошейник, но большинство просто ничего не замечало. И лишь ироничная улыбка какой-то жен-

щины подействовала на меня отрезвляюще. Тем не менее я продолжал надевать этот ошейник на собаку, уговаривая себя, что вот-вот сниму его и выброшу на помойку. Старый ошейник совсем износился, а поехать за другим у меня не было времени. В оправдание могу сказать, что я все время извинялся перед Гвидоном за то, что учудил.

Кроме ослепительной наружности, Гвидон обладал горделивой походкой. Он совершенно не замечал маленьких собачек и становился необычайно грозен, когда видел большую собаку на своем пути. В таких случаях я прилагал невероятные усилия, чтобы продолжать следовать намеченным курсом.

Цели наших прогулок с Гвидоном зачастую были высокоинтеллектуальные, например, посещение редакции журнала «Октябрь» по адресу улица Правды, дом 11 (неподалеку от моего дома), поскольку я печатал там свои воспоминания и мне необходимо было работать с редактором. Нас очень приветливо встречала секретарь Лена, и сама Ирина Барметова, главный редактор журнала, окидывала Гвидона благосклонным взглядом. Позже она заметила, что прогулки в редакцию старинного литературного журнала – редкое явление в собачьей жизни.

Иногда восхищение моей собакой разделяли и представители мужского пола. Был случай, когда огромного роста господин, как выяснилось в дальнейшем, чех по национальности, не устояв перед обаянием Гвидона, присел перед ним на

корточки и старался понравиться ему, всячески лаская. Однако Гвидон, высочайше позволив незнакомцу некоторое заигрывание, продолжил свой путь, не поддавшись его чарам. Именно эта непреклонность и отрицание всякого заискивания, кокетства восхищали меня. И если кто-то хотел уколоть мое самолюбие, заметив, что мы похожи с моей собакой, я воспринимал это как комплимент самой высокой пробы.

В цепи превратностей моей (и Гвидона!) судьбы случилась поездка в Санкт-Петербург по приглашению Мариинского театра. Я должен был оформить балет «Кармен-сюита» Жоржа Бизе и Родиона Щедрина в постановке Альберто Алонсо. Поскольку Гвидона в Москве не с кем было оставить, я решил взять его с собой в Петербург.

По интернету нашли в Петербурге гостиницу на Галерной улице, 53. Там разрешали жить с животными. Это был пансион семейного типа с номерами и кухней-буфетом, которую обслуживали две женщины, готовившие завтрак прямо в присутствии посетителей.

Я купил отдельное купе в «Красной стреле», и мы отправились в путешествие. Дорога прошла хорошо, и Гвидон не вызвал ничьих нареканий. Когда мы подъехали к дому на Галерной, то я увидел на стене мемориальную доску, которая сообщала, что в 1831 году в этот дом после бракосочетания в Москве приехали Александр Сергеевич Пушкин и Наталья Николаевна Гончарова и проживали в нем до весны 1832 года. Мой приезд в этот дом оказался прекрасным предзнаме-

нованием ожидаемой встречи с другом Андреем Битовым. Я никогда не забывал о любви Андрея Битова к Пушкину, его поклонении имени поэта и был безмерно рад, что оно снова окликнуло меня.

Интерьеры дома в первоначальном виде не сохранились, были уже искажены. Но размах апартаментов остался прежний. Мы с Гвидоном въехали в подготовленный для нас семикомнатный номер-этаж. Как администрация приглашающей стороны, Мариинского театра, оплатила стоимость номера, не обратив внимания на количество комнат, остается загадкой. В великолепном номере, где мы жили, была даже ванная комната с металлической мойкой для собак и всеми необходимыми туалетными принадлежностями. Именно эту комнату упорно избегал Гвидон. Зато всеми другими он пользовался широко, с поистине царственным размахом. Возвращаясь после репетиции в номер, я каждый раз заставлял Гвидона на новом месте, новом диване. И всем видом он давал мне понять, что никоим образом не обеспокоен этим обстоятельством. Утром я отправлялся на прогулку с собакой. Гвидон переключился с Ленинградского проспекта в Москве на «ленинградские» улицы Санкт-Петербурга, восприняв перемену как нечто само собой разумеющееся. Наш маршрут пролегал по Галерной улице до места ее пересечения с улицей Труда (Благовещенской), потом по Английской набережной реки Невы, сплошь застроенной особняками петербургской знати с почерневшими чугунными таб-

личками, обозначающими принадлежность данного особняка тому или иному старинному дворянскому роду. Далее мы сворачивали на набережную реки Пряжки, снова шли до начала Галерной улицы и уже по ней – обратно в гостиницу. Наш путь пролегал среди жилых домов, как по каменному коридору без единого просвета с зелеными насаждениями, так что мне пришлось купить специальный металлический совочек с коробочкой на длинной деревянной палке для уборки собачьих экскрементов, поскольку мы с Гвидоном не хотели нарушать прекрасных Санкт-Петербургских традиций по образцовому содержанию улиц города в чистоте и стерильности. И я гордился своей сознательностью.

Вступив на набережную Невы, я тут же позвонил Андрею Битову с подготовленным текстом, призванным поразить воображение друга оригинальностью. Андрей не знал, во-первых, что я приехал в Санкт-Петербург, а во-вторых, что мы с Гвидоном остановились в столь замечательном «пушкинском» месте. По телефону я осведомился, как он живет и чем дышит, а на его аналогичный вопрос спокойно ответил, что в данный момент гуляю по Английской набережной с Гвидоном. Высокий стиль нашей беседы был нарушен восторженным криком Битова. Он восхитился приездом Гвидона в Санкт-Петербург и тут же сообщил, что скоро прибудет с бутылкой, чтобы лично приветствовать мою собаку!

Гвидоном владел сильный охотничий инстинкт. На отдыхе в Тарусе я слишком самоуверенно доверился послушанию

Гвидона, поэтому вывел его без поводка. Я рисовал на пленэре, он, как обычно, наблюдая округу, лежал на некотором взгорье. Вдруг собака встрепенулась, и я увидел в отдалении, на расстоянии примерно ста метров, петуха, который степенно расхаживал по грязной тарусской улице. Гвидон сорвался с места. Я мгновенно понял серьезность его намерений и бросился за ним. Тётечки, сидевшие на завалинках, безумно оживились и стали громко причитать, ругая меня и мою собаку. Я на бегу выхватил из кармана какие-то денежные купюры и поднял руку, сжимая их в кулаке, тем самым демонстрируя благие намерения расплатиться за возможный ущерб. В тот момент, когда я неся за Гвидоном в благородном порыве «во спасение петуха», мысль о том, сколько денег следует отдать его хозяйке в случае гибели, была для меня самой загадочной. Я не знал, во что оценивается старушкой петушина жизнь, и думал только о том, смогу ли расплатиться, хватит ли у меня денег. Я задыхался от непривычной физической нагрузки, но Гвидон был неумолим. Расстояние, отделявшее нас от петуха, сокращалось стремительно. И вдруг петух – полетел. Он буквально парил в воздухе и был подобен какому-то первобытному птицеящеру. Пролетев метров двадцать, он спланировал в проем калитки и быстро заковылял на крючковатых лапках в сторону курятника. Однако, не успев добраться до курятника, петух сунул голову в поленницу между дровами, распушив веером хвост. Распушенным хвостом он старался поразить вообра-

жение Гвидона, который уже был готов растерзать его. Гвидон почти настиг петуха, я почти настиг Гвидона. В этот трагикомический момент мне удалось схватить собаку за ошейник со стразами и на лету, в прыжке, остановить ее.

Подобная «охотничья» ситуация повторилась и когда Гвидон увидел выводок уток, что привело его в необычайное изумление. Главная утка шествовала с чрезвычайной важностью вместе с утятами вблизи маленького озера в верхней части Тарусы. Так же стремительно Гвидон ринулся на «охоту». В отличие от летящего по воздуху петуха, утки не совершили ни малейшего ускорения – они медленно и степенно отплыли от берега, а разъяренный Гвидон в недоумении остановился перед водной преградой и принялся лаять, от возбуждения переходя на звук, граничащий с фальцетом.

Но Гвидон сражался не только с летающими петухами.

Как-то на ничего не подозревающего Гвидона, которого я держал на поводке, напала огромная немецкая овчарка, гулявшая сама по себе. Жестокая несправедливость ситуации потрясла меня, и я, не помня себя, бросился на защиту Гвидона, колотя твердым диском его поводка по голове вцепившейся овчарки. Мне было жаль ее, но праведное чувство, владевшее мной, заставляло меня это делать. Собака разжала зубы, и Гвидон сумел принять бой на равных. Конечно, этот бой складывался не в его пользу.

Рана Гвидона оказалась глубокой, и я отвез его в ветеринарный медпункт. Гвидону сделали анестезирующий укол, и

я впервые в жизни принял участие в операции, поддерживая собаку и выбривая место на ее плече вокруг раны. Гвидону были наложены швы, а когда операция закончилась, на него надели пластмассовый воротничок а-ля Мария Стюарт, прозрачный, но устойчивый, чтобы он не расчесывал рану.

В какой-то момент нашей с ним общей жизни мне снова потребовалось на пять дней отлучиться из города. Опять возникла проблема: с кем оставить собаку. Друзья стали уговаривать меня отдать Гвидона на время отъезда в собачью больницу в городе Королёве (бывшее Болшево), где собак принимают на передержку. «Почему так далеко?» – недоумевал я, но мои конфиденты парировали, что такой больницы в Москве не найти, что там царит удивительно доброжелательная атмосфера и служит внимательный, редкий по порядочности медицинский персонал. Времени на раздумья не было, и я на машине поехал на разведку в Королёв. Домик, в котором располагалась больница, стоял в конце центральной улицы, совершенно отдельно, вызывая своим благолепием радостное чувство успокоения. Всё рассказанное друзьями соответствовало увиденному мною. Врачи, медсестры и прочие сотрудники, заботящиеся о питомцах, как о родных детях, были приветливы. Итак, я решился и на следующий день повез Гвидона, стараясь не думать о том, как пройдет расставание. Я сразу отвел его к главному врачу, который принял меня как родного и заверил, что все будет в порядке. Я воровски оглянулся на Гвидона и выскользнул из комнаты.

Прошли томительные пять дней в Тбилиси, и я устремился за Гвидоном.

С замиранием сердца иду к домику, затем к кабинету главного врача. Все, кого я встречаю по пути, отводят глаза. Сестры смотрят в пол... Я, еще не отдавая себе отчета в увиденном, машинально замечаю, что у служащих больницы руки перевязаны бинтами и главврач не исключение: у него перетянуты бинтами обе руки. Он разговаривает со мной, запинаясь на каждом слове. Суть его рассказа сводится к тому, что с собакой они не смогли справиться. Гвидон не давал к себе даже прикоснуться, злобно рычал и не выходил из своего вольера на прогулки. Это было похоже на добровольный уход из жизни. Он был брошен и предан.

Я увидел Гвидона: он очень исхудал. Гвидон отворачивал морду, а я только повторял его имя, теребил за холку, всячески извинялся, целуя его в холодный нос.

Наше примирение состоялось, и мы вместе гордо прошествовали мимо персонала больницы и лежащих под капельницами кошек.

По-прежнему величественно Гвидон продолжал свой жизненный путь, которым я шел вместе с ним, зная каждый его шаг на этом пути.

Поздний период жизни Гвидона был непростым для меня. Однажды, будучи уже в преклонном возрасте, Гвидон – по моей вине – не выдержал длительного ожидания прогулки и сделал лужу в кабине лифта. Конечно, я не сказал ни

слова осуждения самому Гвидону, но категорически не хотел, чтобы это сделал кто-то другой. В растерянности вбежав в квартиру, я схватил в ванной комнате флакон духов «Шанель № 5» и вылил его в лифте на пол. Позже я удостоился всеобщих похвал за образцовое содержание лифта в чистоте и благоухании.

Не желаю касаться мрачных сторон жизни, поэтому остановлюсь на полуслове и закончу повествование, вспоминая счастливые минуты, проведенные с Гвидоном.

Замечательный человек, сопутствовавший мне по жизни, Тонино Гуэрра написал в одном из своих стихотворений:

Рай будет не раем,
если в нем не будет животных –
жирафа с длинющей шей
и птичьих стай, что уже не резвятся в воздухе...

К этому хочу добавить и моего Гвидона.

Мне всегда хотелось прочитать иероглифы в кратком послании Гвидону, но так и не удалось это сделать. И я желал бы услышать что-либо подобное словам Тонино в загадочном стихотворении тайванца.

Июль – октябрь 2019

Вячеслав КУРИЦЫН

Жыр

*записки литературного человека*¹¹

Секуция в Мещанской

Поручик Пирогов, описанный Гоголем в «Невском проспекте», был высечен немецкими ремесленниками: жестянщиком Шиллером, сапожником Гофманом и столяром Кунцем. Дело это имело быть более ста восьмидесяти лет назад в квартире упомянутого жестянщика в Мещанской (ныне Гражданская) улице в одно из воскресений. Впрочем, герой Гоголя оказывается в роковой улице, едва свернув с Невского, а потому логично предположить, что свернул он в Большую Мещанскую (ныне Казанская), а полное название улицы Гоголь зажевал ввиду скандальности ситуации. Высечь поручика императорской армии! Как такое возможно? Да вот так.

Поведение самого Пирогова в квартире Шиллера не слишком соответствовало высоким образцам. Углядев на проспекте привлекательную белокурую фрау, Пирогов при-

¹¹ Рубрику под названием «Записки литературного человека» Вячеслав Курицын вел в «Октябре» в 1996–1998 гг.

лип к ней самым беспардонным макаром; выяснив, что фрау замужем за жестянщиком, ввинтился в квартиру под предлогом заказать шпоры, на глазах мужа трогал ее за обнаженную до плеча руку и пытался целовать в губы, а явившись в выходной день в отсутствие хозяина, увлек барышню предложением потанцевать. Вовсе не желая поставить мужа в ложное положение, от танца немка («немки всегда охотницы до танцев», подчеркивает Гоголь) отказаться не смогла, выступила на середину комнаты, подняла прекрасную ножку, что Пирогова естественным образом восхитило и сподвигло на новые действия руками и губами, на сей раз вовсе чрезмерные. Тут-то и возникли в дверях подвыпившие ремесленники и, пораженные градусом харрасмента, совершили упомянутое надругательство.

То есть в финальном тексте стоит «поступили с ним так грубо и невежливо, что, признаюсь, я никак не нахожу слов к изображению этого печального события», но тут Гоголь лукавит, в черновике он слова нашел, но еще Пушкин, читая рукопись, предположил, что сцену «секуции» цензура вряд ли одобрит. Многоопытный сегодняшний читатель мог бы, пожалуй, бог знает что увидеть за формулировкой «поступили грубо и невежливо», но в 1835 году (первая публикация повести) такого рода избыточные ассоциации пронизывали воздух менее густо. Современники Гоголя должны были догадаться, что поручика побаловали розгами или ремнями.

Что было дальше? Пирогов пришел домой в гневе, бешен-

стве и негодовании, изобретая для подлых ремесленников самые страшные наказания – допустим, ссылку в Сибирь, но такого рода месть неизбежно была бы связана с публичным оглашением пироговского позора, и поручик в результате проглотил оскорбление. Вот она и появилась, искомая пищевая метафора. По дороге Пирогов зашел в кондитерскую, «съел два слоеных пирожка, прочитал кое-что из “Северной пчелы” и вышел уже не в столь гневном положении».

«Северная пчела» – ложный след. Я воспользуюсь случаем упомянуть, как приятно она обыграна в недавнем кинематографическом «Борисе Годунове» Владимира Мирзоева; Леонид Парфенов, имперский пресс-секретарь, дает там комментарии про Самозванца на фоне стенда с логотипами *Northern bee*. Но дело не в пчеле, а в пирожках, конечно. Что было внутри пирожков, автор не указал.

Бутерброды в Баден-Бадене

Щеголь Ворошилов, выведенный Тургеневым в «Дыме» как типичный представитель псевдолиберального пустопорожества, поначалу, в третьей главе, ест и пьет мало, больше старается пересказать что-либо из свежего выпуска «Азиатик джёрнал» (он так и говорит – «джёрнал», хотя по-английски не знает). Но в двадцатой главе он подвергается не то что уж прямо оскорблению, но несомненному наезду со стороны главного героя «Дыма» Литвинова. Литвинов, огорченный собственным недостойным поведением в отношении к любящей его девушке, встречает близ Конверсационсгауза, что в Баден-Бадене, Ворошилова в компании с Пищалкиным и в сердцах говорит первому, что он пуст, как бубен, а второму, что он скучен до обморока. Время действия – 1862-й, Гоголь давно и многократно прочитан и переварен, рецепт изживания оскорбления украшен биркой.

«Оба молодые человека изумились; Ворошилов даже вопрос себе поставил, не требует ли офицерская честь удовлетворения? – но, как гоголевский поручик Пирогов, успокоил себя в кофейной бутербродами».

С чем бутерброды – снова не указано. Почему бутерброды, а не слоеные пирожки; ведь цитировать Гоголя так уж цитировать, нет?

Потому, наверное, бутерброды, что пирожки уже были.

Герой «Андрея Колосова» (ранний рассказ Тургенева, первый вообще опубликованный, вышел в 44-м, через девять лет после «Невского проспекта») сделал предложение девушке, на следующий день должен говорить с отцом, но позорно увильнул. Позже он встретил на улице барышню, похожую на обманутую, «пустился бежать без оглядки и отдохнул только в кондитерской, за пятым слоеным пирожком». Тут ссылки на Гоголя нет, но и так понятно. С чем пирожки – опять торжественное умолчание.

С чем же? С чем они – пирожки и бутерброды?

Да с чем же, с чем же эти волшебные, отсасывающие позор пирожки-бутерброды, с чем они: с лимоном, с мясом, с визигой, без ничего? С мясом, дерзко предполагаю я.

В чем вообще секрет фокуса, фокус секрета: съел – и оп, живи дальше? Унижение потому и названо унижением, что именно вниз человек соскабливается со стены бытия, к плевкам усоногим, а значит, нужно совершить ему обратное движение, вскарабкаться на какой-никакой верх. Ощутить в утешение могучность свою, силу свою утвердить. Неплох, в принципе, для этого и другой человек, понезначительнее: вытер об него ногу-другую и будто бы уже на коне. Так, собственно, опозоренный самим собой Литвинов и поступает, назначая на роль коврика Ворошилова, а уж Ворошилову приходится обращаться к пирожкам. Еда – это обладание, обладание деньгами, кои можно обменять на объект более непосредственного обладания, а потом обладание и самим уже этим вкусным объектом. Если я что-то, простите, ем, то уж, извините, имею над поедаемым так или иначе власть, ха.

Животная жертва, животная (в ранних текстах Тургенев норовил писать жызнь через «ы») поубедительнее растительной, что говорить. Одно дело пшеница, утлый колосок, волнуемая любым ветром нива, и совсем другой расклад, если

оно недавно бегало, хрюкало, мычало, желало, а с точки зрения некоторых религий даже обладало пусть небольшой, но душой. Недаром начертана на небесах пищевая пирамида, и человек там на самой вершине, ибо сам он ест кого угодно, вплоть до страуса и слона, а его никто – ну, как правило, мы о правилах – в рационе не держит. Поймал, пищи оно сколько влезет, оторвал ноги, освежевал, поперчил, на вертеле на-вертел, подкоптил, разделал – только я, только ты, только мы, лишь человек звучит настолько гордо.

Лукавый читатель потребует личного опыта: так уверенно сочиняет сочинитель, что позор можно зажрать пирожком, – сам, значит, знает. Да-да, был у меня в Петербурге период, когда я потерял, как там выражаются, управление, и торпеда жизни, сорвавшись с болтов, калечила то одних родных, то других близких, то меня самого, а я с одной стороны Сенной площади, потом с другой ее стороны (чуть, кстати, не на Гражданской-Мещанской) заливал слабость водкой по рецепту Довлатова («пьет каждый день, а еще у него бывают запои»), а заедал чудовищным околосенным общепитом. Пил я ради разнообразия впечатлений и из общего интереса к человечеству не дома, а в рюмочных – вокруг Сенной в них нет недостатка, – совершал за день два-три круга по пяти-шести рюмочным, и когда в двух подряд просто замахнешь рюмку и прочь, то в третьей можно и закусить.

В рюмочной «Цветы» я брал бутерброд с сервелатом: Костя Агунович сказал как-то, что в «Цветах» неплохой серве-

лат, и, хотя ясно, что любой сервелат из питерской рюмочной мало отличим от кала, информация эта в мозг мне запала, и мозг ею пользовался. В рюмочной имени писателя Сергея Носова в начале Московского проспекта (так ее называли коллеги из группы «Петербургские фундаменталисты») ассортимент был наиминимальнейшим и возглавлялся brutальным прямоугольником ослепительно-белого сала на жухлом квадратике серого хлеба. У Носова, кстати, есть роман «Голодное время», там книголюбы едят на своих сходках книги, а потом выясняется, что и людей они тоже едят – тема серьезная для города на Неве... но нет, нет, не отвлекаемся. Рюмочная DVD выходила прямо на самую Сенную, и там я ежедневно позволял себе «шпротный набор»: долька лимона, окурок огурца и три безглавые шпротины, обильно одухотворенные маслом.

Вот это масло, а еще пуще – жир сарделины, сального шмата, сервелатного лоскута, жир, жир – вкус жира и висит теперь надо мной символом тех тягостных будней... помню, вырвавшись как-то с заседания «Анонимных алкоголиков», кинулся я в безымянную рюмочную на Гороховой, жажнул стопятьдесят и прикусил в кровь палец, слишком безапелляционно набросившись на шмат ветчины. Жыр – это самый сок жизни, жизни, исток ее и исход, субстанциональная ее сердцевина... у меня был один знакомый, представитель криминальных структур, который в целом казался личностью невыразительной, но однажды я застал в его устах

синтагму «свиная рулька» и навсегда запомнил, как озарилось в этот момент его лицо калейдоскопичным внутренним светом.

Рога в Берлине

Из девятнадцатого столетия – не слишком лихо ли переметнулись мы в двадцать первое? Сюжет будет неполон без щедрого на колбасные мотивы двадцатого. Антон Петрович, пропечатанный Набоковым в рассказе «Подлец», раньше времени вернулся из командировки, из Касселя в Берлин. В спальне своей он застал одевающегося Берга, за дверью ванной комнаты весело журчала вода. Берг – недавний знакомец, сильный, ловкий, убивший на гражданской (не улице, войне) 523 (sic!) врага (чему был посвящен маленький его снайперский блокнотик с крестиками) – и тут Антон Петрович, мирный, интеллигентный – что-нибудь вроде коммивояжера, такое что-нибудь, безобидное, эстетика выживания... и бздык! и такая коллизия! и Таня еще не вышла из душа, а Антон Петрович уже швырнул Бергу в морду (в лицо, думали? нет, в морду!) перчатку (попал, правда, в аквариум).

И вот он уже трясется в электричке с двумя своими секундантами (один из них – по фамилии Гнушке), а Берг со своими – в соседнем вагоне, семь утра, двадцать шагов без барьера, дуэльных пистолетов не нашли, но два браунинга нашли, и колеса выстукивают «на у-бой, на у-бой, на у-бой». Дотащились, есть немножко времени, можно зайти в придорожный трактир промочить горло, тут я вспоминаю, как в детстве обращал внимание на частое выражение «промочить

горло» во «Всаднике без головы», и думаю, что Морис Джеррард был столь же безголов, сколь и шпрота, так и Антон Петрович пытается отвлечься сторонними мыслями, а уже некогда, пора на дуэль. Антон Петрович идет в туалет, видит проход на двор и высачивается на двор, а там бегом, мимо кур, мимо бузины, дыра в заборе, сосновая роща, солнце, птицы наявивают... Антон Петрович жив-жив. Но горше ему, чем поручику Пирогову, ибо пассаж с Пироговым останется лишь в памяти Шиллера, Гофмана и Кунца, а тут, помимо Берга, об истории узнает... лучше не думать. Из анонимных алкоголиков мне особо запомнился один, который раньше мучился от мыслей, а теперь приходил в секцию с разгрузочно-погрузочных работ и говорил одно и то же – как прекрасно так намахаться мешками-лопатами, что мыслей в голове ни одной, «ни о чем не думаю, ни о чем, так это прекрасно...» – и на следующем заседании опять повторял.

Что Антон Петрович? Пару часов блуждал по лесу, вышел к станции Ванзее, поезд тут же подошел, Антон Петрович не растерялся, прыгнул в поезд, доехал до Берлина, а уж там растерялся... Что? Куда? Ничего, некуда. Снял грязный номер, постонал, погресил, представил всё, отогнал, представил опять, отогнал и это. Посмотрел на плюшевое кресло, на пухлую постель, на умывальник, и этот жалкий номер в этом жалком отеле показался ему той комнатой, где отныне ему придется жить всегда. Присев на постель, снял башмаки, облегченно пошевелил пальцами ног, заметил, что натер пят-

ку и что левый носок порвался. Потом он позвонил, заказал бутерброд с ветчиной. И когда горничная поставила на стол тарелку, он замер и, как только закрылась дверь, обеими руками схватил хлеб, засопел, сразу измазал пальцы и подбородок в салe и стал жадно жевать.

Электричка до Нахабина

Последний абзац, добрую последнюю половину его, скопипастил я у Набокова, и все вроде замкнулось, но недоставало пуанта, я не мог его обрести в холодильнике, ибо давно забыл, как выглядит сало и сервелат, и пошел в дождь, без зонта, как то подобает писателю, пребывающему в изыскании пуанта. Город оказался Москвой – бульвары, ярмарка пингвинов, мед в хохломе – я добрал до «Винзавода», довольно, надо сказать, жирного места, где во дни сомнений вернисажей собирается до пяти сотен очень недурно одетых людей. В этот вечер вернисажей не было, жир фонарей плыл в лужах умеренно, шла лекция про гаджеты по типу дронов, бродили мокрые влюбленные. Но нет, все же вот один вернисаж: Валерий Чтак, выставка под названием «Города РФ». Тридцать с хвостиком небольших холстов с типовыми домами, где два, где три, где с балконом, где без, унылое однообразие, нарисовано крайне минималистично, но названия при этом указаны разные – Казань, Екатеринбург, Омск. Пуант наметился, ёкнул, завертелось в голове про одинаковые квартиры, которыми нафаршированы эти дома – и в каждой почти из квартир, вы знаете, в каждой, почти в каждой!!! – и вчера, и сегодня, и завтра люди ели, едят и будут есть жирное, жирное.

Я дошел до Курского вокзала, ближайшая электричка ока-

залась до Нахабина; ну, по-своему и это великолепно. Я сел в электричку. Собирался ли я застать там несчастного москвича, направляющегося на дуэль с Мюллером или Шмидтом? – нет же, какие дуэли в девять осеннего вечера. Кого я соби-рался застать? Они зашли тут же: колобок моего возраста и его более молодой и молчаливый коллега. Колобок зашел с громкой возмущенной репликой: «А! Ишь ты! “Только с моего разрешения”. Наглец!» – и было ясно, что цитируемый наглец завелся у них в офисе или на производстве, хрен с горы, новоиспеченный начальничек подал голос, и мой ге-рой-колобок, не будучи в характере жестко прокоммуници-ровать с наглецом, возмещает сейчас перед младшим колле-гой свое подлинное отношение.

По трансляции закрылись двери – «следующая станция – Каланчёвская». Пусть, подумал я, они всё уже сразу быстро сейчас мне сделают, дадут пуант, и я слезу на Каланчёвке. Ну не надо ведь мне взаправду в Нахабино.

Ну и всё. У колобка зазвонил телефон, интонация резко сменилась, очень виновато, прищипленно говорил он с же-ной, что только-только сел в электричку, ибо задержался на работе, что было явной правдой, пьяной истории за пассажи-рами не виднелось, «Витя, на сколько мы сели?» – «На два-дцать пятьдесят четыре». – «На двадцать пятьдесят четыре». Колеса тынц-тынц. Интонация колобка сменилась еще раз, третья оказалась не лучше двух первых, с молодым коллегой он говорил как бы на равных, но при этом подчеркнуто мате-

рился (близость!) и елозил подковырками и смешками (мы-то с тобой понимаем!). Опять затилибомила жена. «Алло? Да-да»... – испуг, чего она снова? И сразу улыбка: «А, колбаски! Конечно, куплю колбаски».

Все верно, колбаски!

В этот момент обрубилась смурная пром-жд-зона, полилось в окно фальшивое золото Комсомольской площади, завжикали под мостом гордые московские автомобили, и я двинул в тамбур.

Павел СЕЛУКОВ

Два рассказа

Сом

Мой отец не любил фотографироваться. Ни с мамой, ни со мной, ни с друзьями. Зато когда он поймал на рыбалке двадцатипятикилограммового сома, то устроил грандиозную фотосессию. Прямо на берегу мужики запечатлели его на «Поляроид» в самых разных позах. На снимках отец качал сома на руках, лежал возле него, интимно открывал рыбе рот, радостно держал за хвост. После фотосессии мужики разделали сома и поделили.

Вернувшись домой, отец тут же бросился показывать фотографии маме. Я тоже присутствовал при этом событии и заметил, что вся эта возня вокруг рыбы маме неприятна. Потом отец убежал в соседний подъезд – показывать снимки приятелю, которому не посчастливилось побывать на великом промысле.

А мама посмотрела на меня и тихо сказала:

– Очень жалко, что я не сом.

В ее голосе было столько грусти, что, когда она уснула, я достал фломастер и подрисовал ей усы. Как у сома.

Синдикатчики

Тяжело складывалась жизнь Чугайнова. Мало того, что он был собой, так еще Сережка Колупай обошел его на повороте. Чугайнов торговал «синдикатом». Звучит амбициозно. В действительности Чугайнов торговал бормотухой. Была она у него самая обыкновенная, с привкусом огурца, когда рыночный спирт и вода из-под крана вступают в нездоровые отношения. Колупай мыслил ярче и придумал нововведение. Его бормотуха шла с лимоном и толикой димедрола, на который ему удалось раздобыть рецепт. У Чугайнова, понятно, никакого рецепта не было. И тот и другой жили в микрорайоне Комсомольский. Его построили пленные немцы, а когда увидели, что построили, сразу все умерли, а русские собрали манатки и пошли туда жить. Я тоже там жил. В двухэтажной общаге на первом этаже.

В общаге всё было бедным, и только скамья у подъезда обладала некоторым богатством. Изогнутая, длинная, с бетонными слоновьими ногами, сложенная из толстых досок, она притягивала к себе все окрестные зады. Уже года три скамьи считались на Комсике дефицитным товаром. Жители первых этажей уничтожили их ради семейного уюта. Я их не виню. Ради семейного уюта что только не уничтожалось. Например, романтика. Или свобода. Или самобытность. Почти все слова, которые нам немного стыдно произносить вслух. В

отсутствие конкуренции роль общажной скамьи многократно возросла. Волк с Уолл-стрит сказал бы, что ее акции взлетели вверх. Естественно, право первой посадки было у жителей общаги. Если вы думаете, что в общежитии жили обыкновенные колдури, то вы ошибаетесь. Там жили колдури необыкновенные.

Комнаты в общежитии стоили дешево, а если речь шла об аренде, то и вовсе сущие копейки. Этим пользовались разнообразные свободолюбивые личности, не желающие жить с родителями или, что еще хуже, с женами и детьми. Достаточно сказать, что там жил я, Чугайнов и Колупай, но я все-таки назову еще пару имен. В пятой комнате жил художник Агапкин. Он рисовал углем, пил исключительно из горлышка и любил толстых женщин. Это как скачки, говорил он, надо за что-то ухватиться, чтобы не упасть. И Агапкин хватался. Например, за продавщицу кваса Тамару, чей муж восьмой год сидел на зоне. Когда в общежитии вырубали отопление, Агапкин сказал: «У нее титьки – во! На одну лег, другой укрылся и зимуй на здоровье». Все мы ему немножко завидовали. В седьмой комнате обретался бард Гена. Бардом быть очень удобно: назвался бардом и с тобой никто не спорит.

Если Агапкин был длинным, тощим, гладко выбритым, похожим на пьющего клоуна, только без грима, то бард Гена будто бы родился ему в пику. Кряжистый, невысокого роста, с недобородом в виде разросшейся щетины, он напоминал молодого гнома, хотя молод не был. Если бы бард Гена

родился женщиной и за каким-то чертом вышел замуж за Агапкина, после чего родил бы ему сына, то этим сыном стал бы Чугайнов. В смысле телосложения он застрял где-то посередине между «родителями». Колупай отошел от него на несколько шагов. То есть он отошел бы, но обварился в бане, окатившись с пьяных глаз кипятком. Лил Колупай на голову. Агапкин в шутку называл его Гуимпленом. Собственно, я перечислил всю нашу общажную компанию, когда речь заходила о выпивке. А теперь представьте: июль, вечер, приглушенное солнце, богатая скамья, а на скамье водка, нарезанное яблочко, два стакана, я, Агапкин и бард Гена с двумя гитарами.

Гена: Вот смотрите. Это – современная гитара. Цена – пятнадцать тысяч рублей. Я у брата взял. А вот это – гитара тысяча девятьсот семьдесят четвертого года выпуска. Цена – двадцать три рубля.

Агапкин: И что? В совке лучше было, да? Ты к этому клонишь?

Агапкин недолюбливал Советский Союз, потому что несуществующие вещи приятно недолюбливать. По крайней мере, глубокое чувство не предполагает никаких действий.

Бард Гена встрепенулся.

Гена: Нет! Отстань от меня. Я про музыку. Вот, слушайте.

Бард Гена перебрал струны современной гитары.

Гена: Слышите?

Я: Что мы должны услышать?

Гена: Слушайте, как услышите. То есть – прочувствуйте.

Агапкин: Ты дурак?

Бард Гена пропустил обзывательство мимо ушей, взял советскую гитару и перебрал струны.

Гена: Ну? Слышите разницу?

Агапкин: У тебя пальцы толстые.

Я: Вроде звук чище.

Бард Гена хлопнул ладонью по деке.

Гена: Вот! Он слышит. А ты сам дурак.

Агапкин: И что ты этим хотел сказать?

Гена: Как такое возможно? Эта двадцать три, а эта пятнадцать, а звук чище? Этой тридцать пять, а у той молоко не обсохло. Почему так?

Агапкин: Тьфу! Одно слово – бард. Развел философию на ровном месте.

Агапкин рассердился и разлил водку. Выпили. Закусили сочным яблочком. Из подъезда вышел Колупай. С подушечкой для сидения. Колупай обожал сидеть на лавке и поэтому купил подушечку. Поручкались. Налили Сережке. Дали.

Агапкин: Сережка, мне показалось или у тебя бормотуха желтизной стала отдавать?

Колупай: Стала. Лимон добавил. И димедрол.

Гена: О как! Коктейль получается.

Колупай: Коктейль не коктейль, а людям нравится.

Я: Им всегда нравится. Ты не замечал?

Колупай: Пьют, конечно. Но с лимоном приятней. Кис-

линка такая. Вынести на пробу?

Агапкин оживился. Он любил угощения. Бард Гена тоже не возражал. Я не отказывался из принципа. Колупай скрылся в подъезде, но уже через минуту вышел.

Колупай: Холодненькая.

Разлили. За этим занятием нас застал Чугайнов. Наше занятие ему не понравилось.

Чугайнов: Колдырите опять? Что это у вас?

Агапкин: Колупай угощает. Новинка сезона. Бормотуха лимонная с димедролом. Будешь?

Чугайнов волком посмотрел на Колупая.

Чугайнов: Ты зачем это делаешь?

Колупай: Что делаю?

Чугайнов: Лимон кладешь.

Колупай: Хочу и кладу. Так вкусней.

Чугайнов: Ничего не вкусней. Отцы не клали, и ты не клади.

Колупай: Ты бухой, что ли?

Чугайнов: Сам бухой. Димедрол еще. Я не кладу, и ты не клади. Если щас все начнут что попало класть, как мы жить будем?

Колупай: Ты чужим прибылям не завидуй. Я ж не виноват, что у тебя не берут. Вот, попробуй. Оцени продукт.

Колупай налил полстакана и протянул Чугайнову.

Чугайнов: Не буду. Химия одна. ГМО. Травишь народ почему зря.

Колупай: А ты, значит, не травишь?

Чугайнов: Вода и спирт у меня. Ими не потравишь.

Гена: Мужики, хорош собачиться.

Агапкин: Нет уж, пусть собачатся. Все лучше, чем про твои гитары слушать.

Я молчал. Наплывал сладкий туман. Хотелось ссать, но я откладывал. Приближалась невесомость.

Колупай: Ты чего пристал? Торгуй чем хочешь. Димедрол добавляй, добавляй лимон, слова не скажу.

Чугайнов: Не скажет он... Последний раз спрашиваю: уберешь лимон с таблетками или нет?

Колупай: Не уберу. Мой рецепт, фирменный. Всем нравится. Вам нравится, мужики?

За всех ответил беспощадный Агапкин.

Агапкин: Очень нравится. Амброзия. Грешно за пятнарик продавать.

Колупай: Поднять, думаешь?

Агапкин: Своим – нет. А чужим и за двадцатку можно.

Чугайнов скривился, как в морге.

Чугайнов: Я тебе отомщу!

Колупай: В морду дашь? Так я тебя до Пролетарки пинать буду. Давай прямо шас, хочешь?

Чугайнов не хотел. Он был тонким человеком и поэтому убежал домой. А мы все прилично нагрузились, пели песни, шатались по району, а утром проснулись с дикого бодуна. Я вяло оделся и вышел во двор. По двору вспугнутой курицей

бегал Колупай. Бард Гена и Агапкин плевались на корточках. Тамара курила на крыльце.

Скамья исчезла. Остались только слоновьи ноги, поваленные плашмя.

Колупай внезапно остановился.

Колупай: Я всё понял! Это Чугайнов! Он мне так мстит.

Агапкин: Да не мог он. Сам на ней сидел.

Гена: А пошли к нему зайдем?

Тамара: Ё...нутые.

Всей гурьбой мы поднялись на второй этаж. Колупай заколотил в дверь.

Колупай: Чугунина, отдай скамью! Это наши с тобой дела. Не впутывай...

Колупай не понял, кого надо не впутывать, и замолчал.

Дверь отворилась. На пороге застыл Чугайнов с разбитой губой.

Агапкин: Это кто тебя так?

Чугайнов: Не знаю. Я ночью подышать вышел, а они доски гвоздодером рвут. Ну, я в драку. Огреб. Ноги, правда, не дал унести. Лежат ноги?

Колупай: Лежат. Малорик ты. Доски найдем, ноги главное. Спас скамью. Ну почти.

Гена: Сколько их было?

Чугайнов: Четверо. Здоровые.

Агапкин: И ты полез?

Чугайнов: А что было делать? Наша же скамья.

Я: Убить могли. Нас бы хоть крикнул.

Чугайнов: Я кричал. Вас, бухих, не добудишься. А они уже тащат.

Колупай: Бля, Чугайныч. Ты ваще в порядке. В одну каску отбил.

Чугайнов: Отбил. Я знаю, что ты нашу скамью любишь. Мы с тобой покусались вчера, но все равно ведь...

Колупай: Все равно, конечно. Хочешь, я как раньше буду продавать?

Чугайнов: Без лимона и таблеток?

Колупай: Да.

Чугайнов: Мне уже похер, но так будет правильнее. Нельзя людей травить. Пойду прилягу, башка гудит.

Чугайнов ушел к себе, а мы пошли искать доски для новой скамьи. Сварганили. Решили отметить. Поперли в лес на шашлык. Курица, водка, корейская морковь. Стоим – жарим. Смотрим: Чугайнов доски от предыдущей скамьи охапкой несет. Они цветные, мы их знаем. Его Агапкин первым заметил. Заметил и говорит:

– А вон Чугайнов скрывает следы преступления.

Немую сцену нарушил бард Гена:

– С выдумкой человек. И зачем ему это?

Вдруг меня осенило:

– Чтоб Колупаю под шкуру залезть! Чтоб он бормотухой с димедролом не торговал! Он сам себе губу разбил, представляете?

Мы этому открытию так удивились, что даже бить его не пошли. А потом пошли. Как не пойти-то? Колупай палку с земли подобрал и говорит:

– Ну всё. Щас я ему и нос разобью.

Теперь Чугайнов торгует бормотухой с лимоном и димедролом и не восстает против новаторских идей. Мы его, конечно, сначала побили, но потом Колупай дал ему димедрол. Он его каждый месяц ему дает. За большие деньги. А Чугайнов клянется, что сам себя не бил. Будто бы он напился с горя, разломал ночью скамью; пока ломал, ударился, доски домой спрятал, а утром, когда мы пришли, испугался и наврал. Но это он снова врет, со стыда и от совести. Во всяком случае, мы с мужиками придерживаемся самобытной версии.

Анна МАТВЕЕВА

Коллекция

Эссе¹²

Стать музой для гения, запечатлеться в веках, оставив свой след (весьма изящный) в литературе, музыке и живописи – многие женщины о таком лишь мечтают. Но для Мизии Серт признание великих было нормой жизни: гении в ее жизни исчислялись десятками. Ренуар и Пикассо, Стравинский и Равель, Пруст и Кокто, Малларме и Верлен каждый по-своему восхищались Мизией, благосклонно принимавшей от них знаки внимания: сонеты, портреты, балеты... Да, Мизии повезло жить в эпоху, когда творили гиганты, а еще она, вероятно, была несравненной красавицей?..

Трудное детство

Портреты кисти Ренуара, Тулуз-Лотрека, Боннара, Вюйара, Валлоттона, а также фотографии, в изобилии дошедшие до потомков (Мизиа любила позировать и в наше время была бы звездой «Инстаграма»), решительно свидетельствуют:

¹² Книга Анны Матвеевой «Картинные девушки» будет опубликована в издательстве АСТ (Редакция Елены Шубиной).

красавицей мадам Серт не была. Какая уж там несравненная – даже если сделать скидку на устаревшие каноны красоты, все равно – ничего особенного. Широкое лицо, коротковатый нос, тонкие губы... Современники, впрочем, так не считали. Каждый утверждал, что Мизиа – само совершенство: отмечали королевскую осанку, пышные волосы, миндалевидные глаза и так далее. По части характера отзывы разнились: например, французский дипломат Филипп Бертело считал, что мадам Серт «не следует доверять то, что любишь», а писатель Поль Моран, приклеивший Мизии ярлык *пожирательницы гениев*, утверждал, что ее «пронизывающие насквозь глаза еще смеялись, когда рот уже кривился в недобрую гримасу». Но эти «некоторые» общей погоды не делают: разве можно поставить Морана и Бертело в один ряд с Верленом или Полем Клоделем?

Так в чем же он был, секрет Мизии Серт? Почему великие мира сего выстраивались в очередь со своими кисточками, нотами и чернильницами, чтобы увековечить, воспеть и навеки оставить в людской памяти эту, аккуратно скажем, неплохую внешность? И только ли во внешности здесь дело?

Конечно, для того чтобы судить наверняка, надо бы иметь возможность общаться с Мизией Серт вживую, но мы ее, увы, лишены. В воспоминаниях очарованных современников Мизиа предстает язвительной и оболстительной, наивной и решительной, любопытной и нежной, не боящейся крепкого словца, прямолинейной до бестактности, букваль-

но помешанной на том, чтобы быть – или слыть – оригинальной. Но главным ее качеством, тем самым секретом, была, судя по всему, бешеная энергия, она и превращает женщин с неплохой внешностью в истинных красавиц и застит глаза даже людям с острым зрением. Кроме того, Мизиа обладала великолепным вкусом даже по меркам изысканнейшей «прекрасной эпохи» и никогда не жалела денег на то, чтобы помочь талантливому человеку сказать свое слово в искусстве.

Вот уже и проясняется, правда? Но давайте обо всем по порядку.

Мария София Ольга Зинаида Гodeбская – этим именем, пышным, как букет георгинов, одарили девочку, родившуюся в Царском Селе близ Санкт-Петербурга 30 марта 1872 года. Мизиа (или Мися на польский лад) – это сокращение от первого имени, Мария. В жилах малышки текла бельгийская, польская, русская и еврейская кровь, но родным языком ее будет французский. Русского Мизиа никогда не знала, а местом ее рождения Санкт-Петербург стал по чистой случайности. Вот как описывала историю своего появления на свет сама Мизиа:

«Софи Гodeбска (мать Мизии. – А. М.) взяла письмо. При виде русской марки нежность осветила ее лицо. Уже больше шести месяцев назад ее муж уехал в Санкт-Петербург, почти на следующий день, как она узнала, что снова беременна... <...> Едва она пробежала несколько строк, как смертельная бледность покрыла ее лицо. В письме, написанном

грубым почерком на дешевой бумаге, ей сообщали, что Киприан Годабски в Царском Селе, куда его пригласила княгиня Юсупова, чтобы он занялся убранством ее дворца, живет с молодой сестрой ее матери (теткой Софи. – А. М.), которая ждет от него ребенка. Письмо, разумеется, анонимное. В одно мгновение Софи приняла решение. В тот же вечер, поцеловав двух маленьких сыновей, на восьмом месяце беременности она тронулась в путь, чтобы проделать три тысячи километров, отделявших ее от человека, которого обожала.

Один бог знает, каким чудом ледяной русской зимой добралась Софи Годабска до цели своего путешествия!

Поднялась по ступенькам уединенного, занесенного снегом дома, прислонилась к косяку двери, чтобы перевести дух и позвонить. Знакомый смех донесся до нее... Рука Софи опустилась. <...> С глазами, полными слез, она спустилась по ступенькам и добралась до гостиницы.

Оттуда написала брату о своем несчастье, которое так велико, что ей остается только умереть...

На другой день Годабски, уведомленный о том, где находится его жена, приехал как раз вовремя, чтобы принять последний вздох Софи. Она успела дать мне жизнь. Драма моего рождения должна была наложить глубокий отпечаток на всю мою судьбу.

Отец отвез меня к своей любовнице, моей двоюродной бабушке, которая кормила меня грудью вместе с ребенком, родившимся от него. Похоронив жену в Санкт-Петербурге, он

увез меня в Алль¹³, в дом, который так трагически покинула моя мать».

Действительно, жизнь маленькой Мизии началась с подлинной трагедии, но все, что происходило далее, напоминало, скорее, сказку. Ее отец, скульптор Киприан Годабский, был сыном одного известного польского писателя и внуком другого. Мать Софи Серве родилась в семье знаменитого бельгийского виолончелиста и композитора (в городе Халле по сей день стоит памятник Франсуа Серве, созданный его зятем Киприаном). Бабушка по материнской линии была русской, она близко дружила с бельгийской королевой, любила искусство и драгоценности, меценатствовала, ценила хорошую кухню и наслаждалась жизнью. Ее дом в Халле в окрестностях Брюсселя стал родным для Мизии, в нем она провела первые десять лет своей жизни, слушая музыку, которая не смолкала ни на минуту. В каждой комнате здесь стояло пианино, в доме подолгу жили талантливые музыканты, ограниченные в средствах, – бабушка считала своим долгом помогать им. Спустя годы то же самое на свой лад будет делать ее внучка.

В мемуарах Мизиа вспоминала бабушку с некоторой иронией: «Я застала ее старой, похожей на папу Льва III... С культом музыки у бабушки соседствовал культ еды» и так далее, но все равно чувствуется, что девочкой она была очень привязана к экзальтированной старой даме. И, конечно, та

¹³ Современное название – Халле (Бельгия).

во многом повлияла на Мизию, задав высокий стандарт роскошной жизни, которому мадам Серт будет следовать всю свою жизнь. Ну и любовь Мизии к музыке, конечно же, родом из детства: «Мои детские уши, – писала она, – были так переполнены музыкой, что даже не помню, когда я научилась распознавать ноты. Во всяком случае, много раньше, чем буквы».

Пока Мизиа пропитывалась музыкой в Брюсселе, ее отец познакомился в Варшаве с некой мадам Натансон и, женившись на ней, спустя несколько лет перебрался в Париж. Туда же велено было доставить детей – старших мальчиков Франца и Эрнста и маленькую Мизию.

Ателье отца на улице Вожирар девочке страшно не понравилось. По сравнению с роскошным брюссельским домом, особняк выглядел угрюмо и мрачно, к тому же мачеха, как в сказке, терпеть не могла падчерицу. У мадам Натансон были собственные дети от первого брака: сын-эпилептик и дочь-туберкулезница. Позднее от брака с Киприаном родится Сипа, сводный брат Мизии, обожаемый всеми женщинами своей семьи, но пока никакого Сипы еще в проекте не было и детям Годабским доставалось от мачехи не на шутку. После очередного скандала Мизиа решила сбежать из Парижа в Брюссель, к бабушке. Ее поймали на улице и чуть ли не в тот же день отправили в пансион – с глаз долой, подальше от проблем.

У мадам Натансон, помимо явных недостатков, имелись

и некоторые достоинства: она была чрезвычайно музыкальна и достаточно великодушна для того, чтобы признать наличие ярких музыкальных способностей у нелюбимой падчерицы. Это сыграло в жизни Мизии важную роль. Мадам Натансон наняла учителей для девочки, и та сразу же стала делать невероятные успехи.

Между прочим, летом, во время каникул у любимой бабушки в Бельгии, Мизиа познакомилась с Ференцем Листом – первым живым гением в ее жизни. Увы, Мизиа была еще слишком мала для того, чтобы прищипить сей экспонат, как бабочку, и в будущем присоединить к другим выдающимся людям своей «коллекции», но она на всю жизнь запомнила «лицо, усыпанное бородавками, и его длинные волосы». Лист, вспоминала Мизиа, «внушал мне дикий страх, когда сажал меня на колени и заставлял играть Багатель ми минор Бетховена. “Ах, если бы я еще мог так играть!..” – вздыхал гениальный старец, ставя меня на пол». Ноги девочки не доставали до педалей, но играла она, если верить мемуарам, столь блестяще, что даже Ференц Лист, бывший не только гениальным композитором, но и превосходным пианистом, был в полном восторге. Нетрудно догадаться, впрочем, что от Мизии всегда и все приходили в полный восторг, иначе и быть не могло. Она с детства привыкла быть в центре внимания, ведь нет ничего проще, чем занять это место: надо всего лишь определить, где он находится, этот самый центр, и оказаться там раньше других. Желательно поближе

к знаменитым, богатым, утонченным, талантливым и привлекательным. Лучше всё сразу. Вуаля!

Кстати, среди меломанов Европы в те времена был в большой моде не Лист, а Вагнер, бывший, к слову сказать, женатым на дочери Листа Козиме. Разумеется, Мизиа помнит и Козиму, и Александра Дюма-сына, и, как уже было сказано, бельгийскую королеву, навещавших бабушку запросто, по соседски.

Вот таким было детство юной Марии Годабской. С одной стороны, вокруг нее уже тогда вертелся целый свет, с другой – она никому не была нужна по-настоящему, не была любимой дочерью или внучкой, ее попросту передавали из одного дома в другой, как неодушевленное существо, куклу с музыкальными способностями... Когда счастливые бельгийские каникулы закончились, девочку отвезли к богатым бездетным родственникам по фамилии Костер, эта семейная пара жила в Генте, и у мужа с женой были довольно странные отношения. Несмотря на юный возраст, Мизиа понимала, что дядя не слишком любит и ценит свою супругу. Молодая и красивая женщина страдала от одиночества, от скуки и однажды просто легла в постель, насмерть уморив себя голодом. Найти оправдание жизни в чем-то другом, кроме любви, этой бельгийской «мадам Бовари» и в голову не пришло, а Мизиа в очередной раз оказалась никому не нужна. Решили отправить ее в Париж, но не к отцу с мачехой, а... в монастырь Святого Сердца. Трудно вообразить себе менее

подходящее место для этой юной и своенравной особы! А ведь ей пришлось провести там шесть долгих лет.

Восхождение мадемуазель Годабской

В монастыре, по собственному признанию Мизии, она ничему не научилась. Другие дети смеялись над ней, потому что девочка носила пластинку для выпрямления зубов, и это печально сказывалось на ее речи. Мизиа пыталась проявить себя другим способом: скатывала ночную рубашку и подкладывала ее сзади под платье, чтобы походило на турнюр, царивший в моде взрослых дам. Монахини требовали убрать турнюр, Мизиа покорялась, но с утра вновь появлялась на уроках в том же виде.

Девочек здесь учили манерам: оттачивали умение делать реверанс, правильно разговаривать и обращаться к тем, кто ниже их по происхождению, с верной интонацией. Любимым днем Мизии был четверг, когда ее возили на уроки музыки к Габриэлю Форе. Этот одаренный композитор и педагог заложил тот фундамент, на котором возросло впоследствии ее исключительное мастерство пианистки.

Отец Мизии к тому времени перебрался со своей новой семьей в особняк близ парка Монсо, в самое престижное место Парижа. Здесь Годабских навещали друзья и знакомые, в числе которых был знаменитый писатель Альфонс Доде с супругой. Автор «Тартарена из Тараскона» пребывал тогда уже

в преклонных летах и страдал нарушением координации – Мизиа с братьями наблюдала, как неловко он поднимается по лестнице особняка, и всякий раз дети надеялись, что писатель однажды не справится с испытанием и полетит вниз. Доде их надежд не оправдал.

Как-то ночью, на шестой год пребывания в монастыре, Мизию разбудили и повезли в особняк к отцу. Оказалось, что внезапно скончалась мачеха. Киприан Годабский оплакивал жену недолго, тело мадам Натансон еще не остыло, когда отец Мизии отправился за утешением к своей любовнице маркизе де Говилль. Таким уж он был человеком... Вскоре у Мизии появилась новая мачеха, а предыдущая, хоть и обижала девочку при жизни, оказалась невероятно щедра после смерти: она завещала Мизии триста тысяч франков и все свои роскошные драгоценности. Увы, бриллианты присвоила жена-преемница, но Мизиа не держала на нее зла, потому что искренне любила ее: маркиза была не только прелестна, но еще и отзывчива, и нежна со своей падчерицей. Мизиа писала ей из монастыря такие письма, что монахиня, перлюстрировавшая почту, сказала девочке: «Дитя мое, только Бога можно так любить. Будьте осторожны. Если вы будете и дальше в жизни так любить, это убьет вас». Вскоре отец и маркиза уехали в Брюссель, а Мизиа осталась в монастыре одна-одинешенька. К счастью, у нее была музыка, именно ей она теперь отдавала все свои чувства, всю свою страсть и любовь.

Музыка всегда была верна Мизии, чего нельзя сказать о людях... Даже обожаемая мачеха со временем превратилась в мегеру, позднее Мизиа скажет, что причиной этого стал алкоголизм, ведь маркиза де Говилль «вместо завтрака пила большой бокал шартреза, макая в него хлеб». Третья жена отца попросту спивалась и в ходе этого процесса изводила окружающих почем зря. Козлом отпущения стал вначале старший брат Мизии Эрнест, а потом и маленький Сипа. От общества Эрнеста родители избавились жесточайшим образом: вначале сослали его в исправительный дом, после – в военную школу и, с глаз долой, в Индокитай. Сипа был вынужден мириться с постоянными придирками, истериками и капризами сильно пьющей маркизы, ну а Мизиа... Здесь, как говорится, нашла коса на камень. Девушка уже вошла в тот возраст, когда послушной быть не хочется и не может в равной степени, и после очередного скандала, разгоревшегося из-за пустяка, мадемуазель сбежала из брюссельского дома отца, где проводила каникулы. Она одолжила у старого друга родителей приличную сумму и уехала в Антверпен, где села на пароход, плывущий в Лондон. Для восемнадцатилетней девушки (в воспоминаниях, правда, Мизиа убавила себе четыре года, но это делают многие дамы, так что не станем придирааться) она действовала весьма решительно и уверенно, но стоит ли этому удивляться? Достаточно вспомнить детство мадемуазель Годабской, где чуть ли не каждый день готовил ее к самостоятельной и независимой жизни.

Итак, 1890 год, Лондон. Мизии восемнадцать – вся жизнь впереди. Гении, с которыми ее вскоре сведет судьба, пока что не подозревают о существовании этой удивительной женщины: каждый занят своим делом. Мизиа тоже. Денег, одолженных в Брюсселе, на красивую жизнь не хватает, она снимает комнату в семейном пансионе, покупает пианино и гуляет по улицам Лондона в свое удовольствие. Это версия самой Мизии, так сказать, официальная, но есть и другая. Говорят, что мадемуазель Годабская сбежала в Лондон не от мачехи, но с любовником. Сын близкой подруги Мизии рассказывал, что будущая мадам Серт познакомилась в Бельгии с известным художником-символистом Фелисьеном Ропсом, который был старше ее на сорок лет, масон и чуть ли не сатанист. И вот с этим-то самым Ропсом Мизиа отправилась в Англию, откуда вернулась в Париж спустя несколько месяцев одна. Если эта версия правдива, то свою коллекцию знаменитостей Мизиа пополняла непрерывно, начиная с юности: Ропс был в свое время достаточно знаменит, дружил с Бодлером, прославился как книжный иллюстратор и так далее.

По возвращении в Париж Мизиа сняла себе квартирку вблизи авеню де Клиши и продолжила брать уроки музыки у Габриэля Форе. Новости из Бельгии она получала нечасто, и одна была печальнее другой. Старший брат Эрнест погиб в Тонкине, причем в тот самый день, когда Мизиа сбежала из дома. А мачеха, узнав о бегстве девушки, через несколько

дней надела траур, как бы похоронив заочно свою строптивую падчерицу...

Общаться с родителем и его супругой желания не было, зависеть от них финансово – тем более. Мизиа попросила любившего ее Форе найти ей учеников, она готова была давать уроки музыки, чтобы зарабатывать на хлеб и роскошные излишества, которые значили для нее не меньше, чем хлеб. И Форе не подвел: учиться у Мизии захотели ни много ни мало дочери русского посла Бенкендорфа, а следом и его жена. Говорят, на посла произвело впечатление происхождение Мизии: то, что она родилась в Царском Селе, как-то сразу вызывало доверие. Так или иначе, но заполучить таких учениц было огромной удачей. Дамы семьи Бенкендорф боготворили Мизию, она получала восемь франков за урок и страшно гордилась своей независимостью.

Прекрасная эпоха прекрасной Мизии

Создатели американской мыльной оперы «Санта-Барбара», знай они о Мизии Серт, ушли бы на долгий нервный перекур куда-нибудь в сторонку: по сравнению с реальными хитросплетениями жизни этой выдающейся женщины происхождения заокеанских миллионеров выглядят надуманными и скучными, как утренние шоу для домохозяек. Мизиа, безусловно, была режиссером своей судьбы, но главную роль, как, впрочем, и в любой жизни, играл все-таки случай.

Париж – большой город, здесь можно годами ходить по одним и тем же улицам, не встречая знакомых, и надо же было Мизии вскоре после возвращения во Францию встретить на каком-то углу мсье Адама Натансона, брата своей первой мачехи. Этот богатый польский банкир был женат на русской, и у них, вновь как в сказке, было три сына: Александр, Таде и Альфред. Маленькой девочкой Мизиа никогда не поверила бы, что будет однажды носить ненавистную фамилию сварливой мадам Натансон, но случай все решил на свой лад. Таде влюбился в Мизию, она отнеслась к нему с симпатией, но, прежде чем этот роман окончился свадьбой, будущий свекор попытался навести порядок в жизни девушки, которой всегда симпатизировал. Он устроил грандиозный скандал родителям Мизии: как те посмели оставить юную особу без средств к существованию, почему она вынуждена давать уроки и прочее и прочее... Вторая мачеха оправдывалась, угрожая снова сдать Мизию в монастырь, но та уже крепко стояла на ногах, так что все остались при своих. А Мизиа – еще и при Таде, попросившем у Киприана Годабского руки его единственной дочери.

Все складывалось вроде бы наилучшим образом, довольны были все, за исключением старого учителя Габриэля Форре: тот уже видел Мизию блестящей концертирующей пианисткой и считал, что все замужние женщины по определению несчастны. «Но я начала понимать, – писала Мизиа в мемуарах, – что свобода возможна только вдвоем, и одино-

чество меня тяготило».

Перед свадьбой Мизиа навестила любимую бельгийскую бабушку, изрядно к тому времени обедневшую: слишком уж роскошные пиры она закатывала в своем доме, слишком крупные для этого требовались средства. Пришлось даже обратиться за помощью к зятю, тому самому дяде Костеру, который не справился с воспитанием племянницы, и тот помог теще исключительно из тщеславия, как считала Мизиа. В конце концов, к ней ежедневно приезжала бельгийская королева – надо же было оказать той достойный прием! Кроме того, в доме бабушки наша героиня познакомилась с художником Ван де Вельде, прибавив к начатой коллекции знаменитостей еще один экспонат. Ван де Вельде, помимо прочего, привил Мизии вкус к хорошей литературе – открыл ей Метерлинка и Гюисманса.

Свадьбу сыграли через месяц после бабушкиной смерти, дядя объявил Мизию своей единственной наследницей, а полученное приданое, как сказано в мемуарах, «полностью ушло в лучший бельевой магазин Брюсселя». Экономить и жить по средствам – это явно не про Мизию!

В Париже молодожены поселились на улице Сен-Флорантэн, увековеченной впоследствии кистью Эдуарда Вюйара, влюбленного в Мизию. Вюйар – один из главных «хроникеров» ее жизни, Мизиа оценила его талант первой в Париже (и во всем прочем мире, ведь, как известно, Париж – это и есть весь мир!). Художник-символист, вместе с Пье-

ром Боннарром, Морисом Дени и Полем Серюзье он принадлежал художественному течению «Наби», для которого характерны декоративность, насыщенные цвета и некий сознательный примитивизм. «Набиды» в то время были известны чуть ли не наравне с импрессионистами, да и теперь их работы украшают коллекции многих видных музеев. Вюйар особенно любил изображать интерьеры, где много тканей и драпировок. Его мать была модисткой, и он, можно сказать, вырос среди прекрасных дамских нарядов. Мизиа, с ее любовью к роскошным туалетам (особенно если они с перьями и кружевом), не могла не восхищаться Вюйара, и за свою жизнь он сделал множество ее портретов.

Выйдя замуж за Таде, Мизиа одновременно с новой фамилией и защищенностью от бытовых невзгод приобрела возможность пополнять свою коллекцию знаменитостей. Таде с братьями возглавлял знаменитый художественно-литературный журнал «Ревю бланш», ими же и основанный. «Белый журнал» появился среди прочих как дань моде времени, но просуществовал значительно дольше конкурентов – во многом благодаря прекрасному вкусу своих создателей, широте их мировоззрения и, не в последнюю очередь, финансовым возможностям братьев Натансон. Сюда отдавали свои произведения для первой публикации Золя, Верлен, Малларме, Пруст, здесь печатались Аполлинер и Мирбо, Дебюсси вел в журнале музыкальную рубрику, иллюстрации предоставляли уже упомянутый Вюйар, а также Валлоттон, Редон,

Синьяк, Тулуз-Лотрек (он, кстати, сделал для рекламного плаката «Ревю бланш» портрет Мизии на катке) и некоторые импрессионисты. Здесь, как мы бы сейчас сказали, *тусовались* Колетт, Боннар, Леон Блюм, Поль Валери, знаменитый маршан Амбруаз Воллар, Жюль Ренар и так далее и так далее... Настоящая кузница гениев – вот чем был «Ревю бланш» на стыке веков, и это мы еще ни слова не сказали о переводной литературе, которую здесь тоже публиковали. Благодаря усилиям братьев Натансон и Мизии, также весьма активно включившейся в процесс работы над выпусками журнала, французские читатели знакомились с новинками Оскара Уайльда, Льва Толстого, Марка Твена, Генриха Сенкевича и даже Максима Горького.

Любопытно, что в создании «Ревю бланш» отметился каждый из трех братьев Натансон. Идею выпускать журнал высказал младший, Альфред, он же стал литературным критиком издания. Александр отвечал за финансирование, так как был самым успешным и богатым из братьев. Ну а Таде взял на себя художественную критику и общее руководство, в чем ему, как уже было сказано, помогала Мизиа.

В чем состояла ее работа? Ну, во-первых, она вдохновляла гениев. А во-вторых, читала рукописи, рассматривала иллюстрации и по мере сил поддерживала тех, кто в этом нуждался (практика показывает, что в поддержке нуждаются все, даже гении). Например, Тулуз-Лотрека, Боннара и Вьюара в пору расцвета «Ревю бланш» никто всерьез не воспри-

нимал. Как вспоминала сама Мизиа, над ними насмеялись, «вешая их картины вверх тормашками». Клод Дебюсси играл для нее (и других гостей, но в первую очередь, конечно, для Мизии!) «Пеллеаса и Мелизанду», сам исполняя все партии – он только что завершил работу над этой оперой и очень интересовался мнением мадам Натансон. Мизиа оценила оперу не сразу, но после стала преданной ее поклонницей и с Дебюсси дружила бы, верно, до самой смерти, если бы не вечная привычка помогать окружающим. Когда великий композитор бросил свою первую жену и та серьезно бедствовала, Мизиа с друзьями (среди которых был Морис Равель) договорились платить ей маленькую ренту, а Дебюсси воспринял это как оскорбление. Тем не менее, спустя годы, в 1918 году, Мизиа среди немногих друзей придет на похороны Дебюсси, и, когда его брошенная супруга предложит купить несколько страниц из рукописной партитуры «Пеллеаса», наша героиня тут же согласится. В этих поступках – вся Мизиа, ее безграничная щедрость и страсть к искусству. Понять, где одно переходит в другое, иногда бывает крайне сложно.

Но вернемся в эпоху «Ревю бланш», когда еще все живы и здоровы, а многие шедевры пока даже не начаты: чистый холст, новая страница, пустая нотная тетрадь... Это была действительно эпоха, та самая «бель эпок», о которой Европа тоскует вот уже второе столетие кряду. Модерн, позолота, изящные дамские наряды и деньги рекой: да здравству-

ет Третья Республика! Мизиа соответствовала своему времени на сто процентов; «прекрасная эпоха» стала тем фоном, на котором ее в общем-то стандартная внешность засияла, будто сто тысяч солнц. Она принимала поклонение и восторги как должное и не переставала делать все новые и новые приобретения для своей коллекции гениев, даже специально ездила в Норвегию, чтобы познакомиться с модным драматургом Ибсеном, а до кучи и с композитором Григом. Впрочем, просто знакомиться, общаться, дружить, влюблять в себя скучно даже с гениями! Намного интереснее оставить собственный след в истории музыки, литературы и живописи, пусть даже в качестве музы, а не блестящей пианистки или писательницы.

Если бы Мизию назвали натурщицей, она бы, разумеется, оскорбилась. У мадам Натансон отныне отсутствовала необходимость зарабатывать на хлеб сеансами. Но ее темперамент был слишком мощным для того, чтобы просто тихонько сидеть в углу, как делали многие жены. Он рвался наружу так решительно, что гении, слетавшиеся на яркий свет, бежали наперегонки, лишь бы запечатлеть несравненную Мизию. Вюйар, тот и вовсе влюбился в нее и впоследствии писал ей нежные, хоть и совершенно невинные письма. А вот как сама Мизиа говорила о своих отношениях с гениями: «Всегда считала, что художники гораздо больше нуждаются в любви, чем в поклонении. Я их любила, любила их работу, разделяла их горести и радости, их счастье жить. Сегодня творе-

ниями моих друзей полны музеи. С тех пор, как они стали общепризнанными сокровищами, можно, ничем не рискуя, боготворить, поклоняться им. Я счастлива, что умела в обыденной жизни по-своему любить их, и с улыбкой вспоминаю ту беззаботную и вечно вибрирующую молодую женщину, которой была тогда и портреты которой висят сейчас на стенах Эрмитажа в Петербурге и заполняют страницы каталога коллекции Барнса в Филадельфии!»

Вскоре супруги Натансон приобрели дом в деревеньке Вальвен близ Фонтенбло, их ближайшим соседом стал Стефан Малларме. Здесь в гостях у Мизии и Таде бывали Тулуз-Лотрек, Вюйар, Боннар. Двоих последних так было прямо не выпроводить! Малларме приходил сюда обедать – и слушать, как Мизиа играет на рояле Шуберта и Бетховена. Он посвящал ей стихотворения, Верлен – сонеты, Тулуз-Лотрек украшал меню рисунками, но не все эти сокровища сохранились. А домик оказался недостаточно велик для того, чтобы принимать здесь всех, кто изъявлял желание навестить Натансонов, так что вскоре Таде приобрел в Вилльнёве новый, большой дом, когда-то служивший почтовой станцией.

Работа над «Ревю бланш» была для Мизии удовольствием и к тому же позволяла проявить отменный литературный вкус, который у нее, без сомнения, был. Так, Мизиа утверждала, что первой открыла никому не известного тогда писателя Костровицкого, прославившегося впоследствии под

именем Гийом Аполлинер. Роман, присланный из-за границы, так понравился мадам Натансон, что она уговорила Таде пригласить автора в Париж. Аполлинер, Пикассо, Золя, Верлен, Метерлинк, Ренуар, печально известный Дрейфус – список живых экспонатов коллекции Мизии пополнялся с каждым днем, проще сказать, кого она не знала, нежели наоборот. Но при этом Мизиа была по-настоящему верным другом, на которого гении всегда могли рассчитывать, чего бы это ни касалось, и даже после смерти своих друзей она хранила верность их памяти. С разницей в два года Франция потеряла Верлена и Малларме. Стоит ли говорить о том, что и для Мизии это была огромная утрата, которую она переживала необычайно тяжело.

Но потом жизнь, конечно, продолжалась. Появлялись новые имена, которым лишь предстояло стать великими, появлялись и новые портреты Мизии. Тулуз-Лотрек, карлик-великан, писал ее за фортепиано, требуя, чтобы натурщица постоянно играла «Афинские руины» Бетховена (Берн, Художественный музей), так надоел со своими «Руинами», что модель в конце концов начала придираться к портрету, дескать, и нос непохож, и глаза не мои, и вообще... Мизиа считала, что Лотрек отомстил ей за такое поведение на свой лад, изобразив молодую женщину в образе мадам из публичного дома. Он состарил Мизию на добрый десяток лет, добавил ей столько же килограммов, а рядом изобразил таких же малосимпатичных Вюяра и Валлоттона. Таде здесь изображен

сидящим спиной к зрителю, что выглядит не слишком гостеприимно. Картина называлась «За столом у месье и мадам Натансон».

Да, это было, пожалуй, самое захватывающее время в жизни Мизии, но при этом она не могла бы назвать себя совершенно счастливой, не покривив душой. Любовь и настоящую страсть к мужчине ей тогда заменяла любовь – и настоящая страсть! – к искусству, а Таде имел все возможности для того, чтобы позволять этой любви быть деятельной и счастливой.

Сводный брат Сипа тем временем женился на польке из Кракова, и Мизиа присутствовала (по чистой случайности, как утверждала) при рождении ее дочки, своей племянницы Мари-Анн. Своих детей у Мизии не было, и эта девочка заменила ей дочь: Мизиа любила Мари-Анн, восхищалась ее красотой и выдающимися способностями. Неудивительно, что Мари-Анн, когда выросла, стала вслед за теткой вдохновлять гениев: ей посвящали свои произведения Равель и Сати, да и сама она была талантливейшей поэтессой. Равель, кстати, не обидел и Мизию. Совсем недавно, уже в наше время, музыковед Давид Ламаз нашел в черновиках Раделя зашифрованное имя всеобщей музыки бель эпок.

Муж из машины

Между тем двадцатый век набирал обороты. Дела у «Ревю

бланш» шли все хуже, Таде в поисках денег на издание занялся добычей белого угля в Каннах, и процесс в конце концов захватил его целиком. Так белый уголь вытеснил из жизни Натансонов «Белый журнал» – полуживое издание передали в чужие руки, и былая слава «Ревю бланш» навек осталась в прошлом.

Неунывающая Мизиа занималась строительством виллы в Каннах, начала коллекционировать антиквариат, а также приобрела один из первых в Париже скоростных автомобилей, разгонявшихся, страшно сказать, до тридцати километров в час! Еще с большей скоростью, впрочем, вскоре разгонится судьба самой Мизии, вот только она об этом пока что не догадывалась. Все так же согревала заботой гениев, позировала своим любимым художникам и вдохновляла поэтов и композиторов на новые сочинения...

Таде тем временем наделал долгов и вынужден был искать инвестора. Вот тут-то и явился, как бог из машины (а точнее, выскочил, как черт из табакерки), господин Альфред Эдвардс, основатель самой тиражной европейской газеты «Матэн», богач и бонвиван. Эдвардс был женат на дочери знаменитого психиатра Шарко, изобретателя всем известного душа, но наличие жены совсем не исключало общения с другими приятными дамами, магнат был до этого дела большой охотник. Он согласился стать инвестором Таде, сам же отчаянно увлекся его женой Мизией, которая была на шестнадцать лет младше богача. Чувство взаимным не было,

Эдвардс не интересовал Мизию даже при всех своих деньгах, связях и положении в обществе. Но магнат не привык капитулировать перед дамскими капризами и вел наступление прямо-таки по всем фронтам. Публично ухаживал за Мизией в опере, приглашал ее с мужем в гости, отправлял по домашнему адресу Натансонов целые клумбы цветов и названивал по новомодному телефону почем зря. Мизия так устала от навязчивого внимания Эдвардса, что начала прятаться от него и сочинять истории о том, что она уехала в долгое путешествие. Но однажды они случайно (ох уже эти случайные встречи!) столкнулись нос к носу на бульваре Осман, и магнат пошел на штурм с новой силой.

На сей раз он проявил прямо-таки ветхозаветную изобретательность и отослал неугодного мужа на угольные копи в венгерский Колошвар – почти как царь Давид услав Урию с глаз долой, чтобы скрыть свой грех с Вирсавией. Только вот у Вирсавии уже было кое-что с Давидом до отъезда Урии, а Мизия хранила верность супругу или, скорее, себе самой: Эдвардс не нравился ей, именно это обстоятельство было решающим. Она жаловалась на излишнее внимание со стороны магната, пыталась отговорить Таде от поездки, но тот не воспринимал слова жены всерьез: «Речь идет об огромном финансовом предприятии, а не о любовной истории!»

Разумеется, стоило Таде уехать в Венгрию, как Эдвардс уже стучал в дверь его парижской квартиры. Мизия не открыла. Она сидела взаперти с Тулуз-Лотреком, который

очень вовремя начал работать над ее новым портретом. Но и Эдвардс не отступал: забрасывал Мизию письмами, умолял о встрече, и в конце концов она согласилась пообедать вместе с ним и его женой. Приехала к ним в дом, старалась не замечать накаленной атмосферы за столом, вела светские беседы... Эдвардс реагировал странно, был бледен и, не дождав-шись десерта, ушел к себе в комнату. А его супруга вдруг схватила Мизию за рукав и сказала: «Как вы можете так играть сердцем Альфреда!»

Мизиа слушала мадам Эдвардс и не верила своим ушам: та уговаривала ее стать любовницей Альфреда, иначе он совсем сойдет с ума и оставит семью. Тогда как Мизии показалось, что с ума сошла эта женщина, предлагающая невозможное! Расплакалась, убежала из этого ненормального дома и решила тут же поехать в Венгрию, к Таде. Слуги собрали чемоданы, и уже на следующий день Мизиа заняла место в «Восточном экспрессе».

Дальше все было как в кино, впрочем, вся жизнь Мизии – это сплошное кино! Она еще до Вены не доехала, как в дверь купе постучали и в дверях появился Альфред Эдвардс собственной персоной. Магнат приставил к своей избраннице детектива, который сообщил о ее бегстве, и влюбленный тут же пустился в преследование.

Мизиа не поехала в Венгрию. Она сняла номер в венском отеле, здесь же остановился и Эдвардс, к счастью, в другом крыле. И вел он себя куда спокойнее прежнего, как будто был

уверен в том, что теперь ей некуда от него деться. Но Мизиа не сдавалась: она телеграфировала Таде, чтобы он срочно приехал, и еще послала телеграмму художнику Вюйару в Париж. Искала у мужа и друга защиты и помощи.

Вюйар (тоже, как мы помним, влюбленный) немедленно прибыл на помощь, а вот муженек явно не спешил покидать Венгрию... Только тогда до Мизии стало, наконец, доходить, что на самом деле происходит! Таде успел наделать страшных долгов: он потерял все свои деньги и даже сбережения Сипы, брата Мизии, которые тоже вложил в дело, не принесшее никакой выгоды. Эдвардс, по выражению Мизии, прибыл в Вену как бог из машины, появился в пятом акте, чтобы все уладить. Он был готов простить Таде потерянные баснословные суммы, но только при одном условии: тот должен развестись с женой и освободить путь самому Эдвардсу. Супруга магната ошибалась: он не хотел, чтобы Мизиа стала его любовницей, он мечтал жениться на ней!

«Устрой всё! – сказал Таде по телефону, когда Мизиа в панике звонила ему из Вены. И добавил: – Я пропащий человек». Вот так деньги в очередной раз одержали верх над любовью и преданностью. После долгого выяснения отношений, мук совести и слез Мизиа отдала Таде два больших изумруда, с которыми никогда не расставалась. Вскоре они развелись, и в 1909 году Мизиа стала женой Альфреда Эдвардса.

Этот вынужденный брак, как ни странно, оказался весь-

ма приятным. Альфред страстно любил Мизию и нежно заботился о ней, а его баснословное богатство привнесло в ее жизнь много новых возможностей.

Отныне мадам Эдвардс с супругом проживали в чудесной квартире на улице Риволи, а еще у них был в собственности старинный замок. Правда, Мизиа вскоре уговорила мужа его продать. «Земельная собственность никогда ничего не значила для меня», – признавалась Мизиа. И то верно – в сравнении с великим искусством вся эта недвижимость не имеет никакого значения. Коллекция знаменитостей переживала некоторое затишье. Второй муж покупал Мизии драгоценности и научил коллекционировать старинные веера, это было по-своему интересно, хотя собирать великие имена ей нравилось все-таки больше. Ревнивый Альфред через силу разрешал жене поддерживать общение с писателями и художниками и – что весьма великодушно! – тратить на них немалые суммы. Тулуз-Лотреку, смертельно больному в его тридцать пять лет, требовалась не только финансовая помощь, но и дружеское участие, и Мизиа была с ним до последних дней его жизни. Примерно в то время она познакомилась с Марселем Прустом, и впоследствии он выведет ее в своих романах сразу под двумя именами, княгини Юрбелетьевой (*Yourbeletieff, princesse*) и мадам де Вердюрен: «Когда, в пору триумфов русского балета, появилась открывшая – одного за другим – Бакста, Нижинского, Бенуа и гениального Стравинского княгиня Юрбелетьева, юная крестная мать

всех этих новых великих людей, носившая на голове громадную колыхавшуюся эгретку, о какой парижанки прежде не имели понятия, но при виде которой всем захотелось приобрести точно такую же, можно было подумать, что это чудесное создание привезли вместе с бесчисленным множеством вещей, как самое драгоценное свое сокровище, русские танцовщики».

Любопытно, что в это время Мизиа не считала себя сколько-нибудь светской дамой и, по собственному признанию, не могла разгадать загадку «людей света», коими Пруст был просто одержим. Ей было важнее знать, приятно ли общение с людьми, понимать, насколько они талантливы, чем пыжиться от осознания того, каким титулом они обладают. Но со временем она, конечно, стала настоящей светской львицей, потому, возможно, и вдохновила Пруста сразу на два ярких женских образа.

Новые имена

Во времена брака с Эдвардсом жизнь Мизии напоминала детально исполненную мечту молоденькой девушки: успех в обществе, деньги, интересные знакомые, новенькая яхта «Эмэ», отдых в Трувиле, купания и скачки... Гении вновь слетались к ней, как мотыльки, – за той разницей, что рядом с Мизией не было угрозы подпалить крылья. Напротив, она помогала всем и каждому, и вот уже, кажется, муж начал

смотреть искоса на то, как супруга тратит его деньги. Художнику ведь сколько ни дай, карманы у него все равно дырявые... Мизиа, кстати, не особо церемонилась со своими протеже да и просто со знакомыми гениями: вела себя с ними так же взбалмошно, как с простыми смертными. Когда великий Энрике Карузо репетировал на ее яхте перед выступлением, распевая неаполитанские песни, она, не терпевшая такого рода музыки, вдруг воскликнула: «Хватит! Не могу больше это слышать». Карузо был поражен: впервые в жизни его просили больше не петь!

Да и с Огюстом Ренуаром Мизиа вела себя более чем за просто, хотя впоследствии и раскаивалась в этом безгранично. Ренуар принадлежал к числу ее давних знакомых (и, не сомневайтесь, был также в нее влюблен).

Когда Мизиа переехала в новую квартиру на улице Риволи, Ренуар был уже очень знаменит, очень стар и очень болен. Артрит почти полностью парализовал его тело, но дух, как известно, параличу не подвластен, как, впрочем, и дар влюбляться. Знаменитый портрет в розовом платье (1907, Филадельфия, Фонд Барнса) Ренуар писал во много сеансов. Начинали рано утром, прислуга вкатывала кресло на колесиках в лифт, и вот уже Мизиа здоровалась со своим прославленным другом... Служанке приходилось прикреплять кисть к парализованной руке гения при помощи резинки, глаза его были всегда полузакрыты, но видел он все, что нужно, и считал, что видит недостаточно. Требовал спустить де-

колье ниже и страдал, что Мизиа не слушается, – чуть ли не плакал от досады. Спустя годы она будет жалеть о том, что не выполнила просьбу Ренуара обнажить перед ним грудь, в конце концов, это была просьба не мужчины, а художника! Никто не умел передать оттенок женской кожи так, как это делал Ренуар (разве что Тициан, но это было давно). Зря она стеснялась...

Из воспоминаний Мизии об этих сеансах можно узнать, что она довольно часто прерывала их, расстраивая Ренуара. Но светская жизнь требовала постоянного внимания к тем, кто пришел к тебе с визитом. Пусть даже в будуаре тебя ждет сам Ренуар с привязанной к руке кисточкой!

Своей близкой подруге Мизиа впоследствии признавалась, что Ренуар писал ей любовные письма, но она не решилась опубликовать их и спустя годы. Последовала совету одной специалистки, считавшей, что подобные письма стариков к молодым женщинам выглядят очень глупо. Письма исчезли, но портреты – их было восемь – остались, и с каждого из них на нас смотрит Мизиа, какой ее видел Ренуар. Она щедро вознаграждала художника за его работу. Когда портрет в розовом платье был готов, Мизиа послала Ренуару чек, где он сам должен был проставить любую сумму. Но мэтр проявил скромность, взяв лишь 10 000 франков, хотя Мизиа была готова заплатить и в десять раз больше.

Ренуар с симпатией относился к художникам-фаворитам Мизии – Вюйару, Боннару и другим ее поклонникам, среди

которых был выдающийся художник-символист Феликс Валлоттон. Но вот о Пикассо при нем даже упоминать не следовало: Ренуар тут же взрывался как порох (а Мизиа, между прочим, была свидетельницей на свадьбе Пикассо и русской балерины Ольги Хохловой). Второй ненавистный Ренуару живописец – это Эдгар Дега, но здесь причина разногласий была не эстетическая, а вполне себе житейская, бытовая. Кажется, они не поделили сферу влияния над племянницей Эдуарда Мане, в ту пору уже покойного, и ссорились так бурно, что в процесс вовлекались окружающие. Мизиа, впрочем, такой ерундой не занималась, ей значительно больше нравилось сводить своих гениальных друзей, чтобы они непременно подружились: ведь таланты так часто вдохновляют друг друга!

Вот, например, Серж Дягилев, в будущем самый близкий друг Мизии, ее земляк, создатель «Русского балета». Почему бы не познакомить Сержа с Ренуаром? Старый художник в момент стал главным любителем балета во всем Париже и преданным поклонником Карсавиной. Мизиа всегда брала ему ложу поближе к лестнице, чтобы можно было разместить инвалидное кресло. Ренуар аплодировал, не жалея бедных больных ладоней, делал комплименты мастерству танцовщиц, костюмам и декорациям Бакста, созданным для «Шехерезады». Какой бальзам для Дягилева! И как рада была Мизиа, что два ее обожаемых гения так прониклись творчеством друг друга...

Не скрывающий своих сексуальных пристрастий Дягилев заявил однажды Мизии, что она единственная женщина, которую он смог бы полюбить. Что ж, в этом не было ничего нового. В принципе, точку можно было поставить уже после слова *женщина*: она была действительно единственная. Одна такая на весь белый свет.

Именно Мизиа спустя годы утешала страдающего Сержа, когда тот рвал и метал, узнав новость о женитьбе Нижинского, разбившую ему сердце. Утешать Дягилева помогал очередной муж нашей героини – художник Хосе Мария Серт был его ближайшим другом, и Серж высоко ценил его талант.

Дружба с Дягилевым длилась до самой его смерти. Увы, Мизии пришлось хоронить и этого своего друга-гения. В ту пору она была в Венеции, и вместе с одной своей подругой (о которой будет сказано позднее) они купили место на кладбище Сан-Микеле, так как после смерти отца «Русского балета» не осталось ничего, кроме долгов. Верна до гроба – и после: точное определение Мизии, насмешливой, но при этом надежной, как скала...

Приглашения на спектакли «Русского балета» Мизиа отправляла не только Ренуару, но и Марселю Прусту. К сожалению, писатель уже был тяжело болен и отказался посетить ее ложу, но прислал Мизии чудесное письмо, где призывал «не быть такой скромной». Что, позвольте? Скромная? Это слово совершенно не подходит Мизии, но Пруст, оказывает-

ся, имел в виду вот что: «Вы единственная, кто мог сказать, что я сноб. Это не так. И Вы единственная, кто мог предположить, что я посещаю Вас из тщеславия, а не потому, что восхищаюсь Вами. Не будете так скромны...»

Пруст часто писал Мизии. Его письма казались ей бесконечными, и некоторых она даже не открывала! После смерти Пруста Мизиа отдала его письма кому-то, кто пожелал их взять, она была крайне беспечна и легкомысленна во всем, что касалось наследия своих «экспонатов». Вот так человечество и утратило посвященные ей сонеты Верлена, рисунки Лотрека, письма Пруста...

В своих письмах Пруст называл лицо Мизии «злым и прекрасным», но с большой симпатией отзывался о новом избраннике Мизии – Хосе Марии Серте, который вот-вот появится на сцене ее жизни.

Перемена фамилии

Любовь таких мужчин, как Эдвардс, ярко вспыхивает, ровно горит и быстро гаснет. Получив то, о чем мечтали, «эдвардсы» неизбежно начинают скучать и отправляются штурмовать новые вершины – сияющие, если любоваться ими издали, и горы как горы, когда увидишь вблизи.

Альфред очень любил театр и прекрасно знал мир сцены. Специально для актрисы Режан он перестроил «Театр де Пари», а потом, войдя во вкус, решил и сам сочинить одноакт-

ную пьесу. Называлась она «Потерянный попугай».

Любому драматургу хочется увидеть свое сочинение поставленным на сцене, а начинающему драматургу хочется этого с удвоенной силой. Мизиа не нашла для творения супруга ни одного доброго слова, раскритиковала пьесу почем зря, и он впоследствии «отплатил» ей за это, рассказав о своем триумфе над Таде в легкомысленной комедии «Рикошетом» – втором и, к счастью, последнем сочинении горе-драматурга.

Еще весной 1906 года Эдвардс познакомился с молодой актрисой Женевьев Лантельм, о которой в Париже ходили самые разные слухи. Будто бы она была дочкой хозяйки борделя и своеобразным символом заведения, где заправляла ее мать. Лантельм имела весьма непрочную репутацию, а еще в Париже поговаривали, что она интересуется не только мужчинами, но и женщинами. Вот такая артистка была утверждена на главную роль в пьесе Эдвардса, и он, как ехидно пишет Мизиа в своих мемуарах, не нарушил популярной традиции театрального мира, безумно влюбившись в нее. Все развивалось в точности так, как десятью годами ранее: Эдвардс установил слежку за Лантельм, с каждым днем увлекаясь ею все сильнее. Шестидесятилетний магнат страдал от неразделенной любви (а Лантельм была умна и не желала сдаваться быстро) так бурно, что не мог сдержаться и причитал прямо при Мизии: «Она такая страшная! Видела бы ты ее без косметики! Она тебе в подметки не годится! Я люблю

только тебя!»

Мизиа, впервые попавшая в ситуацию, когда мужчина рядом мечтает о другой женщине (ей это было в новинку и в диковинку), заказала портрет Лантельм и поставила его на свой туалетный столик, пыталась подражать ей в туалетах и прическах. Она считала свою соперницу неотразимой, а на Эдвардса, разумеется, злилась: мало того, что он не мог скрыть от нее своих чувств к другой, так еще и пытался отдариваться от Мизии очередными ценными подношениями. В конце концов Лантельм, конечно, сдалась, и Альфред стал ее любовником.

Мизиа не раз вспоминала первую жену Эдвардса, ту бедняжку, что уговаривала Мизию спасти их брак! Впрочем, здесь не на ту попали. Мизиа никогда не будет просить Лантельм ни о чем подобном, хотя Альфред беспрерывно уговаривал жену встретиться с актрисой и убедить ту «оставить нас в покое» (хотя кто кого беспокоил, это большой вопрос).

В конце концов Мизиа сдалась, а впрочем, ей было еще и любопытно увидеть наконец свою соперницу воочию. При входе в дом Лантельм Мизию обыскали. Вначале лакей, потом горничная желали убедиться, что у нее нет при себе оружия. Затем появилась роковая соперница и... тут же обрушила на Мизию водопад комплиментов. А потом сказала, что вернет ей мужа при трех условиях. Первое – миллион франков, второе – жемчуг, который был на шее Мизии, а третье – сама Мизиа. Она должна стать любовницей Лантельм.

Ну это уж было как-то чересчур! Мизиа сняла с шеи ожерелье, попросила несколько дней на то, чтобы собрать миллион, а что касается третьего условия, оно, простите, невыполнимо.

На том дамы и распрощались. Но не успела Мизиа доехать до дома, как ей уже прислали пакет с пресловутым жемчугом, а при нем письмо, где Лантельм уточняла требования: украшения и деньги отменяются, но не третье условие!

Мизиа была в ярости. Лантельм же, со временем поостыв к ней, почувствовала вкус к богатой и красивой жизни и стала постепенно отжимать у мадам Эдвардс ее драгоценности, а позднее «выселила» Мизию с любимой яхты.

Альфред оправдывался, обещал порвать с любовницей, но в конце концов ушел к ней навсегда, оставив жене записку в будуаре: он, дескать, обожает Мизию, но, будучи проклят судьбой, вынужден покинуть ее. Спустя четыре месяца после развода с Мизией в 1909 году магнат женился на Женевиев Лантельм, а Мизиа уехала вначале в Италию, потом в Нормандию, потом еще куда-то... Пруст в одном из писем с большим злорадством описывал сцену в «Гранд-отеле» Кобурга, коей он стал свидетелем: по чистой случайности здесь собрались Таде Натансон, Эдвардс с новой супругой и несчастная Мизиа. Впрочем, долго быть несчастной она попросту не умела и, когда, уже в Париже, ей представили испанского художника по имени Хосе Мария Серт, сразу же поняла, что черной полосе в ее жизни пришел конец.

Серт был на два года моложе Мизии, он был хорош собой, брутален и, наконец-то, талантлив! Два прежних мужа Мизии могли похвастаться чем угодно, кроме творческой одаренности, но Серт стал не просто новым мужем, но и достойным экспонатом ее коллекции, пришедшей в некоторый упадок. Он уже имел славу выдающегося художника-монументалиста, создавшего целую серию грандиозных панно и скульптур. Носил сомбреро и дивный плащ. Умел рассказывать восхитительные истории о самых бредовых вещах и так бурно при этом жестикулировал, что Мизиа не могла оторвать взгляд от его красивых длинных пальцев. Стоит ли удивляться, что она приняла приглашение Серта поехать с ним в Италию, а вскоре стала его женой, правда, сначала гражданской. Они обвенчались лишь двенадцать лет спустя, в 1920-м. Именно под его фамилией она захотела остаться в истории: мы помним Мизию Серт, а не мадам Натансон или Эдвардс... «Мой третий брак, – писала Мизиа, – на самом деле можно назвать первым, так как он единственный был подсказан сердцем и любовью».

Конечно же, Мизиа без устали работала, как мы бы сейчас сказали, на продвижение своего мужа. Она тянула его карьеру упрямо, как вол. А он развлекал ее, попутно и подспудно занимаясь образованием возлюбленной: ходить по музеям или театрам с Сертом было для Мизии истинным наслаждением. В Сикстинской капелле Серт доставал зеркало, чтобы она смогла разглядеть прекраснейший в мире потолок. В па-

рижском театре к нему спешил сам Дягилев, и вскоре Мизиа стала называть русского гения «своим ближайшим другом», просто Сержем или Дягом, как его звали самые близкие.

Вообще жизнь как-то снова наладилась. Мизиа сняла очередную чудесную квартиру на набережной Вольтера, Боннар расписал ей гостиную, а в гости сюда каждый день приходили Жан Кокто и Саша Гитри. Аристид Майоль предложил Мизии позировать, он задумал сделать памятник Сезанну и решил, что не стоит искать другую модель. «Самый ваш облик, думается мне, олицетворяет бессмертие», – писал знаменитый скульптор. К сожалению, Мизиа отказала Майолю, ей было так скучно позировать! Молодой и тогда еще малоизвестный композитор Франсис Пуленк посвятил мадам Серт свой балет «Лани», Эрик Сати называл ее Дамой и Волшебницей, уверяя, что сочинял балет «Парад», думая только о Мизии! Занавес к этому знаменитому балету, гвоздю программы «Русских сезонов» Дягилева, сделал Пикассо, а Жан Кокто работал для «Парада» как художник: Мизиа вновь сводила гениев вместе и была счастлива как никогда. Она стала свидетельницей триумфа Нижинского в «Послеполуденном отдыхе фавна», шокирующем балете, ставшем главным событием в карьере Нижинского-хореографа. Поставлен он был по мотивам эклоги давно покойного, но незабвенного Малларме, декорации и костюмы исполнил Бакст, а лучшую рецензию написал... великий Роден, назвав «Фавна» «совершенным воплощением античной эллинской кра-

соты».

Дягилев был невероятно одаренным человеком во всем, что касалось искусства, но, когда речь заходила о финансах, ему приходилось намного труднее. Вечные долги, страхи перед кредиторами, постоянное ожидание банкротства... К счастью, рядом всегда была верная Мизиа. Когда генеральную репетицию «Петрушки» задержали с условием немедленной оплаты костюмов, она помчалась на машине домой, чтобы дать Сержу нужные четыре тысячи франков. И, разумеется, это были не первые и не последние деньги, которые Мизиа тратила на «Русский балет», а также на нужды всех композиторов, художников и литераторов, которых опекала. Средства у нее были, да и Серт оказался вполне обеспеченным человеком благодаря полученному наследству и постоянным заказам, поступавшим со всех концов света.

Жемчужиной коллекции Мизии Серт стало знакомство с Игорем Стравинским, впрочем, в своих мемуарах она отзывалась о русском гении сдержанно. Была на стороне Дягилева во всех ссорах со Стравинским, считала, что свои лучшие вещи он создал во времена сотрудничества с Сержем и что даже славой своей Стравинский обязан Дягу. Мизиа писала, что успех вскружил Стравинскому голову, а вкус к деньгам, пришедший вслед за этим, довершил начатое. Он довольно часто присылал Мизии письма, в которых просил найти для него денег. Что ж, она помогала и Стравинскому, чьей музыкой искренне восхищалась, любила ее и понима-

ла, как понимали в то время немногие. Но по-человечески, пожалуй, осуждала его за неблагодарность, которую композитор проявлял к Сержу: Стравинский, в конце концов, заявил, что балет навлек на него анафему! «Знает бог, – вновь слова Мизии, – нужда художников никогда не оставляла меня равнодушной, но между нуждой и алчностью лежит целый мир – мир, в котором хочется, чтобы жили художники». Кстати, «Пьесы для квартета», которые Стравинский посвятил Мизии – в благодарность за многолетнюю поддержку, – ей решительно не понравились, и она вновь не удержалась от прямой и непосредственной оценки. «Вторую пьесу я ненавижу, слышите, яростно ненавижу!» – писала она Стравинскому.

Между тем, счастливое семейное плавание Эдвардса и Лантельм закончилось настоящей трагедией, причем слово *плавание* здесь стоит понимать буквально. Обожаемая Мизией яхта «Эмэ», которая отошла к сопернице вместе с драгоценностями и супругом, стала местом гибели третьей жены Эдвардса: летом, во время круиза по Рейну, Лантельм будто бы упала за борт и утонула в великой германской реке. Парижские сплетники такому повороту дел не поверили решительно, и вскоре в кулуарах стали бродить слухи о том, что Лантельм убил муж, столкнув бедняжку за борт. Кое-кто, впрочем, обвинял в ее смерти Мизию, так и не смирившуюся с потерей супруга и состояния. Мизиа, конечно, была ни при чем, ее интересовали лишь Серт и коллекция, а вот

Эдвардсу, ставшему вдовцом, пришлось судиться с клеветниками и требовать опровержений в газетах от самых ретивых журналистов.

Драгоценности тоже не принесли Лантельм счастья. В прессе зачем-то сообщили, что вместе с телом актрисы на кладбище Пер-Лашез погребены ее знаменитые бриллианты и жемчуга, и могилу тут же вскрыли воры, которым, впрочем, тоже не повезло: мимо очень кстати проходил полицейский и те бежали, бросив на месте свои трофеи. Позднее драгоценности были проданы с аукциона Друо, кроме того, парижане могли приобрести ковры, книги, мебель и даже белье Лантельм, чья жизнь так рано и страшно оборвалась.

Эдвардс – был он виновен или нет, история умалчивает – тяжело переживал кончину супруги. Он продал яхту, переехал в другой дом и пытался найти утешение в обществе молодых красавиц. Парижские остряки, увидав магната с очередной пассией, перешучивались: «Надеюсь, эта умеет плавать?» Ну а летом 1914 года Мизиа узнала, что ее ненавистный второй супруг находится при смерти. Мадам Серт не была злопамятной и проявила великодушие даже здесь: приехала проститься к человеку, который так обидел и унизил ее... Увы, Эдвардс умер за десять минут до того, как Мизиа вошла в дверь, она простилась уже с мертвым Альфредом и, как сказано в мемуарах, «ушла почти счастливая, чувствуя, что и он, и я словно освободились».

Новое время, новые имена

После смерти Эдвардса Мизиа не получила ни гроша – и не потому что магнат был скуп, а потому что сама поленилась подписать документы у нотариуса (позировать Май-олю, встречаться с нотариусами – помилуйте, какая скука!). При жизни Эдвардса она жила на проценты с ренты, но, когда магнат скончался, наша героиня осталась ни с чем. Впрочем, судьба любит легкомысленных: вначале Мизиа крайне удачно продала свою квартиру на набережной Вольтера, а после, когда уже началась война, ей удалось сохранить эти деньги: часом раньше моратория, когда были заблокированы все счета в банках, Мизиа забрала все до франка, повинувшись лишь собственной интуиции, и сама закрыла счет.

Война войной, коллекция – коллекцией. Привычный Мизии богемный круг был теперь разбавлен именами политиков и выдающихся военных. Она знакомится с Клемансо, Бертелло, Галлиени и Роланом Гарросом, прославленным летчиком, впервые в истории перелетевшим через Средиземное море (нет нужды говорить о том, что Гаррос однажды взял Мизию с собой в полет, и о том, что в редкие минуты отдыха она играла для него на рояле).

Впрочем, было бы несправедливо умолчать и о том, что Мизиа Серт делала во имя победы: при ее участии была сформирована колонна санитарных машин для оказания

первой помощи, организован сбор денег и вещей для Красного креста и так далее. Санитарами в ее колонне были Серт и Жан Кокто, который после мобилизации отправлял Мизии письма с фронта.

Пополнялась ли коллекция Мизии женскими именами? Хороший вопрос. Конечно, она отдавала предпочтение мужчинам, справедливо считая, что встретить среди них гения намного проще, чем среди женщин. Но для некоторых, разумеется, было сделано исключение. Сама Мизиа признавалась, что наибольшее восхищение из всех женщин у нее вызывала англичанка леди Рипон. «Единственная женщина, которая меня поражала», – говорила о ней Мизиа. Фрейлина английской королевы, знатная дама, леди Рипон стала еще и доброй феей «Русского балета», всесторонне поддерживая Дягилева.

Незадолго до Первой мировой Мизии представили юную танцовщицу, мечтавшую работать у Дягилева. Девушка решила показать товар лицом и исполнила при Мизии танец, будучи совершенно обнаженной. К сожалению, на мадам Серт эти ухищрения никакого впечатления не произвели, она сочла девушку бездарной и тут же забыла как ее имя, так и просьбу составить протекцию. Но девушка спустя годы напомнила Мизии о себе, теперь ее звали Мата Хари. «Банальная танцовщица из ночного клуба, искусство которой заключалось в том, что она показывала свое тело», – припечатала Мизиа, распорядившись, впрочем, чтобы бедняжке дали де-

нег, ведь она казалась такой нищей!

Ну а главный бриллиант женского раздела коллекции – это, конечно, дружба с Габриэль Шанель. Они познакомились в мае 1917 года и дружили, как было принято у Мизии, до самой смерти (на сей раз смерти Мизии). Мадам Серт была, по сути, рекламным манекеном, витриной творчества Шанель. Мизиа ввела Коко в артистические круги Парижа, с ее помощью та получала роскошные заказы. Именно Шанель была той загадочной подругой, которая разделила с Мизией оплату погребения Дягилева в Венеции.

И еще Шанель однажды попросила Мизию не упоминать о ней в мемуарах, дескать, она сама потом расскажет свою историю. Мизиа обещала выполнить просьбу и слово сдержала, но не смогла не фыркнуть: «История Шанель уже написана. Достаточно опубликовать твои бухгалтерские книги!»

Воспоминания Мизии, по мнению историков, грешат множеством неточностей и неувязок, иногда случайных, порой сознательных. Но о главной трагедии своей жизни она рассказывает так честно и печально, что ей нельзя не поверить.

В 1925 году, когда одна война закончилась, а вторая еще не думала начинаться, Хосе Мария Серт услышал звонок в дверь своего ателье. За дверью стояла незнакомая девушка лет двадцати. Она была прелестна, с нездешним шармом и говорила по-французски с приятным акцентом. «Вы думали, я натурщица? Но нет, меня зовут княжна Русудана Мдива-

ни, – сказала гостья. – Я скульптор».

Русудана, или Руси, как ее звали близкие, желала обучать-ся ремеслу у знаменитого монументалиста Серта. Она была грузинкой из Тифлиса, дочерью военного атташе русского царя и родной сестрой знаменитых «братьев-многоженцев Мдивани», любителей выгодных браков. Серт согласился давать уроки Руси и вскоре уже был по уши в нее влюблен. Конечно, это стало известно Мизии. Ох уж эти проклятые «треугольники», как будто в мире нет других геометрических фигур! Вновь, как в предыдущих своих браках, Мизиа оказалась между двух огней, и огни эти пылали так жаростно, что готовы были сжечь друг друга, а заодно и ее самое. Что ж, она знала, каково это – любить по-настоящему. Это значит «отдать мужчине все, и даже женщину, которую он любит...»

Руси по возрасту годилась им с Сертом в дочери, к тому же девушка совсем недавно потеряла мать. Да, чувства пятидесятилетнего Хосе Марии к своей ученице нельзя было назвать отеческими, но Мизиа привязалась к ней по-матерински, и вскоре они фактически жили втроем... И когда спустя год Русудана вдруг решила уехать из Парижа в Нью-Йорк, к братьям, Мизиа не хотела отпускать ее от себя. При этом она понимала, что девушка бежит прочь от Серта... И страстно мечтает найти себя.

Потом Русудана, конечно, вернулась, отношения с учителем и возлюбленным Сертом продолжились, и Мизиа, не же-

лая больше стоять между ними, согласилась подать на развод. В декабре 1927 года в Гааге брак Мизии и Серта был расторгнут. Всего через полгода Хосе Мария женился на Русудане. «Я чувствую себя при них то ли тещей, то ли свекровью», – жаловалась Мизиа в письмах Шанель, но не позволяла себе проявлять свои чувства при «молодых». Она искренне любила Руси, заботилась о ней и, когда юная художница заболела туберкулезом и умерла во цвете лет, страдала ничуть не меньше Серта. Переживания были так сильны, что Мизиа начала слепнуть. Ей казалось, что жизнь кончена, но впереди было еще много длинных лет...

Последние годы – печальные годы

После смерти Русуданы Хосе Мария так и не пришел в себя, хотя имел успех, признание и, конечно, поддержку и дружбу верной Мизии. Он был широко известен и во Франции, и в Испании, причем не только как художник, но и как подвижник, и как посол Испании в Ватикане во время Второй мировой войны. Серт умер в Барселоне после неудачной операции в мае 1945 года. Позже Мизиа писала: «Вместе с ним для меня исчез всякий смысл существования». Серта похоронили в крипте собора каталонского города Вика, собора, который он с такой любовью украшал и отделывал. Увы, все его труды были уничтожены во время Гражданской войны в Испании... Кто теперь помнит Хосе Марию Серта?

Разве что знатоки назовут фрески в нью-йоркском Рокфеллер-центре, да в воспоминаниях его великих друзей мелькнет насмешливая строчка об «излишнем пристрастии к золоченой краске», которую Серт и вправду питал...

Но Мизиа помнила и любила Хосе Марию до последнего вздоха, его – и Русудану. Когда Мизиа умерла, близкие открыли медальон, висевший у кровати, и нашли там фотографию Руси.

Гении умирали, уходили, и поздние годы Мизиа провела без прежней увлеченности своей коллекцией. Один за другим ее покидали близкие: вначале умер любимый брат Мизии Сипа, потом в страшной автокатастрофе погибла обожаемая племянница Мари-Анн. Угроза полной слепоты, сердечные приступы, одиночество... Общество Шанель и Пикассо, с которым они очень сблизились, лишь ненадолго отвлекают Мизию от дурных мыслей, а подлинное удовольствие приносят лишь музыка и маленькие деревья из полудрагоценных камней, изготовлением которых Мизиа увлеклась на склоне лет. Она диктует мемуары, уезжает в Венецию. Там, уже почти слепая, любит прекрасными картинами в Академии: когда-то давно они смотрели на них вместе с Сертом...

Шанель провела с Мизией ее последние годы, ставшие безжалостным, скорбным временем, когда единственным утешением для бывшей «королевы Парижа» стали наркотики. Злые языки утверждают, что она подсела на морфий так,

что делала себе инъекции чуть не прилюдно, через юбку, на улице. Теперь она совсем не следила за собой, почти не ела и исхудала до такой степени, что никто не узнал бы в этой тощей неопрятной старушке модель Ренуара и музу Стравинского.

В сентябре 1950 года век семидесятивосьмилетней Мизии подошел к концу, она слегла и больше не вставала с постели. «Знаешь, – сказала она незадолго до смерти своей подруге Дениз Мейер (будущей жене французского премьер-министра), – знаешь, жизнь вовсе не так прекрасна...» Ночью 15 октября Мизии Серт не стало. Она ушла спокойно и тихо, совсем не так, как жила.

Хоронила ее Коко Шанель: сама обмыла тело, причесала, нанесла грим и одела во все белое «от Шанель». На бледно-розовой ленте платья лежала белая роза.

Отпевали Мизию Серт в польском храме на рю Камбон, в двух шагах от Дома Шанель, близ Тюильри. А похоронили на небольшом кладбище Вальвена, в одной могиле с любимой племянницей, неподалеку от старого друга Стефана Малларме.

С тех пор минуло много лет, но в Доме Шанель о Мизии Серт помнят и теперь, как, впрочем, и во всем прочем Париже (а значит, в целом мире!). В 2012 году в музее Орсе прошла на редкость успешная выставка под названием «Мизиа – королева Парижа», где были собраны портреты мадам Серт, созданные великими мастерами, а также ее фотографии и

личные вещи. А в Доме Шанель спустя три года выпустили парфюм, названный лаконично и строго: *MISIA*. Так что эта удивительная личность продолжала влиять на мир богемы даже после собственной смерти. И если задать еще раз тот самый вопрос, с которого началась наша история: действительно ли она была так красива, эта Мизиа Серт, то не ждите другого ответа, кроме как «о да, она была поистине прекрасна!»»

Булат ХАНОВ

Здесь всё по-другому

рассказ

– Здесь все по-другому. Хлеб мы не сажаем: все равно не уродится. Картошку – куда ни шло. Главный хлеб у нас – это рыба. Считай, вместо валюты она-то. Еще прадеды наши сеledку с семгой на хлеб выменивали. С норвежцами торговались да с купцами московскими. На осинонках море пересекали безо всяких компасов и электроники. Каково, а?

Денис слушал, приоткрыв рот. Николай, потрепанный су-ровыми ветрами мужик с завидной рыбацкой родословной, с удовольствием развивал мысль об исключительности родного уголка. Подробности и имена сыпались звонко, как монеты из копилки. Закинь сюда шпиона, простодушные местные перед ним как есть все выложат, а в придачу еще и накормят, напоят и приготовят постель.

– Заправка наша работает два дня в неделю и всего по два часа. Народ за бензином с ведрами идет.

– Как в Монголии, – имел неосторожность выронить Денис.

– Так в Монголии пустыня, – знающим тоном возразил Николай. – В Монголии на ишаках и верблюдах катаются. У нас тут верблюдов нет.

Против такого увесистого аргумента Денис не устоял и потому свернул монгольскую тему. Что до заправки, то он сообразил, что бензин островчанам нужен в первую очередь для моторных лодок, а не для машин. Дороги здесь печалили глаз и вызывали острую сердечную муку, потому что как нельзя точнее иллюстрировали одну из главных русских бед. Организуй кто-нибудь осенью забег между внедорожником и расторопным пешеходом с ботами до колена, то шансы оказались бы равны.

Насчет исключительности северного края Николай не преувеличивал. Денис прибыл на остров на чудной летающей посудине – на самолете по призванию и жужжащей коробке по факту. Местный аэродром олицетворяли размытая взлетная полоса и центральное здание в виде хлипкой деревянной постройки, напоминавшей то ли сарай, то ли провинциальный причал.

По улицам разгуливали коровы, а единственный банк размещался в бревенчатой избе. Не замутненный рекламными щитами и неоновыми вывесками ландшафт пугал таинственными пустотами, а единственный салон мобильной связи с красной эмблемой на фоне необлицованного белого кирпича смотрелся неестественно, если не сказать неприлично. Зато едва ли не в каждом дворе стояли лодки, преимущественно моторные. Денис поначалу решил, что это предмет местной гордости, нечто вроде магnumов и дробовиков у техасцев, по привычке воображавших себя крутыми ковбоями.

Белое море, разумеется, было никаким не белым, а черным с оттенками зеленого мрамора. И таким же величественным, как и ожидалось.

Вечером Денис забрел в прибрежную закусочную и представился репортером, добывающим сведения о диковинных уголках необъятной родины. К собирателю историй тут же подсел Николай и завел разговор. К удивлению Дениса, рыбак не задавался и не подтрунивал над гостем, что обычно делает простой люд, столкнувшись с образованностью, не подкрепленной практической хваткой и житейской смекалкой. Напротив, рыжебородый моряк заказал гору северных кушаний и почти с детским простодушием принялся снабжать Дениса тем самым материалом, за которым тот якобы явился из далекой дали.

– В монастырь обязательно загляни, – советовал Николай. – Вот где настоящая Русь выжила – старая, православная.

Денис слушал вполуха, больше оценивая обстановку. На обшитых досками стенах закусочной висели черно-белые фотографии героев морского промысла. Одна из стен была полностью стеклянной, и окно это выходило на пристань. Наверное, в редкие ясные вечера отсюда открывался умопомрачительный вид на закат, куда более эффектный, чем с городских ресторанов на крышах. Над столиками витал дурманящий запах ухи из свежей наваги. Из трескучего радиоприемника, как из параллельной Вселенной, доносились но-

вости. В углу над стаканом с водкой посапывал сморщенный пьянчужка. Судя по приветливому обращению с ним хозяйки Нади и дружелюбным шуткам, пьянчужка давно пропи-сался здесь. Эдакий талисман салуна, которому охотно на-ливают в долг.

За ухой последовали жареная треска под сметаной и щу-чьи котлеты. Николай потребовал у хозяйки морошковой на-стойки, а у Дениса созрел колоритный тост.

– За тех, кто в море! – произнес он.

– За тех, кого любит волна! – добавил рыбак, довольный, оттого что уловил отсылку.

Одолев стопку, Денис про себя зарекся вдругорядь при-касаться к жгучему пойлу. Закрадывалось подозрение, буд-то морошку настаивали на неразбавленном спирте. Для мо-ряков оно, вероятно, в самый раз, но не для избалованного коктейлями и крафтовым пивом обывателя из средней по-лосы.

Сдержать обещание помешали обстоятельства. Когда Де-нис приступил к рыбнику – запеченному в тесте лещу – и к ароматному клюквенному киселю, в закусочную забрели еще двое. Они по-дружески обнялись с Николаем, а тот, что пониже, сказал Денису:

– Услышали, что приключенец к нам прилетел, вот двоима и пришли на тебя поглядеть. Меня Петрухой звать, если что. А брата – Данилой.

Денис пожал две братские лапы. Братья трудились в кар-

басной мастерской. Николай отрекомендовал Данилу как великого художника, который в молодости окончил художественное училище в Москве и вернулся на родной остров. Данила напоминал скорее крестьянина с архивных фотографий, чем человека искусства. Ко всем атрибутам северной породы – крупному носу, выпяченным скулам, расхристанным космам, обветренной коже – прилагались шерстяной свитер репейного оттенка и штаны, опоясанные веревкой. Петруха, облаченный ровно так же, отличался проплешинами и более основательными морщинами. Самые глубокие из них дугами выстроились над жидкими белёсыми бровями. В усах Петрухи бусинками застыли капли мороси.

– Дожжик намочил, – прокомментировал он, вытирая рукавом.

Петруха пообещал Денису рассказать гору историй о родном крае, когда поест.

– У нас иногда такая чертовщина творится-то, у-у, – сказал Петруха, разжигая интерес. – Батюшка Феодосий сейгод говаривал, что север – это край света и потому нечистая сила здесь особенно шустрит. Дьявол ведь такой – с краешка подбирается, издалека. Да Бог хранит. Меня самого не раз уберег.

Денис, хоть и не понял, что именно имелось в виду, предпочел не уточнять. Перед поездкой его предупреждали, что поморский люд щепетилен в вопросах веры и для него Бог – это не просто риторическая фигура, которую припоминают

по речевой привычке либо для мнимого благочестия.

Вновь на столе образовалась всеми способами приготовленная рыба. Моряки заказали еще бутылку ядерной морошковой настойки. Денис, не смея возразить, с грустью проследил, как наполняются четыре стопки. Желудок сжался, с трепетом предвосхищая неотвратимую порцию шока.

Выбора не оставалось, поэтому Денис состроил героическое выражение на лице и запустил горючую жидкость в пищевод без транзитных задержек. Бывало и хуже. Если придать такому пойлу товарный облик, то можно и на рынок выйти с достойным предложением. У шотландцев, значит, островные скотчи с торфяным характером, а у наших поморов забористые настойки на северных ягодах. Тоже не лыком шиты. Названия так и просятся на язык: «Шквальная», «Старый баркас», «Полярный пик». «Девятый вал». Надо поразмыслить над затеей...

– Небось, думаешь про себя, пошто это у них в ухэ лимон с лавровым листом плавают, – сказал Петруха. – Не на севере ж их растят-то.

Домашний рацион Дениса чуть менее, чем полностью, составляли привозные продукты, поэтому его не удивила бы и баклажанная икра на столе, и прочие заморские штучки. Тем не менее гость пожал плечами на всякий случай.

– А мы такие лакомства до Ивана Грозного еще у английских купцов на рыбу выменивали, – сказал Петруха.

– Здорово! – отозвался Денис. – Считай, первопроходцы.

– А то! – произнес довольный Петруха.

– Я бы с удовольствием послушал рассказ об английских купцах. И прочие истории. Вы обещали, – напомнил Денис.

– Само собой, – заверил Петруха. – Само собой. Историй так много, что и не знаешь, с какой начать-то.

С этими словами он разлил настойку. Дениса передернуло от мысли об очередном испытании на прочность, беспощадном и неизбежном. Запасной желудок к командировочным не прилагался, а стоило бы включить такое условие в контракт.

Николай предупредил, что для него это прощальная порция, так как ему предстояло делать с сынишкой уроки. Николая дружно проводили и пожелали ему добрых снов. После ухода бородатого моряка Петруха вновь прикоснулся к бутылке, но Денис, карауливший каждое движение, вовремя накрыл свою стопку ладонью.

– Давай по последней! – задорно воскликнул Петруха.

– Пока довольно. Я ведь с Николаем уже пил.

– Да давай!

– Нет, а то я вконец окосею и усну с вами.

– А Надя тебе тут и постелет прямо. Правда, Надя? – обратился к хозяйке Петруха.

– Если перину притащишь, то, может, и постелю, – сказала Надя.

Петруха благодушно рассмеялся. Отсутствие колкости и враждебности в этом смехе Денис счел за добрый знак. И

в самом деле моряк перестал докучать гостю неудобными предложениями, лишь в шутку посетовал, что сам в молодости был покрепче.

– Я, когда про специального человека на самолете услышал, сперва подумал, что к нам чиновника прислали, – сказал Денису художник Данила. – Хотел с вопросами идти.

– С какими? – поинтересовался Денис.

– Да изрядно их накопилось, вопросов-то, – сказал Данила. – Вот, например, пошто нам запретили семгу ловить? Пошто теперь детей на уроке труда в огород школьный выводить нельзя? Мы, когда учились, всегда на труде сажали картошку. Отцы наши так же сажали. А сейчас говорят, что не имеем права.

– Я попробую что-нибудь об этом написать, – сказал Денис, пряча глаза, словно запреты ввели по его вине.

Он извлек из кармана записную книжку и для вида черкнул там два слова: «семга» и «картошка».

– Попробуй, дружок. Пойми, мы не жалуемся на судьбу, мы испокон веков так жили – без государственной помощи. Мы сами справимся, нам только мешать не нужно.

Из Данилы вдруг полилась речь. То ли взяло верх доверие к пишущему человеку, то ли сыграла морошковая настойка, то ли что-то посерединке, однако выяснилось, что у художника целый набор соображений, которыми он мечтает поделиться. Данила перескакивал с темы на тему, разворачивал самобытные теории, вкраплял в нестройный монолог мест-

ные слова вроде «истовенно» и «жадоба». Денис подозревал, что между собой моряки общаются на более простом языке, а странный диалект приберегают для чужаков, пришельцев с материка.

– Всякие малые народности и племена ведь минуют один и тот же путь, – сказал Данила. – Истовенно это не разные народы, а один большой, раскиданный по земле.

– Что это за путь? – спросил Денис.

– Сначала к малому народу являются миссионеры и отнимают у племени его богов. Затем приходят колонизаторы с оружием и подчиняют племя себе, чтобы собирать дань. Последними приволакиваются рекламщики. Они крадут самое святое – душу народа. Назначают душе цену и распродают ее направо и налево. Тогда и настает погибель.

Денис повертел головой по сторонам, будто высматривая рекламщиков, распустивших гнусные щупальца.

– Вашу душу ведь не распродают, – сказал он.

– Покамест, – сказал Данила. – И слава Богу. Я к чему веду-то. У нас, у поморов, судьба особая. Мы всегда православной веры держались, пошто миссионеры и не навевались в наш край. Колонизаторов также отродясь не видывали. Ни иго татарское, ни крепостное право до нас не добрались. Тут любой барин или ордынец пятки б отморозил в первую осень же. Туристы, конечно, приезжают, да все больше красотами любуются, на душу не посягают. Против такого интереса мы возразить ничего не имеем. Мы народ свободный. Мы вы-

живем, только б нам не мешали.

Измышления брата прервал захмелевший Петруха, который предложил гостю партию в шахматы.

– Вы историю обещали, помните? – сказал Денис.

– Как не помнить! У меня куча историй. Целая шкатулка. Сейчас в шахматы сыграем, а уж потом расскажу.

Учась в университете, Денис жил в общежитии и частенько соревновался в шашках и шахматах с соседями. Предчувствуя сокрушительную победу над простодушным моряком, Денис согласился на партию и намерился даже легонько поддаваться для приличия. Петруха запросил шахматный набор у хозяйки закуской.

Миниатюрные фигуры и доска, выполненные из дерева и потемневшие от времени, несли на себе печать старины. Вопреки ожиданиям Дениса, Петруха запросто разобрался с ним, как с новичком, соорудив замысловатый мат менее чем за три десятка ходов.

– Недооценил, – признал Денис.

– Реванш?

– Принято.

Теперь Денис играл белыми. На сей раз завязалась борьба. Просчитывая хитроумную комбинацию, Денис некстати и обидно подставил слона. Вцепившийся в перевес морской волк мастерски воспользовался преимуществом и вынудил соперника капитулировать.

– Третью?

– А давай.

На сей раз у Дениса не заладилось с самого дебюта. Вместо того, чтобы следить за расстановкой, гость недоуменно наблюдал за Петрухой. У моряка от выпивки сузились зрачки и заплетался язык, а пальцы, двигавшие фигуры, едва гнулись, что не препятствовало ему раз за разом разделять противника под орех. От четвертой партии Денис разумно отказался, а вызванный на поединок Данила с демонстративной легкостью обставил казавшегося непобедимым брата.

– Пора нам, – заключил Данила, складывая шахматы. – На море нам завтра рано.

– В котором часу вы обычно встаете? – поинтересовался Денис.

– Если проснулся в пять, считай, уже поздно.

По отсутствию лукавого прищура и ухмылок Денис понял, что художник не шутит.

– А если непогода?

– Здесь у моря погоды не ждут.

Петруха, опроставший не менее половины бутылки, расчувствовался и долго рассыпался в извинениях за то, что так и не достал ни одной истории из заветной шкатулки.

– Давай завтра расскажу! – предлагал он.

– Я улетаю, к сожалению.

– Эх, вот незадача! Тогда в следующий раз расскажу. Прилетишь?

– Наверное.

– Прилетай! В шахматы сыграем. Рыбку половим. В бане напаримся.

Возвращаясь в гостиницу, Денис надвинул капюшон на самый лоб, чтобы укрыться от дождя и ветра. Ноги в кроссовках с водоотталкивающим покрытием промокли, однако это ничуть не беспокоило. Ведь погоды здесь ждать не приходится.

Если бы не кусачий климат, то остров давно превратился бы в место, пригодное лишь для картинок и фотосессий, в точку на карте, где ушлые специалисты производят конвейерным методом лубочную атмосферу и пряничное настроение. Пока же это по-прежнему Русский Север со специфическим бытом и ритмом жизни, с привыкшими к аскетизму людьми, не знавшими ни ига, ни крепостного права. Сам природный уклад с его сумеречным днем и сумеречной ночью, с безжалостными ветрами и каждую минуту готовым полить дождем – это надежнейший способ отсеять проходимцев, маркетологов, сентиментальных путешественников и прочих случайных типов. Наверное, нельзя жить на Севере и не любить его. Если же любишь, то будешь его беречь и охранять, не отдавая в руки рекламщиков, которые губят все, к чему прикасаются...

Денис сообразил, что думает совсем не те мысли, которые следует думать. Возвеличивать – не его задача.

В номере он первым делом развесил на батарее мокрую одежду и полез под душ. После процедуры, без которой не

представлял себя ни один цивилизованный человек, Денис задернул шторы, включил обогреватель и нырнул с телефоном под одеяло.

Края здесь были не столь интернетные, поэтому сигнал пропадал. Денис решил записать голосовое сообщение по мессенджеру. Оно так или иначе дойдет. Доберется.

Не затеряется, в общем.

– Здравствуйте. Затею с реалити-шоу на выживание вижу перспективной. Если грамотно раскрутить проект, то более выгодной площадки для игры не найти. От спонсоров не отобьемся. Я тут заметил пару участков для рекламных щитов. Короче, обсудим, когда я прилечу.

Под голосовым сообщением застыл значок циферблата. Когда послание загрузится, появится галочка. Когда адресат откроет – две.

Игорь САВЕЛЬЕВ

Adajio / 1989

рассказ

Иногда приходили коровы. Вернее, зачинщиком был бык. Это он как-то так раздвигал башкой своей фантастической прутья забора, что труды техника, или сторожа, или кто это был – каждый раз – насмарку. Я домысливаю. Я понятия не имею, кто был этот человек, я был слишком мал – память выхватывает из пространства вокруг первого корпуса цветочные пятна, в остальном оставляя туман. Коров выхватывает, конечно, чуть лучше: это все ж таки было событие. Основное стадо жалось по ту сторону забора, за быком протискивались три-четыре отчаянные телки и жевали траву турбазы. Появлялся ли в итоге пастух, я не помню. В конце концов, видимо, да, бабушка ведь с кем-то ругалась.

Первый корпус так и остался заколдованным; прежде всего, здесь «первый» не значило «главный». Где-то за лесом, за дорогой через лес (подозреваю, на самом деле она была коротенькой, да и лес – одно название, но в реальных масштабах мне так и не случилось все это оценить), была обычная по своему устройству турбаза «Ивушка» – с дощатой раковиной-эстрадой и столовой, которая, кажется, единственная здесь стояла на фундаменте. Бабушка каждый год работала

на турбазе, чтобы мы могли проводить лето на воздухе; работала кем придется: то сестрой-хозяйкой, то завстоловой; в «золотой век» этих переменчивых декораций, когда я начал что-то вокруг себя осознавать, она была кастеляншей первого корпуса. Почему он считался первым, стоя на отшибе и как бы отдельно, бог весть, ну да и неважно.

Мы всегда были одни. То есть в нем не было людей. Наверное, были, и это тоже aberrация зрения, цветное пятно, выхватившее какие-нибудь санитарные дни меж заездами. Но теперь и это видится знаком заката империи – турбаза без отдыхающих; на самом деле это было много позже, и уже не на «Ивушке», которая быстро пала жертвой перестроечной чехарды во владевших ею трестах (я помню только эти загадочные, исполненные власти имена божеств из разговоров полупешепотом – БНЗС, БНХРС). Настоящая разруха была уже на следующей базе, с брошенными на полуслове капитальными корпусами: в них, например, были ванны, но трубы вели ниоткуда и никуда, и бабушка, несмотря на запрет, купала меня – поливала из ковшика, зная, что скромная мыльная водица проливается в подвал. Вот там в какое-то лето, действительно, не было отдыхающих: что-то у профсоюзов сорвалось, заезды отменились; загалопировал рубль; взрослые варили нам щи из крапивы, потому что столовая не работала. Нас было-то там – сиротливо всё лето – человек двадцать взрослых и с десятков детей... В другой год, когда отдыхающие были, мы гордо называли себя «дети рабочих», не

зная, что цитируем песню, и не владея словом «персонал»; что было поводом для гордости, непонятно, ведь нам не полагалось даже есть в общем зале. Впрочем, чернь кормили в банкетном зале, на фамильном фарфоре – по тарелкам золотым курсивом шло «Башсантехмонтаж», так что это еще неизвестно, кто там был чернь.

Надо же, приметы эпохи удивительно засоряют память, как засоряют костюмированные сериалы, буквально заваливают кадр кричащими деталями. «Прожектор перестройки» – чья-то навязчивая шутка про прожектор над черным ходом столовой; истерично-зеленая «Таврия», на которой приезжал из города плейбой, организующий дискотеки. Почему-то его называли «радист» или как-то так, а не «диск-жокей», например. Видимо, потому, что техника его хранилась в радиорубке. «Таврия» вызывала ажиотаж, и, когда кто-то из старших сказал, что это всего лишь новая модель «Запорожца», каждый из нас был будто бы лично оскорблен.

Мотоцикл. Красная эмаль бензобака, Иж, запах нагретого металла, блестящая выхлопная труба, на которую меня попросили не вставать (значит, меня катали?), но было совершенно непонятно, куда вставать, как не на эту красоту. Некто, пустота на мотоцикле, иногда приезжает с косой – это я помню, – соответственно, косить в окрестностях первого корпуса. Тот самый сторож, который латал забор, или тот самый пастух, по чьей вине; чего бы пастуха так мирно пускали на территорию, но чего бы и сторожу заготов-

ливать сено?.. Косьба. Жара. Я сижу на крыльце и жду родителей. Они должны приехать из города, пройти коровьим путем – не через базу, а по тайной тропке от станции – и привезти подарок, потому что сегодня мне пять лет. Подарок окажется духовой гармоникой – это я сейчас науглиил, как точно назывался странный инструмент, помня ключевые слова: «Вятка» и собственно непонятное «гармоника». Сейчас, пойдя с гугла по картинкам *avito*, по объявлениям оптимистов, которые хотят продать невесть как выжившие детские «Вятки» тридцатилетней давности, я остро чувствую эту нудь – и звук, и привкус – то ли от спазма слюнных желез, или что там напрягалось, то ли от того, что «Вятка», как агрегат без выходного отверстия, вообще была несовместима с гигиеной...Вижу в *avito* пожелтевшие и прокушенные старыми детьми мундштуки.

Это странно, что я готов так вот «перепроверить» и тем лишиться очарования всё, на что оглядываюсь, все эти световые пятна, пасторальные картинки с красным пахучим Ижем, или с коровами, от которых меня прятали (правильнее сказать, от быка), или с кошками, которых я почему-то боялся сам к умилению взрослых, хотя я не помню, кем могли быть эти взрослые. Острый запах уксуса. Срочно приезжающие родители – с частником из города, – чтобы увезти меня домой. У меня все время были солнечные удары, а может, это я повторяю постправду от бабушки, которая и позже приговаривала, что у меня слабая голова; сам я остро пом-

ню, пожалуй, один раз, но тогда я знал, что это не первый; на лбу укусуный компресс, перед глазами потолок из листов фанеры; папа несет меня на руках к фиолетовой «копейке»; я скорее знаю, чем помню, что заблевал по дороге всю машину и что мне было плохо, видимо, потому что дети вообще стоически переносят температуру и им не плохо в классическом взрослом смысле; нам; вот фиолетовую «копейку» я, естественно, запомнил очень хорошо.

Для старших я еще был ближе к младенцу, чем к человеку. Бабушка не стеснялась меня, она могла оставить меня на лесной дороге, чтобы присесть за кустами, когда мы шли в цивилизацию – от первого корпуса к остальным.

Однажды на пути к цивилизации мы увидели в небе горящий предмет. Он был не над нами, а ближе к горизонту, к закату, и горел в лучах заката. Высоко. Выглядел вполне невинно – как если бы далекий самолет мазнул, мелькнул солнечным бликом на своем глянцевом борту. Но самолет летит. А этот предмет неподвижно стоял в небе, как, например, облачко. Но по нему, сигарообразному, резко очерченному, было понятно, что никакое это не облачко.

Это я сейчас понимаю, как оно выглядело, дорисовываю цветную картинку, тогда, конечно, какой-то там блик и не мог показаться мне странным. (Но он никуда не девался.) Я помню тревожные разговоры взрослых – бабушка встретила одну подругу, другую; они стояли и смотрели на этот предмет, ну и я, соответственно, тоже. «Пожар в самолете, что

ли?.. Но он же не летит?..»

В ней, в неразгаданной сигаре, хорошо отразилось не только солнце, но и две главные черты эпохи. (Да черт возьми, это мог быть метеорологический зонд, хотя я до сих пор понятия не имею, как они выглядят.) Готовность к мистике. Мы ведь жили в мире с НЛО – то короткое время, когда это оказалось легитимным. Скучные сатирики в вечерних концертах уже пошучивали над гражданами, «вошедшими в контакт», – самих граждан пускали под камеры не столь охотно, но даже по этим скудным дозам ЦТ СССР можно понять масштаб бедствия. Обнаглели чуть позже. Уже первоклассником, что ли, я смотрел, как бодрый ведущий вещает на фоне каких-то зеленоватых фонарей а-ля Ленинград, что в ту минуту, когда инопланетяне высадятся именно на эту площадь, сердце у всех землян перестанет находиться с левой и станет находиться с правой стороны. То есть это была такая концептуальная дичь, что я пронес ее через тридцать лет. Естественно, критически взглянуть на эти потоки бреда я не мог. Чуть раньше, в конце 80-х, еще советские инопланетяне возникали как-то более застенчиво, предупредительно; заряжалась вода, приклеивались ложки; ну да, это разбавляли иногда какие-то бесконечные трансляции съездов (я почему-то запомнил больше очереди в проходах к микрофонам, а если приближать еще, то примечательные кубики с номерами на этих микрофонах).

Я не думаю, что бабушка их смотрела. (Тем более, пер-

вый корпус был не достоин телевизора в красном уголке, а возможно, и самого уголка.) Всю жизнь проработав на заводе стекловолокна, она была парторгом цеха, но на деле, конечно, подменяла профсоюз – выколачивала для человека из государства путевки в санатории, ордера на квартиры, вытирала слезы заводчанкам, брошенным мужьями: «Успокойся, всё, хватит, сходи-ка в парикмахерскую». Отправившись на пенсию на самом излете застоя, бабушка потом часто – да до конца, до нашего последнего разговора в 2017 году – вспоминала завод, а вот партию никогда. До того, как я пошел в школу, мы могли задержаться на турбазе и до первых чисел сентября; в 1991-м я ходил в школу, поэтому мы с бабушкой вернулись с турбазы во второй половине августа, но я как-то застрял у нее дома; все события, особенно связанные со второй половиной путча, когда ЦТ прорвало и оранжевый ночной балет бронемашин на мокром асфальте транслировали постоянно, мы смотрели с утра до вечера. Я что-то рисовал (или уже писал) за столом, бабушка вязала на диване. Так вот, за эти несколько дней она не проронила ни слова по поводу происходящего (в том числе, когда восторженные «Вести» показывали, как восторженная толпа бьет стекла в здании ЦК и несет партбилеты перепуганным вахтерам брошенных райкомов), только считала на спице петли.

И вторая «родовая черта эпохи». Неудивительно, что бабушка с подругами говорили про горящий самолет, а не про то, что это так подсвечено облачко. Техногенные катастро-

фы – как воплощение дрожи империи. Дрожь вагона, сходящего с рельсов. Говорят, характерная дрожь проходит по обреченному составу довольно долго – достаточно, чтобы знающие люди типа машинистов попрыгали на насыпь.

Улу-Теляк был мелкой станцией на пути электрички от Уфы – в противоположном направлении. Поэтому «Ивушка» не видела зарева, которое в радиусе десятков километров приняли за ядерный гриб. Катастрофа 4 июня 1989 года, когда два полных пассажирских поезда, Новосибирск – Адлер и Адлер – Новосибирск, рванули, попав в газовый вихрь, стала крупнейшей железнодорожной. Сколько погибших? Почти шестьсот?.. Я очень хорошо запомнил давящую атмосферу тех дней, но, как ни странно, будучи маленьким, не понял, что это не просто в телевизоре вообще, а здесь, на этих улицах, в моем городе. Улиц я не знал, так что не узнавал: бесчисленные рафики скорых, очереди доноров, столпотворение в больницах, срочно обустроенная вертолетная площадка (ее еще много лет, пока не застроили, так и звали вертолеткой, хотя больше никто на нее не прилетал). Советские теленовости посвящали развороченному Улу-Теляку и неузнанной Уфе срочные выпуски новостей, которые невозможно было смотреть; мама ахала и говорила: «Лучше бы они разбились на самолете». Имея в виду прежде всего большую группу челябинских школьников, ехавших с моря (да и всех), и то, что самолетная смерть выглядела как-то гуманнее-туманнее-прохладнее того ада, в эпицентре которо-

го, как говорили, люди просто испарялись, а сотни тех, кто был не в эпицентре, оказались обречены на математически просчитанную смерть (на пятый день, на десятый) в ожоговых отделениях Уфы.

Для меня было удивлением каждый раз позже обнаруживать нечто, что напоминало: ужасы происходили не по телевизору, а именно здесь; когда я пошел в школу, мы, например, начали часто ездить в Улу-Теляк – не на турбазу, а у мамы там были командировки в зверосовхоз, и она брала меня с собой посмотреть норок и куниц. Прошло всего-то несколько лет – поселок вставил новые стекла, и ничего не напоминало; был еще отдельный полустаночек перед Улу-Теляком («1710 км», что ли), на котором никто никогда не останавливался. Как я узнал потом, это из-за того, что там нет никакого жилья, а полустанок нужен только затем, чтобы мемориально обозначить само место взрыва. Раз в год на полустанке останавливаются специальные поезда из Уфы и Челябинска – они привозят постаревших родных и близких. Возле полустанка памятник. Я его не видел. Я все время старался разглядеть в окно на подъездах к Улу-Теляку обгоревший лес, виденный когда-то по телевизору – эти черные палки-стволы уж должны были сохраниться! – и подозревал «то самое место» в разных участках странных деревьев. Впрочем, как я узнал много позже, как такового «того самого места» уже и не было. Можно было догадаться: озеро газа, из-за которого рванули проезжавшие по его кромке поезда, раз-

лилось в низине, ложбине, а теперь окрестности Улу-Теляка были ровные, как стол. Это место просто зарыли бульдозерами через несколько дней, объяснив это тем, что разбросанные «органические элементы», мельчайшие, невозможно собрать и заражение неизбежно.

Впрочем, к десятилетию трагедии НТВ сняло какой-то долгий репортаж, в котором журналист шарахается по истошно-зеленому лесу, обнаруживая то ржавые колесные пары, то чуть ли не кости (а может, и не чуть ли), то что.

Еще примерно в те же годы, может, чуть позже – я уже начал писать рекламу в газету, – я битый час искал какую-то контору в эпицентре большого и бестолкового хозяйства уфимского депо. То есть я слонялся по километрам каких-то путей, кустов, тупиков и в самом дальнем углу этого всего обнаружил покореженные рыжие вагоны. От них несло старым пожаром и сортиром, в который их превратили. Их было два или три. Один точно изогнут, как подкова. Я ушел, потом вернулся. Едва ли на нашем участке железной дороги происходило что-то еще, что могло согнуть вагон в подкову.

Впечатленный всеми этими приметамы далекой-близкой смерти, которые, казалось бы, никто, кроме меня, не замечал, я даже написал рассказ. Его герои, подростки, едут в улу-телякский лес искать приметы катастрофы и чуть ли не мародерствовать, хотя это, конечно, нелепо. Но рассказ, густо замешанный на подростковом эпатаже и возможностях, открывшихся мне тогда в журналах, появился. Не помню да-

же, как он назывался, мне очень хотелось назвать его «Транссибирская пастораль», но, как следовало из методички-библиографии современной русской литературы, распространенной на нашем первом курсе филфака, это название уже было занято кем-то из напечатанных в перестройку классиков неподцензурной литературы.

Катастрофа случилась в ночь на 4 июня. Почему я был в городе? Видимо, «Ивушка» только зажигала огни. Бабушка готовила первый корпус к первому заезду, а меня должны были забросить к ней на днях. Рано утром папа отправился на уфимский вокзал, чтобы ехать на «Ивушку» и помогать там расставлять мебель по комнатам. Было воскресенье. На улицах, на дорогах никого не было. Вокзал оказался забит военными, поднятыми в ружье. Куда-то срочно отправляли эшелоны. Беготня стояла такая, как будто началась война.

Папа часто потом вспоминал это утро буквально по минутам, потому что считал, что с этим утром был связан важный выбор для него как для журналиста, и мне как журналисту тоже хотел это транслировать. Он начал бегать по вокзалу – выяснять, что происходит. От него все отмахивались. Наконец какой-то майор или капитан рассказал про Улу-Теляк. Папа спросил, можно ли поехать с ними. Майор не возражал. Папа понимал, что все это закрыто для прессы, и никаких журналистов туда не повезут, и это единственный шанс ему единственному всё увидеть и рассказать человечеству, и эшелон уходит через минуту. Но тут он представил, как на

«Ивушке» бабушка, не дождавшись его, начнет тягать сама эти железные кровати – и надорвется. Ни телефонов, ничего. Вообще-то да, бабушке было это присуще. Звонить кому-то из коллег уже некогда, да и не было автоматов на перроне, в общем, двинулся папа в одну сторону, а эшелон с военными в другую, и всегда он считал это большим своим журналистским провалом.

Почему-то – даже с учетом следующей части рассказа, в которой все умирали. Журналистов ведь все-таки отправили на место катастрофы чуть позже, и в понедельник к утру они прямо оттуда вернулись в редакцию. Почти невменяемые, пахнувшие трупами и пожаром, они не отвечали на вопросы и пили водку стаканами, руки их тряслись. «Такой-то скоро умер после этого, такой-то скоро умер», – перечисляет папа, связывая раннюю смерть с потрясением от увиденного в Улу-Теляке и добавляя к этому списку друга семьи, большого милицейского начальника, который тоже был брошен на ликвидацию последствий и тоже умер вскоре, в сорок с чем-то лет, – сердце.

Честно сказать, я никогда не понимал месседж папы, потому что – по этой логике – в чем была бы высшая журналистская доблесть – отправить себя на смерть?.. Но я и не журналист (хотя и работаю им). У меня нет журналистской оптики. Она писательская, хотя по-своему – тоже беспощадная. Когда бабушка умерла – почти тридцать лет спустя после «Ивушки», почти в девяносто четыре года, – я был как-

то раздавлен этой смертью (мы с бабушкой были очень близки) и тем, как тяжело все это происходило. Пасмурным февральским утром мы поехали в Митинский крематорий – сначала в Красногорский морг, который был похож на товарный двор, а потом в крематорий. Я совершенно не хотел думать ни о чем, кроме бабушки, но каким-то непонятным для себя образом увидел и запомнил столько деталей жутковатой индустрии кремации, что позже напичкал ими повесть («Ложь Гамлета»). Странно. Мне казалось, я не замечаю ничего вокруг.

Тяжелое чувство отпустило много позже, в Сызрани, на Волге, вернее сказать, на водохранилище, на котором бабушка провела детство и юность. Возможно, впрочем, что это было в эпоху до водохранилища, с какой-то неведомой нам «настоящей Волгой», потому что бабушка упоминала, что они с девушками переплывали реку на лодке, высаживались на другой берег и там, условно, плели венки. Это была такая пасторальная картинка из тех, которые обрываются «22 июня ровно в 4 часа...». Если слушать стариков и смотреть все эти «Летят журавли», то 22 июня в 3 часа советские люди видели, наконец, счастье.

Бабушка завещала развеять ее прах по Волге. Что мы с папой и сделали, приехав в Сызрань с разных сторон Транссибирской магистрали и наняв лодку. Мы нервничали, особенно папа, что-то постоянно у нас не складывалось: то выяснилось (в последний момент), что урну запрещено возить

на поездах и ее не пропустят на «рамке» (и папе как-то хитро пришлось проникать на вокзал), то оказалось, что 1 сентября (а это было 1 сентября – солнечное, прекрасное) в Самарской области нельзя продавать алкоголь, и наш проводник (проводник не в поезде, а проводник, который как Харон) бегал-искал бутылку водки на импровизированные поминки по знакомым продавщицам и таксистам. То мы забыли про цветы и причаливали за ними к берегу... Свечи в баночках не разгорелись – баночки поплыли так, в километровую синюю даль (вода на солнце почему-то синяя была, синее, чем на море), а вот ярко-красные гвоздики поплыли красиво – выстроились в стройный ряд.

Мы с папой впервые за долгое время были вдвоем и могли наговориться вдоволь; как ни странно, этот отложенный погребальный обряд, в отличие от традиционного, был каким-то если не радостным, то светлым. Хотелось жить. Момент не был испорчен даже тем, что уже вечером, в гостинице, выпивший водки папа пытался поучить меня жизни. У него накопилось много «политических» обид: мое участие в митингах, мои интервью на «Эхе Москвы». «Ты видишь, что они тебя подталкивают к этому, провоцируют все это говорить?» – переживал папа (хотя, на мой дилетантский вкус, это тоже были принципы и приемы идеальной журналистики – провоцировать). Я молчал. Что я ему скажу? Империю опять лихорадило, вагон опять пробирало крупной дрожью перед крушением – следующий вагон.

Но это потом, в Сызрани. А тогда, в Митино, я зачем-то вызвался говорить над гробом речь, хотя абсолютно ничего к этому не располагало: меня душили слезы, а обстановка вокруг – с непонятными украшениями зала, люстрами из кошмарного сна, фальшьпечью и стариком, тренькающим на синтезаторе, – скорее, даже пугала. Но пафосная дама с завивкой – распорядитель церемонии – строго затребовала, чтобы члены семьи говорили речь, и я начал, не узнавая свой голос, о том, что здесь должно было быть много людей. (А было-то – несколько членов семьи, потому что бабушка всех ровесников пережила, а за восемьдесят – еще и переехала с моими родителями в Москву.) Здесь должно быть много людей. Бабушка помогала стольким людям. Всю жизнь... Завод... Я повторял это как заведенный, как будто это главное.

А надо было говорить, конечно, о другом.

Не о человеке, тягающем железные кровати в пустом первом корпусе, а о человеке, идущем со мной через лес.

Анаит ГРИГОРЯН

Заколка Момоко-сан

рассказ

Все началось в день, когда Момоко-сан потеряла заколку для волос. Это произошло на станции Мотояма под конец утреннего часа пик, когда можно совершенно не держаться за поручни, потому что со всех сторон ты так плотно окружен людьми, что иной раз трудно даже просто наклонить голову или поднять руку, чтобы посмотреть на часы. Момоко-сан зашла в поезд на станции Нагоя – следующей после Камедзимы, на которой каждое утро садился я. Камедзима в свое время привлекла меня названием – «Черепаший остров», но на деле это оказалась маленькая станция со стенами, выложенными светло-голубым кафелем, и довольно унылым спальным районом вокруг – так сразу и не скажешь, что рукой подать до центра. Правда, на Камедземе садилось относительно немного народа и, если повезет, можно было занять свободное место, чего не скажешь о Нагое, где в поезд вливался целый поток людей, в основном еще не вполне проснувшихся мужчин в деловых костюмах, одинаковых черных ботинках с острыми носами и с одинаковыми черными кейсами в руках. В тот день этот поток принес Момоко-сан: ее лицо я едва успел разглядеть, потому что она, ис-

пугавшись, что не удержится на ногах, быстро развернулась к двери, вытянулась и ухватилась за высокий поручень, да так и поехала, балансируя на носках туфель на невысоком каблуке. Я осторожно, чтобы не привлекать ничего внимания, наклонил голову и посмотрел вниз: туфли были велики ей на размер, если не больше, – многие японки считают изящным, когда обувь велика, это якобы делает ножку визуально меньше. У Момоко-сан ножка и так была крошечной, и слишком большие туфли – навскидку всего-то размера тридцать седьмого – делали ее не женственной, а, скорее, детской. Вот бы она потеряла туфлю, подумал я, – тогда бы можно было, преодолевая сопротивление деловых костюмов и кейсов, наклониться и помочь ей ее надеть.

Момоко-сан была в темно-синем европейском пиджаке и длинной узкой юбке, но прическа у нее была на манер традиционной – с тугим валиком волос спереди, обрамлявшим маленькую голову, и узлом на затылке, в который была воткнута заколка – небольшой гладкий гребешок из кремово-белого пластика – такие продаются в каждом магазинчике бижутерии на крупных станциях, и уж точно можно найти великое множество в «Такашимае»¹⁴. Сверху к гребешку на короткой цепочке крепилось украшение – небольшая серебристая стрекоза с разноцветными стразами на крыльях, розовыми на двух верхних и светло-голубыми, чуть поменьше, на нижних. Когда Момоко-сан немного поворачивала голову, в

¹⁴ Популярная японская сеть универмагов.

белом свете потолочных ламп эти стразы сияли, как настоящие драгоценности. Она ни разу не повернулась так, чтобы я снова смог увидеть ее лицо, и от нечего делать я начал представлять его себе. Воображение рисовало только чуть вытянутый овал, маленький, немного курносый нос и большие, широко расставленные глаза – темные, как спелые вишни. Все это было покрыто таким густым слоем косметики, что невозможно было догадаться, как выглядит Момоко-сан на самом деле. И, сколько я ни пытался, у меня никак не получалось представить себе ее рот – какой он, маленький, детский, с чуть более выступающей верхней губой или, наоборот, с тонкой верхней и пухлой нижней, отчего выражение лица казалось бы немного надменным?

На станции Сакаэ в поезд вошло еще больше народу, Момоко-сан тихо охнула и качнулась назад. Я было выставил перед собой руку, чтобы удержать ее от падения, но она вовремя выпрямилась, и я только успел ощутить запах ее духов – слабый, едва уловимый цветочный аромат. Скорее всего, этикетка на флаконе была светло-розовая и с надписью «сакура». Она купила духи в каком-нибудь недорогом магазинчике вроде того, где выбрала свою заколку-гребешок. Сколько ей, интересно, лет? Двадцать три? Тридцать пять? Я поднял глаза, снова уперся взглядом в качающуюся на цепочке серебристую стрекозу и с досадой подумал, что вот из-за этого-то и существуют *Women-only passenger cars*, потому что женщинам не нравится, что их могут бесцеремон-

но рассматривать или трогать. Впрочем, от хрупкой фигурки, несмотря на ежеминутный риск потери равновесия, веяло спокойным достоинством и уверенностью, как будто создававшей между Момоко-сан и окружающим воздухом тончайшую прозрачную оболочку, – трудно было представить, чтобы кто-нибудь осмелился повредить эту оболочку. Может быть, обидчик бы почувствовал на своих пальцах не слишком сильный, но все же чувствительный электрический разряд.

На Мотояме – пересадочной на кольцевую – обычно выходила ббольшая часть пассажиров. У меня мелькнула мысль, что и Момоко-сан тоже выйдет: скорее всего, женщина в таком костюме работает где-нибудь в деловом центре, едва ли она собирается ехать со мной до конечной. От этого я испытал укол горечи: надо же, я уже придумал ей имя и историю, а она сейчас выйдет из вагона и растворится в черно-белой толпе, даже не обернувшись напоследок, и наша случайная встреча никак не отразится на наших судьбах. Чего только не придумает себе человек со скуки по дороге на работу! Поезд плавно остановился и распахнул двери. В этот момент сосед Момоко-сан, высокий мужчина, всю дорогу не державшийся за поручень и стоявший, вытянувшись и едва касаясь пальцами потолка – видимо, ему просто хотелось таким образом похвастаться своим ростом, – как-то неловко опустил руку и задел рукавом серебристую стрекозу, совсем слегка, так, что Момоко-сан и не почувствовала, но этого хватило, что-

бы заколка выскользнула из ее волос и неслышно, незаметно для своей хозяйки упала на пол. Я быстро, чудом никого не толкнув, наклонился и подхватил гребешок двумя пальцами, а когда выпрямился, Момоко-сан уже и след простыл. Поезд захлопнул двери и, наполовину опустевший, потащился дальше – мне оставалось еще шесть станций до Фудзигаоки, а там пересесть на монорельс и еще четыре до Гэйдайдоори. Подсчет станций вогнал меня в еще большую тоску: мне приходилось проделывать этот путь шесть раз в неделю туда и обратно и каждый раз придумывать что-нибудь, чтобы отвлечься от одной и той же тяжелой мысли, привезенной из России, а все потому, что студенты Кимуры-сэнсэя были слишком прилежными и всей группой решили, что четырех встреч в неделю им недостаточно. Я рассеянно сунул гребешок Момоко-сан в нагрудный карман.

Университет находился в глубине большого парка, поэтому там всегда бывало тихо и немного сонно: филологи и искусствоведы вообще люди не шумные, а перед сессией и вовсе становились тише воды, ниже травы и бродили парами или поодиночке по зеленым аллеям, уткнувшись в свои конспекты. Мне как-то пришлось рассказывать о рецепции японской культуры в России курсу физиков из Тодая¹⁵, и я до сих пор не могу взять в толк, каким образом физика делает людей такими жизнерадостными.

¹⁵ Сокращенное название Токийского университета.

Придя в пустую преподавательскую, я первым делом заварил себе кофе и уселся на место возле окна, из которого открывался вид на маленький дворик, заставленный произведениями современного искусства, в основном работами выпускников, подаренными любимому университету в знак их глубокой признательности. В целом это не слишком отличалось от обычной выставки в каком-нибудь средней руки музее, но некоторые работы действительно были ничего. Мне больше всего нравился гигантский грецкий орех из цельного дерева, внутри которого было вырезано что-то наподобие Петры: молодой скульптор, видимо, потратил немало часов, высвобождая из неподатливого материала здания и величественные храмы, пробивая стамеской улицы и переулочки и соединяя их изящными подвесными мостами. Из окна, правда, этот орех казался просто большим темным шаром с шершавой поверхностью – в отличие от большинства экспонатов, вблизи он был гораздо интереснее, нежели издали, и из окна преподавательской все эти композиции из странно скрученных и сваренных металлических труб и инопланетные гипсовые животные, раскрашенные в самые немыслимые цвета, смотрелись почти завораживающе, а орех выглядел жалко. В дальнем от меня углу дворика, чуть поодаль от всего этого буйства молодой фантазии, стояла фигура обнаженной женщины: правая нога выпрямлена, левая чуть согнута в колене, маленькие изящные руки сплелись тонкими пальцами на правом плече, голова с распущенными пря-

мыми волосами, рассыпавшимися по спине, наклонена чуть влево; кажется, что женщина стоит на берегу реки и что-то увидела в воде, что-то, что одновременно заинтересовало ее и немного испугало. Поза статуи явно отсылала зрителя к классическим образцам, но гипсовая девушка, несомненно, была молодой японкой, отчего фигура даже издали выглядела немного непривычно: слишком на европейский вкус длинная талия, узкие, почти мальчишеские бедра, выступающие плечи и лопатки и маленькая грудь. Отсюда было не разглядеть лица статуи, но я неоднократно задерживался возле нее по пути в университет, поэтому мог без труда представить его по памяти: узкое печальное лицо с огромными полуприкрытыми глазами. У статуи вообще-то не было имени; студенты, безнадежно коверкая английское слово, называли ее «бю: ти:», «красавица», и часто назначали возле нее встречи. Поднеся к губам чашку дымящегося кофе, я машинально дотронулся левой рукой до кармана, достал гребешок и повертел его в пальцах. Так и есть: дешевый пластик, стоит от силы пятьсот-шестьсот иен. Такую безделушку совсем не жаль потерять, если ее не подарила близкая подруга или, к примеру, друг...

– Никорай-сан, коннитива! – Дверь приоткрылась, и в преподавательскую заглянул Кимура-сэнсэй.

Он, как всегда, улыбался: при первом знакомстве, увидев эту улыбку, я подумал, что Кимура-сэнсэй, как и большинство японцев, просто подчеркнуто любезен, особенно

с иностранцем, а на деле он чопорный профессор, но впоследствии выяснилось, что он действительно искренне рад каждому встреченному человеку, будь то студент, его коллега-преподаватель или просто случайный собеседник. В улыбке Кимуры-сэнсэя не было ни толики пресловутой азиатской загадочности, разве что его глаза, вокруг которых всегда собирались лучики мелких морщинок, могли показаться немного лукавыми, но и это ощущение пропадало, стоило с ним разговаривать.

– Кимура-сэнсэй, добрый день! Зайдите, пожалуйста, зачем вы стоите в дверях?

– Да? Вы, наверное, заняты, готовитесь к лекции... – Кимура-сэнсэй еще немного помялся для приличия, прекрасно зная, что прихожу я обычно заранее, чтобы иметь возможность выпить в тишине чашку кофе, и вошел. Ходил он, всегда немного согнувшись и прихрамывая, отчего казалось, будто он собрался кланяться, но в последний момент передумал и, забыв разогнуться, так и пошел дальше. Никто толком не знал причины этой его особенности: в университете говорили, что то ли это была родовая травма, то ли однажды Кимуру-сэнсэя, когда он еще не был сэнсэем и одним из крупнейших специалистов по творчеству Достоевского, а был просто младенцем, лежавшим в коляске, уронил не в меру разыгравшийся лабрадор его родителей, и тогда-то младенец и покалечился, да так, что врачи ничего не смогли с этим поделаться, а самые отчаянные из числа студентов выдумали,

что у Кимуры-сэнсэя была любовница, замужня женщина, и притом красавица, и что однажды, спасаясь от ее ревнивого мужа, Кимура-сэнсэй выпрыгнул с четвертого этажа – то ли из ее квартиры, то ли из номера отеля – тут мнения расходились. Кимура-сэнсэй не пытался опровергнуть ни одну из версий и только посмеивался, когда до него доходила очередная небылица.

– Выпьете со мной кофе, Кимура-сэнсэй? – Я, не выпуская из пальцев заколку Момоко-сан, ринулся к кофемашине, чтобы опередить его, и он, с едва заметным сожалением выдвинув из-под стола шаткий стул, уселся нога на ногу, по обыкновению чуть подавшись вперед и сцепив худые пальцы на колене.

Пока я возился с кофемашинной, Кимура-сэнсэй не спускал с меня глаз, продолжая ласково улыбаться, – так взрослые обычно смотрят на играющих детей.

– Спасибо большое. А что это у вас там такое, Нико-рай-сан? – поинтересовался Кимура-сэнсэй, когда я поставил перед ним чашку, и выразительно скосил взгляд на заколку.

– Женская заколка, – просто ответил я.

– Я вижу, что эта вещь принадлежит молодой женщине. – Он указал на гребешок двумя пальцами, явно не желая до него дотрагиваться. – Вот, между зубьями остался ее волос.

Я взглянул: действительно, иссиня-черный волос обернулся вокруг одного из зубьев. Как только я раньше его не

заметил? Я осторожно снял волос и вместо того, чтобы тотчас выбросить его в мусорную корзину, поднес к глазам и принялся рассматривать. Волос был толстый и блестящий и на ощупь напоминал леску.

– Это волос из прически молодой красивой женщины, – полувопросительно сказал Кимура-сэнсэй, поднес к губам чашку и тут же поставил ее на стол, тихонько звякнув блюдечком. – Ататакасугиру, слишком горячий. Да?

– Да. Не знаю даже. – Я зачем-то намотал волос обратно на зубья гребешка. – Я и лица-то ее толком не разглядел.

– Вы, кажется, уже долго у нас в Японии, Никорай-сан?

– Чуть меньше года.

– И вы же, кажется, еще не женаты? – продолжал допытываться Кимура-сэнсэй.

Улыбка его совсем растаяла, и лицо приобрело серьезное и немного печальное выражение. Я подумал, что, наверное, спина у него все время болит, а он и вида не подает.

– Не женат, Кимура-сэнсэй. В России у меня была невеста.

Он вопросительно поднял брови, и я добавил:

– Мы расстались как раз перед моим отъездом в Японию.

По моей вине.

– М-м, вот как. – Кимура-сэнсэй осторожно отпил кофе и многозначительно прикрыл глаза. – Так значит, вы обидели девушку и уехали? И даже потом не извинились?

Я растерялся. Вообще-то Кимура-сэнсэй был очень деликатным, но у него была особенность: говоря на русском, он

позволял себе то, чего никогда бы себе не позволил, беседуя на японском, – очевидно, так он старался соответствовать в его понимании «русскому национальному характеру».

– До начала лекции еще довольно много времени. Хотите узнать, как так вышло, что я стал хромым и надо мной все смеются? – спросил Кимура-сэнсэй, не дожидаясь моего ответа. Я хотел было возразить, что никто над ним не смеется, а, напротив, в университете все его очень уважают, но Кимура-сэнсэй покачал головой и снова заулыбался.

– Когда мне исполнилось двадцать, прошло уже чуть больше сорока лет с окончания войны, и на молодежи, к которой я относился, наше поражение, можно сказать, никак не отразилось. Я тогда перешел на второй курс Токая, большинство моих друзей были старше меня на год-два и на много лет опытнее. Могу сказать, Никорай-сан, я, хоть и прочитал много книг о жизни, самой жизни еще совсем не знал. – Кимура-сэнсэй с улыбкой покачал головой и отпил из чашки кофе. По лицу его было видно, что на него нахлынули воспоминания о том – видимо, счастливом – времени. – Хана пришла к нам учиться в конце первой недели апреля, ей долго оформляли документы в ее американском университете, но весна выдалась холодная, и она как раз вошла в класс, когда в Токио отцветала последняя сакура. Вы любите сакуру, Никорай-сан?

– Конечно люблю, – ответил я и едва удержался, чтобы не съязвить по этому поводу. Поскольку в Японии, за исключе-

нием пары зимних месяцев, все время что-нибудь цветет.

Кимура-сэнсэй регулярно задавал мне вопросы про глицинию-фудзи, асагао, гортензию, ирисы и даже про японский остролодочник, которого я в глаза не видел. Если бы он не стал филологом, то наверняка бы сделался садоводом.

– Нет человека, который не любил бы сакуру, – удовлетворенно заметил Кимура-сэнсэй. – Хана пришла к нам вместе с облетающими лепестками сакуры, и само ее имя означало «цветок», поэтому все молодые люди сразу обратили на нее внимание. Она села за соседний с моим стол, так что целую неделю я почти не слушал лекций, а только разглядывал ее украдкой и к вечеру пятницы был уже влюблен и осмелился проводить ее до общежития.

Вообще-то, если не обращать внимания на большую спину и хромоту, Кимуру-сэнсэя можно было назвать привлекательным: волосы, когда-то совершенно черные, а теперь тронутые сединой, с возрастом не поредели и лежали на голове плотной шапкой, да и глядя на его правильное, с мягкими чертами – разве что слишком худое – лицо, никак нельзя было дать ему пятьдесят два года. Ясно было, что ничем хорошим связь с Ханой для него не закончилась: насколько мне было известно, у Кимуры-сэнсэя не было детей, он никогда не был женат и вся жизнь его была сосредоточена в тихих стенах университета. Мне захотелось как-нибудь его подбодрить.

– Она ответила вам взаимностью, Кимура-сэнсэй? – спро-

сил я и тут же спохватился: получилось немного невежливо.

– Молодость легко отвечает взаимностью. – уклончиво ответил Кимура-сэнсэй. – И не думает о последствиях. Мы встречались с Ханой три месяца – я так хорошо это помню, потому что в те дни, когда я решился пригласить ее к нам в дом и познакомить с моими родителями, как раз зацветали гортензии. – Он грустно покачал головой и потрогал ручку совсем остывшей кофейной чашки. – Отец был в ярости. Честно говоря, я никогда не видел, чтобы мой отец так сердился, вообще-то он очень добрый человек. Конечно, при Хане он ничего такого не сказал, только я понял, что он сильно раздражен: когда он бывал раздражен, он постукивал пальцами по столу – вот так. – Кимура-сэнсэй положил на стол руку ладонью кверху и постучал по дереву костяшками пальцев – очень тихо, с интервалами не меньше секунды между постукиваниями. – А когда она ушла, он дал волю своему гневу.

– И... как же вы потом поступили? – осторожно поинтересовался я, потому что он снова умолк, погрузившись в воспоминания.

– В общем-то, моего отца можно было понять, – помолчав, продолжил Кимура-сэнсэй, как будто не расслышав моего вопроса. – Он родился в семье военного врача через год после окончания Второй мировой, и все его детство было так или иначе связано с унижением, которое пришлось переживать всем японцам. Но отец никогда не говорил со мной об

этом, и я не мог подозревать, что моя любовь к американской девушке может стать для него тяжелым ударом. Как бы вы поступили на моем месте, Никорай-сан?

Я только пожал плечами и покачал головой, не найдясь с ответом. Заколка Момоко-сан так и оставалась в моей руке. Я вертел ее в пальцах, и в какой-то момент пластиковые зубья вдавились в ладонь – не слишком больно, но ощутимо, как зубы примеривающейся укусить кошки.

– Я поступил очень глупо, – сказал Кимура-сэнсэй. – Попытался объяснить с Ханой, сказал ей, что мой отец против нашей связи. Она, конечно, хотела узнать причину, и я ответил, что это потому, что она американка, а отец ненавидит все американское.

Я промолчал: едва ли молодая девушка могла принять такую странную причину.

– Хана плакала, – продолжал Кимура-сэнсэй, – она не могла понять, почему я должен покориться воле родителей, потому что в Америке это немислимо, американский бойфренд просто ушел бы со своей девушкой от такого отца, американец ни за что бы не обидел свою девушку... Она много чего тогда сказала, – он вздохнул, – и была, думаю, со своей стороны права. Вскоре после этого разговора Хана уехала домой, бросив стажировку в Тодае – так сильно я заставил ее страдать.

– А потом? – Я взглянул на часы: до лекции оставалось всего десять минут. Студенты, наверное, уже собрались у

дверей аудитории.

– Потом... потом жизнь пошла как прежде, с отцом мы помирились, может быть, он жалел, что повел себя так жестоко. В любом случае, мы старались об этом не заговаривать. А примерно через год я повстречал Ханако-сан.

Заметив мое удивление, Кимура-сэнсэй усмехнулся, и в глазах его как будто промелькнуло лукавство.

– Это я так ее назвал, настоящего имени этой девушки я не знаю. Когда я пришел однажды на занятия, она уже сидела за столом спиной ко мне – к нам иногда заходили студенты с других факультетов, поэтому я не удивился. Записывая слова лектора о русском формализме, я то и дело поднимал глаза и рассматривал узор на ее свитере и коротко подстриженные волосы. Иногда она поворачивала голову или поправляла рукой прическу, но мне все никак не удавалось рассмотреть ее лицо, и я думал, что у меня это получится, когда закончится лекция. Мысль о том, что я должен увидеть ее лицо, стала неотвязной, но, когда закончилась лекция, Ханако-сан быстро встала и вышла вместе со всеми – я увидел ее лицо только мельком и не смог запомнить его черты, помню только, что она была очень густо покрашена, студентки так не красятся. Вернувшись на свое место, я увидел, что Ханако-сан забыла на столе закладку для учебника – маленький металлический веер с блестящими перламутровыми вставками и истрепавшимся белым шнурком – наверное, она часто им пользовалась. Мне следовало не трогать этот веер или

отдать его преподавателю, но я не удержался и, пока никто не видел, взял его и сунул в карман рубашки. Я решил, что найду Ханako-сан и сам верну ей ее вещь.

– И вы... вам удалось ее найти, Кимура-сэнсэй? – Сам не знаю почему, но я ощутил укол беспокойства.

– Скажите, Никорай-сан, вы когда-нибудь слышали про онрё:?

– Онрё:?. Это привидение? – Признаться, познания в запутанной японской мифологии у меня самые скудные.

– Если точнее, это мстительный дух умершего человека, – пояснил Кимура-сэнсэй. – Чтобы появился онрё:, человек должен умереть, но если живой человек очень сильно страдает, то его дух может стать икирё: и явиться к обидчику, чтобы наказать его. Икирё: – это мстительный дух живого человека.

– И вы, что же, думаете... – Я совсем растерялся и, наверное, глупо заулыбался.

Кимура-сэнсэй, очевидно, меня разыгрывал.

– Я долго искал Ханako-сан, спрашивал о ней других студентов, но никто не мог сказать, что за девушка приходила к нам в тот день: большинство и вовсе не обратили внимания на незнакомую студентку да и не были даже уверены, что видели ее. Я же думал только про Ханako-сан и почти забросил занятия, хоть и приближались экзамены, только сидел каждый вечер после лекций в парке возле университета, рассматривал ее закладку и представлял себе нашу встречу:

что я скажу ей, возвращая ее вещь, и что она мне ответит. Иногда в моих мечтах Ханako-сан улыбалась мне и благодарила, иногда удивлялась и отвечала, что она и думать забыла о такой незначительной потере и не нужно было так беспокоиться, а иногда смеялась надо мной, и этого я боялся и говорил себе, что, если она будет надо мной смеяться, лучше бы мне никогда ее не находить. Но мысль о том, что я не найду Ханako-сан и не увижу ее лица, пугала меня еще больше. Короче говоря, я мучился. – Кимура-сэнсэй рассеянно постучал мизинцем по пустой кофейной чашке, затем взглянул на меня виновато. – Я сильно отвлекаю вас, Никорай-сан?

Я отрицательно покачал головой, хотя мне уже, по правде, было пора.

– Я наконец повстречал Ханako-сан в последний день семестра. Мне бы надо было думать, что меня исключат из университета, но я не мог думать ни о чем, кроме того, что не смогу больше приходить туда и ждать ее, чтобы отдать ей закладку для учебника, больше меня ничто не заботило. Я не выпускал маленький веер из рук и даже ночью просыпался, чтобы посмотреть на него и дотронуться пальцами до перламутровых вставок – конечно, это был вовсе не перламутр, а просто разноцветный пластик, – такую вещь можно купить в любом магазинчике бижутерии на крупной станции.

Я машинально сжал руку, в которой держал заколку Мо-моко-сан, и пластиковые зубья впились мне в ладонь сильнее – скорее всего, останутся небольшие синяки. Эта вещь

действительно не имеет никакой ценности, и разумнее всего было бы просто выбросить ее и забыть.

– Ханako-сан стояла на лестнице, влобоборота ко мне. Руки она сложила на перилах и смотрела вниз, как будто высматривая там что-то или наблюдая за студентами, которые шли в аудитории или просто стояли и разговаривали на этажах. Я подошел к ней и что-то сказал про потерянную закладку – только в тот момент мне пришло в голову, что я ведь не знал ее настоящего имени! Услышав мой голос, Ханako-сан повернула голову. Ее лицо, как и в тот день, было густо покрыто косметикой, и она, несомненно, каким-то образом узнала меня. Она улыбнулась – грустно, но в то же время такой улыбкой, какой может улыбаться человек, собравшийся совершить что-то жестокое. Она подняла руки, больно схватила меня за плечи и толкнула с лестницы, да так, что я, скатившись по ступеням, сильно ударился о стену и ненадолго потерял сознание. С того случая я так сильно хромаю. Хотя в этом была и своя положительная сторона: за время болезни мне удалось наверстать пройденное, и меня все-таки не исключили из университета.

– А закладка Ханako-сан, она все еще у вас? – спросил я, напрасно ища в выражении его лица признаки лукавства и удивленный такой простой и такой печальной развязкой.

– Нет. – Кимура-сэнсэй покачал головой. – Должно быть, я выронил ее, когда упал, или Ханako-сан сама забрала ее. В любом случае, я ее больше никогда не видел.

После лекции я, решив пропустить несколько заполненных в вечерний час пик электричек, задержался во дворике со скульптурами возле бю: ти. Гипсовая красавица, склонив набок голову, равнодушно смотрела на заколку, которую я снова достал из кармана и вертел в пальцах – на лекции я с трудом от этого удержался. При закатном солнце стразы на крыльях серебристой стрекозы тускло поблескивали и казались настоящими драгоценностями. Если Момоко-сан – мстительный дух, который теперь будет неотступно преследовать меня, то лучшее, что я могу сделать, – это по возвращении домой написать письмо моей невесте. Может быть, тогда икирё: исчезнет, я выброшу заколку в ближайший контейнер для сбора пластика и буду вспоминать рассказ Кимуры-сэнсэя просто как странный и забавный эпизод. Но вот только мне совсем не хотелось, чтобы Момоко-сан пропала, и, если теперь мы действительно каким-то таинственным образом были связаны, я непременно должен был встретить ее снова. Физически я, скорее всего, сильнее Кимуры-сэнсэя в молодости, тем более я предупрежден и не дам ей столкнуть меня с лестницы. Не знаю, сколько времени я провел в этих раздумьях, но, вернувшись в тот день домой, я не нашел заколки со стрекозой ни в карманах, ни в моем кейсе с материалами к лекциям. Должно быть, я обронил ее где-то по пути к платформе Гэйдайдоори или в извилистых переходах нагойского метро.

Марта АНТОНИЧЕВА

Разговор с человеком

рассказ

Церковь занимала весь восемнадцатый этаж развлекательного центра. Когда лифт остановился, вышел только Илья. Остальные спешили на другие этажи – в кино, по магазинам, к проституткам, на работу, гонки, в сауну, спортзал.

В храме не было ни души. Илья подошел к автоматам и выбрал в одном свечу среднего размера. На экране высветились свободные места, где можно ее зажечь. Он выбрал с краю. Спереди у алтаря зажглась еще одна свеча, красная.

В автомате с записками выбрал «за здоровье» и набрал на экране имена сестры, матери и отца. В чеке имя отца было указано с ошибкой. Разберутся.

Сел на мраморную скамью. Перед ним светились голографические иконы, которые меняли выражения лиц со скорбных на веселые и реагировали на движение, поворачиваясь лицом и помахивая руками, подзывая к себе, указывая на молитву рядом.

Он сел напротив Николая Чудотворца, тот повернул к Илье лицо и приветливо помахал рукой. Указал на кнопку – достаточно бросить монетку, и молитву прочитает тихий, но одновременно высокий мужской голос, который разнесется

по храму, отражаясь в каждом уголке.

Илья отрицательно покачал головой, ему это не нравилось. Напоминало аудиокниги. Нужно поговорить с кем-то живым.

Он подошел к самому большому из автоматов у входа. Поначалу хотел выбрать причастие, но передумал: дорого и не готов он, ведь перед причастием нужно исповедоваться. А ему бы просто поговорить.

Он запутался в дополнительных пакетах и опциях. Все они шли с разными обрядами и услугами. Отдельно можно выбрать только беседу, исповедь и причастие на выбор: с человеком, роботом или священником. Илья выбрал беседу с человеком. В разделе дополнительных опций уточнялось, какие эмоции требуются от человека: сочувствие, отзывчивость, жалость, раздражение, возмущение, гнев, грусть, смущение, неловкость, радость, гордость, благодарность.

Илья отказался от эмоций: это же человек, не робот, по нему будет видно. Оплатил, и сразу сверху приехал лифт, а в нем – невысокий мужчина средних лет. Он смотрел прямо, как робот.

– Пройдемте, – сказал он Илье, и они сели на лавку неподалеку от иконы Ксении Петербургской. Та приветливо улыбнулась Илье.

– Начинайте, – сухо произнес человек и уставился в пустоту.

Илья ожидал большей палитры эмоций, но так устал об-

щаться с роботами по работе, что одно присутствие живого человека, готового его выслушать, очень мотивировало.

– Я никогда не узнал бы обо всем, если бы не ведро, – начал он. – Такая конструкция, которую раньше использовали для разных нужд – я погуглил, – мытья пола, стирки и даже приготовления пищи.

Поначалу мне это казалось еще одной ее необычной фишкой. Аня, знаете ли, любила все странное, особенно старину, – тащила в дом сундуки и шкатулки, непонятные абажуры. Она была очень привязана к своей бабушке, та прожила лет триста и многое успела застать. Так что всем, что Аня знала, она была обязана бабушке. Наверное, поэтому выбрала профессию декоратора. Ей не нравилась компьютерная графика, она часто повторяла, что в ней нет души.

Мы познакомились у друзей, я тогда занимался торговлей и был богат, а она молода и немного взбалмошна, на этом и сошлись. Она поступила в престижную школу дизайна, оплачивать которую приходилось мне, и была абсолютно счастлива. Казалось, ее счастья хватало с избытком на нас обоих.

– С ней было весело, – словно оправдываясь, продолжил он. – Иногда даже чересчур. На третью годовщину совместной жизни я подарил ей кошку – она любила животных. Все остальное у нее и так было.

Кошку поселили в специальном доме из дерева и тряпок, который та оберегала от глаз остальных, как Аня наше жи-

лье. Они были в чем-то похожи, эти два существа.

Через пару месяцев кошка вдруг сильно поправилась, и тогда Аня достала откуда-то это злополучное ведро. Сказала, что хранила его в гараже, среди других антикварных вещей, доставшихся ей от бабушки. Зачем его принесла, объяснять не стала, бросила что-то вроде «скоро увидишь».

И я увидел. Правда, не сразу, через пару недель. Внутри ведра. Трупики новорожденных котят. Четыре штуки.

Аня со смехом показала его, а после смеха уже обмякшие тельца в унитазе. Просто нажала на кнопку.

Она тогда уже была беременна, хотя мы еще не оформили отношения.

Кажется, все, кроме меня, остались довольны ее поступком, даже кошка сидела неподалеку и облизывала спокойно лапу.

Но вы же знаете закон? Вышло, что я невольно стал соучастником убийства, и не одного, а четырех! И церковь поддерживает закон, так что вы должны быть на моей стороне!

Когда я спросил Анну, зачем она так поступила, та ответила, что этому ее научила бабушка, которая делала так всегда.

«А как же закон?» – не поверил я тогда.

Аня пожалала плечами, ухмыльнулась и сказала что-то вроде: «Ну ты же меня не сдашь?»

Что мне оставалось делать? Я не мог дальше жить с убийцей!

Потихоньку она и кошка стали занимать все больше места в квартире. Нам пришлось оформить отношения, так как поводов, чтобы отказаться от этого решения, я не придумал. ДНК-тест подтвердил отцовство.

Анна стала скупать детские вещи и захламлять ими дом. Секса у нас не было, потому что ее психолог запретил. По вечерам она сидела в обнимку с кошкой и смотрела комедийные сериалы. Засыпала с кошкой в нашей кровати – я переселился на диван в гостиной.

Я старался возвращаться с работы все позже и позже, разговаривать с ней было не о чем.

Когда меня срочно вызвали в командировку, она потеряла ребенка. Врачи сказали, что его можно было спасти, если бы она обратилась к ним на несколько часов раньше, но я им не верю.

Случилось так, что ночью кошка пришла к ней спать и легла не привычно рядом, а на лицо Ани. Та стала задыхаться во сне, и от испуга у нее начались внутренние сокращения. По словам врачей, если бы я был рядом, то помог бы Ане прийти в себя.

Она позвонила в скорую, та приехала к обеду, в итоге ей дали наркоз и выскоблили. Все произошло очень быстро. Когда Аня вернулась домой, кошка пропала. Аня собрала все детские вещи и отнесла в приют. Забросила работу и подолгу сидела на кухне, глядя во двор, на играющих детей.

Однажды я вернулся с работы и не нашел и ее. Осталось

только ведро, которое теперь перешло ко мне. – Он помолчал минуту. – После я встретил ее однажды, через много лет, но она совершенно не изменилась. В павильоне игр с дополненной реальностью проходила презентация, и друзья пригласили меня за компанию. Аня стала прототипом одной героини. Она даже не повернула голову, хотя слышала мой голос. – Казалось, он хотел что-то добавить, но в последний момент передумал, и речь его запнулась.

– Мне часто снятся кошмары, – продолжил он, собравшись. – Я принимал разные препараты, но проблему со сном они не решают. Психолог посоветовал сходить в ваше заведение, хотя в Бога я не верю. Но мне начинает казаться, что есть кто-то выше нас, кто решает, быть нам счастливыми или нет. Так ведь? Иначе зачем эти голограммы, свечи и прочая атрибутика?

Собеседник взглянул на него безучастно, вздохнул и промолчал. Казалось, он вообще не слушал монолог, а только присутствовал здесь как тело. Душой он находился где-то очень далеко.

– Почему вы молчите? – не понял Илья. – Я тут душу буквально перед вами излил, о самом наболевшем рассказал, а вы просто молчите. Человек ты или кукла?

– Слушай, ты выбрал базовый пакет. Он включает только одну опцию – выслушать. Я это сделал. На что ты еще рассчитывал? – Человек устало заглянул Илье в глаза. Он напоминал сотрудников круглосуточных кол-центров, кото-

рым постоянно приходится выслушивать чужие жалобы.

– Но с таким же успехом я мог бы рассказать все роботу!

– Да, это было бы дешевле, и он наверняка посочувствовал бы тебе и даже чем-то помог, если бы программа позволяла. Но ты выбрал опцию «разговор с человеком». Она дороже, но ты ведь понимаешь, людей в наше время осталось мало и ценность разговора с человеком – самая высокая.

– Но чем ты тогда отличаешься от робота? Ты даже не смотрел на меня, когда я с тобой разговаривал!

– Это все, что входит в базовую опцию, извини. Для диалога следовало брать пакет «исповедь» либо проходить курс «очищение души» со священником. У нас же есть F.A.Q. Ты ознакомился с ними перед выбором?

– Это нечестно! – возмутился Илья. – Я обращусь в региональное отделение прав потребителей! Сейчас же вызывай менеджера по продажам!

– Господь Бог – мой менеджер по продажам, – произнес устало человек и вышел в невидимую дверь, где воспарил на прозрачном лифте вверх, отрешившись наконец от всего земного.

Геннадий ВДОВИН

Памяти «Невечерней», или О хоровом пении¹⁶

соло

*Светлой памяти деда моего –
Сергея Никифоровича Вдовина*

*Ай, да невечерняя, невечерняя ли нэ заря
Ай, заря, ой, да зорька,
Зорька виткак спотухала, спотухала,
Зорька виткак спотухала, спотухала,
Спотухала эй ли нэ заря.*

Старинная таборная песня

*Что за горе? Плюнь, да пей!
Ты завей его, завей
Веровочкой горе!
Тоги тоску в море!*

*Вот проходка по баскам
С удалью небрежной,*

¹⁶ Рассказ из неопубликованной книги «Памяти памяти». Прежние главы печатались в «Октябре», «Новом мире», «Независимой газете» и других периодических изданиях.

*А за нею – звон и гам
Буйный и мятежный.*

*Чибиряк, чибиряк, чибиряшечка,
С голубыми ты глазами, моя душечка!*

Аполлон Григорьев

*Цыган был вор, цыган был вун,
Но тем милей вдвойне,
Он трогал семь певучих струн
И улыбался мне,
И говорил: «Учись, сынок,
Учи цыганский счет –
Семь дней в неделе создал Бог,
Семь струн в гитаре – черт,
И он ведется неспроста
Тот хитрый счет, пойми,
Ведь даже радуга, и та,
Из тех же из семи
Цветов...»*

Александр Галич

Дед мой цыганский, Сергей Никифорович Вдовин, отво-
евавший все войны и отсидевший все лагеря, петь, как и по-
ложено цыгану, умел.

Умел.

Хорошо умел.

Но не любил уметь.

Не любил и не спешил.

Никогда не солировал и не тенорил.

Никуда не торопился.

Ничуть первым не запевал.

Впрочем, в доброй мужской компании после пятой рюмки низким, глубоким, чуть хрипавым баритоном всегда было подтягивал...

И «Эх, дороги!..»

И «...Прощай, любимый город...»

И «Давай закурим...»

И «Прощание славянки»...

И «...Растаял в далеком тумане Рыбачий...»

И «По тундре...»

И «...Любимый город в-синий-дым-китая...»

...

Через четверть-другую часа, рюмке на восьмой-девятой слышалось вдруг, что точнее всех, и глубже всех, и абсолютно в ноту попадая, поет он.

Поет деликатно, ведя нежно неумех, спасая терпеливо безголосых, вытаскивая грубо лажающих...

Поет, не солируя, не подавляя, не унижая...

Поет, зовя и приглашая, разделяя, не властвуя...

Поет, соучаствуя и сочувствуя...

Поет скромно.

Поет по фронтовому и по лагерному братству...

Поет, показывая глазами, кулаками и желваками моему

отцу, навсегда тенору, красавцу, герою и солисту, что здесь-то ему-то и промолчать.

Батя, бронзовея цыганским стоическим профилем светлой памяти древнегреческих рымлянцев, тихо, безнадежно и бледно затыкался, уставляясь в не питуя пока рюмку.

...

Итог собрания: «А хорошо, мужики, посидели!» – дед считал наградой.

Этим-то результатом он был всегда доволен, хитро прихлебывая остатнее, разливая посoshки и подавая, раздавая, выдавая товарищам ватники, костыли, шинели, кепки, плащи, палки и пальто...

...

Вовсе иначе дед пел мне колыбельные.

«По тундре...» Спи, б\дь. – «...по железной дороге...» Спи.

«Что за песня в степи молдаванской! Как дрожит под ногами земля!» Спи, б\дь.

«Уна магтина ми сон свеглято...» Спи, б\дь. «О белла, чао...».

«Шел по улице сиротка, посинел и весь дрожал...». Спи, б\дь. «Шла по улице старушка, пожалела сироту...» Спи.

«Любо, братцы, любо...» Спи, б\дь. «Атаман узнает, кого не хватает...» Спи, спи уже!

...

Ежели я сразу не засыпал, а от этих щедрот я сразу никак не задремывал, то просил «Невечернюю».

Пел ее дед неохотно, начиная как бы из-под спуда, глотая слоги не помнимой никем речи стальными зубами.

Ай, да невечерняя, невечерняя ли нэ заря...

...

– А пошто тебе, дурачок?..

– Понять...

– Что понять?

– Как сделано...

– Дурак ты, внук. Красота не развинчивается...

– Дед! До конца-то, конечно, не разобрать, но что-то слышится соуместное.

– Да... Хорошо – «соуместное». Сам придумал?

...

– Дед, а «Невечерняя» – это про что?

– Зачем тебе это, мальчик?.. В паспорте у тебя все равно будет написано «русский»...

– Поглядим.

– Дурак... Ты, конечно, можешь записать в паспорте «цыган» и огрести...

Но...

Ты не можешь выучить язык, которого, почитай, нет, и обратиться к преданию, которого тоже нет, или к отсутствующему писанию, которого тоже не существует...

Разве что, Бог дай, поступишь в Московский императорский университет и выучишь санскрит. А там, Господь милостив, чего-то и поймешь... И кому-то что-то докажешь...

...

Начитанный Генька самокритично сообщал, что он никак не Ломоносов и рыбного обоза из-под Архангельска, поди, уж не предвидится, а Московский императорский университет нынче МГУ.

Дед хохотал, ослепительно светя под моим косым ночником железными зубами, подаренными ему партией и правительством за «Красную звезду», за «Отечественной Войны», и «За отвагу», и пр.

Смеялся и толковал, что милостив Бог и, может статься, сопроводишь ты еще грузовик с «Килькой нерядовой в томате» с Таганского аль Перовского рынка до университетской столовки на Ленинских горах.

...

– Так про что ж «Невечерняя»?

...

– А, дурак ты, внук...

И отец твой дурак...

И я мудила...

А я всегда ее себе пел при прижиме.

– Помогла?

– А то!..

– Где пел?

– В Испании под обстрелом без воды, в предвариловке в Таганке по ребрам, на пересылке по яйцам, под Абаканом по почкам, в окопе под Красногорском под остатний чифирь, в госпитале берлинском со сломанными ногами без наркоза под спирт, в больнице в Москве, когда Настя, бабка твоя, помирала, без ничего...

...

– Дед, так про что ж «Невечерняя»?

– Это просто обрусённая коллективная молитва, которую от нужды сделали шлягером для сытых, но от этого она не перестала быть сакральным текстом, молитвой, заговóром.

Вспомнив свой залапанный и залистанный БСЭС, начитанный на шестом году жизни Генька, знавший уже слова «стимул», «парадокс» и даже «меридиан», с тоской спрашивал:

– Молитва кого? А «сакральное» – это что?

– Представь себе одиноких, голодных, обреченных, замерзших, никому не нужных людей, вышедших холодной

ночью третьего века до нашей эры из не то Северного, не то Северо-Западного Индостана. Людей, не умеющих воевать, убивать, сеять, молотить, грабить, пахать, полоть, огородничать, скирдовать, но умеющих ковать, гончарить, плотничать, уже кое-как токарить, уже что-нибудь, как бы, слесарить, уже как-нито фрезеровать, лечить людей, петь, воровать, целить животных, гадать, исчислять звезды, стекло варить...

А «сакральное» – это просто «святое». Понимаешь?

– А почему они бежали?

– Они уже знали, что Бог один.

– И?

– Монотеистам невесело было тогда в Индостане среди вражних...

...

Подрастешь, и будут тебя сначала учителя, а потом прочие интеллигентные люди доставать Чеховым. Антоном нашим, Бѣдъ, Палычем. Мучить его пьесами и прочими «Скучными историями»...

А ты прочитай тогда один рассказ – «Студент».

Почувствуй озноб...

Холод осознай...

Плечами от стыли передерни...

И пойми стыд предраскаяния. И услышь, как холодно и голодно выбирать. Как бездомно и стыло отказываться, ве-

руя, и, веря, едва не продавши, искать спасения, обреченно ожидая заполошного петуха...

Вопрос-то от ихней тройки к Петру был не так об Мессии, как о подлинности спасения.

Напрягая закипающий мозг, Генька, вспоминая свой все-спасительный БСЭС и догадываясь о смысле приставки, ставит вопрос ребром:

– Монотеист – это однобожник, что ль?

– Именно, – отвечает уставший дед. – Спи, б\дь...

«Я помню тот Ванинский порт... И гул пароходов угрюмых». Спи...

...

И когда тебе, мужик, станет совсем худо-поперек, зануди, замычи, запой себе-в-себе-прб-себя «Невечернюю». Спасет.

...

Спасибо, дед.

Спасало.

Спасает.

Бог даст, еще спасет.

...

Ай, да вы поденьте,

Вы поденьте, манге ей, братцы,

Ай, братцы, ай, да тройку,

тройку, манге, серопегих,

Тройку, манге, серопегих,
Серопегих, серопегих, манге, лошадей!
Ай, да невечерняя...

Дмитрий БАК

Поэты русские

«такие строчки-зарисовочки...»

*Трамвай, как детский мяч прекрасный,
Зелено-синий, желто-красный...*

Б. Слуцкий

такие строчки-зарисовочки
и рифмы на местах, как стража, –
стихов советское узорочье,
простая выставка-пропажа:

искусство тёртое, не мёртвое,
полуживое, а порою –
надрывное и козьей мордою
об стол за ропот похоронный

и за отсутствие тревожного
броска в космические дали;
под насыпью, во рву стреноженном,
я узнаю твои скрижали,

поэт, предложениями натруженный
и междометиями полный,
твои рылеевы-бестужевы,
милорды-блюхеры, как волны

на сонный берег летели вынести
обломки запоздалых трелей
и жёлто-синих дней без примеси;
в зелёных плакали и пели

красивые молодые слуцкие
и левитанские, как ветер:
стоят в строю поэты русские
навытяжку, одни на свете

* * *

ну, ответчу в склад и в лад:
пусть вокруг подземный ад,
пусть, верней, надмирный рай –
иглы гулкие собирай!

эма-мандель, штамм житья –
бостон-сковское дитя:
где ты, где ты, соловей,
соло, полное кровей,

смешанных в один реду́т –
опоздавших подождут
спутанные небеса:
облака, луга, леса;

до тебя, как до луны:
пятна тёмные видны
с оборотной стороны,
сны известием пьяны;

молча встретим новый свет,
преступивши, где нас нет;
новый горний наш полёт
не задушит, не умрёт

«ПОМНИШЬ, КАК У ЗАМНАРКОМА...»

*Летних сумерек истома
У рояля на крыле.
На квартире замнаркома
Вечеринка в полумгле.*

А. Межиров

помнишь, как у замнаркома,
что у Межирова, не
возвратился ночью к дому,
где в последнем светлом сне

взором белым – брат на брата
и сестра к сестренке в бе –
лой и выглаженной кратно
блузке – льнули, но припев

аты-баты выпал в темя,
выпаленный с полуглаз:
так слова тогда летели,
Совинформбюро – не ТАСС;

словно будет вдоволь хлеба
и за океан ничуть
не повеет солью с неба
льда хоть каплю зачерпнуть

«Нельзя беречься, говорит Давид...»

*Давай поедem в город,
Где мы с тобой бывали.*

Д. Самойлов

Нельзя беречься, говорит Давид
(Самойлов) – Голиафу, накануне
нокаута, когда он, боевит,
и умертвит его, и переплюнет
размахом сердца; вылетит пращой –
прощён и брошен, обезглавлен этот,
покинутый в несчастье и ещё
пустой отвагой посрамлённый метод
прощения, прощания; и пусть
бледнеет день и кажется, что верный,
неровный путь был выбран – прочь от муз, –
кислотный ужас или амфотерный;
беречься от покинутых в крови
загугленных и брошенных событий...
но всё равно – ту би ор нот ту би –
один, два, три, четвёртому не быти.



Чужая боль, а ты не слышишь,
И врозь кого-то развело
На площади, где грезят крыши
Листве, растрепанной назло;

И вроде всё навек понятно,
Но вот до хрипоты готов
Кричать, что не вернуть обратно,
Поэт Владимир Соколов;

И мне неведомы причины –
Лицом к лицу не увидеть...
Должно быть, ножик перочинный
Исчез из виду без следа,

И потому – нет, не перо, нет –
Твой карандаш остался нем
И между строк, как на перроне,
Звук замирает – в стороне

От бодрых и походных песен,
От строек дальних, светлых тем –
Такую боль везде развесил
По строфам ты, что полетел

До срока белый тополиный
Пух, отцвела в саду сирень
Еще до майских журавлиных
Дней, а зима не в ноябре,

В июне наступила споро,
Задолго до смертельных уз,
Когда поэт с немом укором
Мне завещал немой союз

С его покинутыми днями,
И с ним, покинутым вдвойне, –
И той, с кем счастлив был вначале,
И мной, глухим, немом, как снег...

Кирилл КОБРИН

Картинки, буковки, города из дневника 2018–2019

Предисловие

Я веду дневник уже почти тридцать шесть лет, чем ужасно горжусь, пусть и веду неаккуратно, с провалами иногда в год-два. Главное, что он есть, всегда под боком, ждет, когда я справлюсь с ленью, возьму ручку и напишу что-нибудь. Да-да, ручку, я веду *рукописный* дневник; когда очередная тетрадошка кончается, складирую ее к прочим; по их коллекции можно изучать историю советской, российской, европейской, китайской писчебумажной промышленности примерно с конца семидесятых по настоящее время.

Дневник я веду для себя, оттого и бумага с ручкой. Дисциплина вдвойне – фиксировать (это раз), фиксировать от руки, чтобы не потерять навык бытовой каллиграфии (это два). Я никогда не перечитываю записанного за все эти годы; как знать, быть может, и не перечитаю никогда. То есть дневники так и сгинут после моей смерти, никем не открытые. Собственно, таков мой замысел. Хотя, конечно, завет-

ные тетрадки я не прячу в сейф; любой из окружающих может тайком открыть и прочесть пару страниц. Полагаюсь на прочность моральных устоев друзей и близких, но если кто-то и дал слабину, то ничего интересного в этих тетрадках не нашел. В юношеском дневнике, как положено, шум и ярость по поводу несовершенства мира, мечты понятного возрастного свойства и проч. Позже – уже отчеты о прочитанном, прослушанном, просмотренном; позже к ним прибавились новогодние резолюции, а также сожаления по поводу ушедших из жизни друзей и знакомых. Иногда что-то про деньги и погоду. Недавно заметил, что внутренних рецензий стало меньше, фактически они исчезли.

Последнее обстоятельство и побудило меня начать в 2018 году еще один дневник. Электронный – и не о себе и своих делах, а о мире. Но не такой, что вели братья Гонкуры, Кузмин или Лидия Гинзбург. И не бумажный, а айпэдный. Со вторым обстоятельством все ясно: я везде таскаю с собой это великое изобретение компании *Apple*. В него вношу всякие заметки о наблюдаемом. Вот и подумал: не организовать ли их хронологически? Почему нет? Теперь что касается «о чем». Меня уже давно занимает такая нехитрая мысль: мир, в котором мы живем, есть не театр, как утверждал Шекспир, а арт-объект, причем объект именно современного искусства, *contemporary art*. Если внести немного теологии, то он еще и объект концептуального искусства: мы придумали Бога, который, подобно «персонажному автору» московских

концептуалистов, управляет миром, предварительно смастерив его. В моих словах никакого богохульства: ведь если Бог есть, то он уж точно играет в совсем иную игру, не так ли?

В общем, если Ролан Барт в «Мифологиях» осветил ровным светом галльского рацию семиотику повседневной жизни, то я, будучи гораздо скромнее (и не будучи галлом, конечно), просто думаю обо всем, что вижу, слышу, читаю, ощущаю, как о феномене – уж простите за высокий слог, тут другого слова не подобрать – *contemporary art*. Тут не старая-добрая «эстетизация мира», отнюдь, скорее наоборот, деэстетизация искусства. Еще проще: я пытаюсь увидеть жизнь как хронологически организованное пространство, территорию, причем территорию искусства, арт-территорию, по которой – переиначим известное высказывание одного обер-прокурора Синода – бродит любопытствующий человек. Ниже – заметки этого бродяги об увиденном и подуманном.

1 июня 2018-го, Рига, Гризинькалнс

Вернулся из Москвы, раскладываю вещи, из сумки выпала карта, я ее прихватил в отеле. Ничего особенного, карта топографическая, показывает центр, такие обычно лежат на рецепции; но тут смешно, на обложке почти сплошь иероглифы: ведь гостиница называется «Пекин», сталинская высотка рядом с Маяковским. Так уж вышло, не специально, мои китайские приключения ни при чем, жилье заказывала

приглашающая сторона. Ну и я об том не пожалел: кажется, в подобных местах никогда не жил. Всякие отели видел в Москве: и как бы новые («Новотель», к примеру, где за завтраком почему-то больше всего средней руки чиновников чичиковского возраста, путешествующих с семейством), и отчасти старые (помню около Покровки жил в бывшем борделе; профиль заведения поменяли, а вот декор – нет, ходил по вытертым плюшевым коридорам и непонятно отчего вспоминал Куприна; К. Б., которого тоже там поселили, не выдержал и сбежал ночевать к здешнему знакомому, тоже мне, а ведь гусар типа), и какие-то промежуточные. Но «Пекин» – ах! Ампи́р эпохи широченных штанин товарища Лю Шаоци и других китайских товарищей, приехавших навестить мудрого товарища Сталина. Пока рецепционистка искала в компьютере бронь, а портье из бывших ментов устремил сквозь меня безучастный серый взгляд, будучи равно готов и чемодан мой подхватить, буде у меня таковой имелся, и наряд вызвать, буде буянить вздумаю, я бормотал под нос незабвенное:

Москва – Пекин.

Москва – Пекин.

Идут, идут вперед народы

За светлый труд, за прочный мир

Под знаменем свободы.

Меня окружало именно оно, москвапекинское: импер-

ский *grandeur*, состряпанный из ДСП благородной бордовой раскраски, пластиковые цветы на входе в ресторан, собственно, целая из них ярко-кислотная стена с загадочной надписью *BAR 2545*, зловещий шик средней руки дагестанских гангстеров; утром здесь шведский стол, а ночью неторопливый оттяг совсем не скандинавских, плотно стриженных затылков, в холле (я потом выяснил – на каждом этаже) – экраны, на экранах – хроника тех возвышенных лет, когда товарищ Мао и товарищ Лю посещали краснознаменную семихолмовую, а на пересечении улицы Горького и Большой Садовой возводили этот – тоже сильно возвышенный – символ советско-китайской дружбы. «Слышен на Волге голос Янцзы, / Видят китайцы сиянье Кремля». Только уже на следующий день я обратил внимание, что по-английски отель называется по-старому, *Peking*, а не новомодно *Beijing* – все четко, историзм торжествует. Да, а коридоры! Длинные коридоры, устланные красной ковровой дорожкой с якобы мандаринским орнаментом, желтые стены над невысокими деревянными панелями под цвет лакировки времен династии Мин, на желтых стенах – картины, темноватые пейзажи то ли под сталинских певцов среднерусской природы, копирующих передвижников, то ли кисти самих сталинских певцов березок, песчаных откосов над неторопливыми реками и шишкинских чащ. Не разберешь. К тому же в коридоре темновато, даже имя автора произведения сложно прочесть. Темные аллеи позднего сталинизма; наверное, сюда водили

своих секретарш ширококостные замминистры – не похоти ради, так, снять напряжение, ведь на краю всё, на краю квартира, дача, «Победа», домработница – всё; сто́ит неловкое словечко сказать, или расклад сменится в известно каких кабинетах – и конец, и вот ты уже не по коридорам гостиницы «Пекин» ведешь полногрудую Ларису Григорьевну, а это тебя ведут, тащат, потного и измочаленного, по коридору Лубянки, в камеру, после чего понятно что. Пекинская разновидность данного сюжета имеет некоторые собственные – национальные – черты, но, в сущности, всё одно. К примеру, тот самый товарищ Лю Шаоци, что в широченных брюках прогуливался по Москве в 1952-м, умер, согласно официальным данным, в тюрьме в 1969-м, затравленный хунвейбинами, битый и оплеванный ими десятки раз. И морали тут не обнаружить. Никакой этики, сплошная эстетика.

Заглянул в гугл, оказывается, «Пекин» запустили уже после смерти усатого, при Хрущеве, когда дружба с Китаем потихоньку охлаждалась, строили слишком долго, но переименовывать гостиницу не стали, надеясь, видимо, что Мао, качнувшись влево, качнется вправо. Но насчет коридоров Лубянки мне привиделось не зря, читаю: «Первоначально здание, заложенное в 1939 году на пересечении Садового кольца и планируемой в соответствии с Генпланом 1935 года Ново-Тверской магистрали, предназначалось для размещения Главного управления лагерей НКВД СССР и ведомственной гостиницы при нем. Проект выполнил архитектор Дмитрий

Чечулин, занимавшийся с конца 1930-х годов проектированием всего ансамбля площади Маяковского, высотной доминантой которой должно было стать здание НКВД». Вот уж спасибо, поселили, как кур во щи попал. Принюхиваюсь к одежде, вынутой из чемодана, – не въелся ли энкэвэдэшный запах.

И еще забавно на этой карте, что я утащил из «Пекина», бодрое приветствие, практически слоган: «Нихао, Москва!» Си-си вам с кисточкой.

Но это все так, лирика. А эпика – она вокруг, Третий Рим, засевающий за двумя линиями обороны: Бульварным и Садовым кольцами. Из «Пекина» по этим линиям хорошо гулять, что я и делал, поглядывая по сторонам, прикидывая, какво это все стало и к чему и что жизнь вокруг меня значит – исторически, что ли, или даже в смысле есть ли эта жизнь уже готовый арт или пока преобладает неокончателность? Иными словами, как выглядит сытый восточноевропейский авторитаризм начала XXI века? Обзавелся ли он «большим стилем»?

Повертев в голове этот вопрос, я оставил его на потом. Меж тем это уже был Страстной, а что там делать, как не осматривать памятники? Первым – понятное дело, почти напротив редакции «Нового мира» – мне встретился Твардовский.

Твардовский, как и положено, страдает. Ну не страдает, ок, он переживает. Голова его опущена. Руки – в карманах

плаща, причем левая несколько отведена назад, открывая множество слоев одежды, покрывающей главреда «Нового мира». На Твардовском надето: плащ (или нетолстое пальто), брюки и пиджак, под пиджаком – жилетка, под жилеткой – рубашка с галстуком. Думаю, под рубашкой еще и майка, так тогда носили. Получается пять слоев. И все это – не считая невидимой майки – в складках. Складки у скульпторов В. А. и Д. В. Суровцевых получились знатные – тяжкие, основательные, как честная совписовская проза про жизнь народа. Да, мне Твардовского на этом памятнике жалко: ну за что ему такое наказание после смерти, этот бронзовый кошмар мужского портного старых времен; Твардовский все же другой был человек, другой. И «Теркин» без складок – ни единой. Но тут уж ничего не поделаешь. От словосочетания «“Новый мир” 1960-х» так становится реалистично и так тягостно, что сам невольно складками покрываешься. Это такой образ оттепели и раннего брежневизма у столичной гуманитарной и.: по праву руку закручинившийся о народной судьбинushке Твардовский, по леву – резвится бодрый мажор Аксенов. Нет, не В. А. и Д. В. Суровцевы памятник ставили, вся московская интеллигенция вымечтала эту волнуемую ветром истории бронзу.

А чуть дальше сидит Рахманинов; он, наоборот, такой сноб и пижон, нога на ногу, тонкий, ар-декошный, заграничный. Тоже же московской интеллигенции мыслительный продукт, мол, мы *тут* страдаем неразрешимыми моральны-

ми вопросами, как Твардовский, а тем, кому посчастливилось в свое время улизнуть, им что, они *там* живут и ни в чем себе не отказывают. Но есть в этом памятнике и хитрость: не намекает ли он, что тщательно сконструированный, сладкозвучно-ретроградный музыкальный романтизм Рахманинова – он ведь и есть ар-деко, звуковой дизайн для богатея, мечтающего о красоте и культуре, что-то типа торшеров Тиффани?

А в конце бульвара раскинул руки бронзовый Высоцкий. Он – кода бывшего будущего, вымечтованного либеральным посетителем ресторана ЦДЛ середины восьмидесятых. И все ведь сбылось! Бронзовый Твардовский публично страдает – и нам, его наследникам, урок. Рахманинова мы вернули на родину – великая русская культура едина наконец. Восстановили связь времен, так сказать. Ну и – предел мечтаний: теперь Высоцкий – это как раньше Шаляпин и Блок в одном лице, он тоже страдал за всех, но не так скучно, как невнятный главред «Нового мира», кто нынче его помнит, а вот Высоцкого мы отлично помним, мы его любим, он страдал как надо, как мужик: хрипел, пил, покорил француженку, мента Жеглова сыграл.

2 августа 2018-го, Лондон, Долстон

Опять в Лондоне и опять в *Tate Britain*. Странно, в последние годы я бываю в старой Тэйт чаще, чем в новой, а ведь расстояние одно и то же от того места, где обитаю, плюс *Tate*

Modern как бы *cool* и там новый корпус, просто гениальный. Великое место. И все же. Вообще это говорит о чем-то во мне самом, во внутренней трансформации моей. Да, с возрастом постепенно наводишь прожектор внимания – сейчас уже не прожектор, а луч, почти лучик – все дальше и дальше назад, пока не натыкаешься на границу, пересекать которую нужны силы и время, а их обычно мало. Да, чем старше, тем глуше замуровываешься в определенных границах эстетически-близкого и исторически-приемлемого, то есть приемлемого без особых усилий. Тут надо пояснить.

Хожу около шкафов с моими книгами в Лондоне, размышляя, как бы половчее все это перевезти в Ригу. Потихоньку перетаскиваю библиотеку в свою квартиру, сразу заказывать контейнер неохота, да и некуда ставить пока эти книги. Так что просто каждый раз бросаю полдюжины томиков в чемодан. На данный момент перевез то, что актуально и нужно для как бы «работы», но ведь, сидя в сердце Гринвичкалнса, мечтаешь о чем-то таком, что осталось там, далеко, на острове. Такое бывает всегда и у всех, и не только насчет книг. Потому сейчас решил: возьму только действительно интересное, нечитаное, не попавшее в персональный разряд «актуального» и «нужного для работы». А для этого требуется определить значение понятия «интересное» для меня лично, вот сейчас, 2 августа 2018 года. Для чего следует побродить вдоль полка, поскользнуть взглядом по корешкам, некоторые потрогать руками, но, главное, не открывать

книжки, только думать о них, причем в категориях определенного исторического периода, культурной принадлежности и моей персональной истории. И вот что получается. Скажем, все античное – Вергилий, Петроний, Катулл, Плутарх, почтенные Платон с Аристотелем, милый рассказчик пустяков Авл Геллий – куплено в юности и в начале молодости. Горизонты тогда были сильно дальше, времени впереди навалом, казалось, прочесть можно все или почти все, к тому же – мы ведь серьезные люди, не так ли? – читать следует согласно системе, хронологически двигаясь от древности к нашему времени. Понятно, что ничего толком из этого не вышло и не могло выйти. Апулея с Петронием, того же Авла Геллия из любопытства (и из соображений разного внелитературного свойства) еще успел проглотить, когда книги глотались, а не читались, а с прочими вышла незадача. Остальные либо попали в разряд «нужных» – по моей тогдашней медиевистической надобности и Вергилия изучить пришлось, и даже кое-что из Аристотеля, не говоря о Плутархе, – либо так и стоят немым укором. Мол, что же ты, Кобрин? Не стыдно ли тебе? Стыдно. Но дело в том, что и горизонт становится ближе, и небо тоже, как пел известно кто. А в перспективе уже не столь теперь отдаленного нырка в темный омут Ничто энтузиазм по поводу нечитанных Сенеки или Аристофана пропадает. Его можно, конечно, имитировать, но зачем? Его можно заставить появиться, энтузиазм, родить его в муках, но вот мук уже не шибко хочется. Соб-

ственно, та же история и с прочей литературой, примерно до Вольтера, что ли, с небольшим, конечно, исключением для самых своих, кровных, которые капиллярами прошили мою ментальную плоть. Да, конечно, Монтень. Ну так он в первую очередь и совершил торжественный переезд в Гризинькалнс.

А дальше, со времен правления Людовика XV и Фридриха Великого, идет действительно интересное и даже многое непрочитанное, заканчиваясь примерно на пятидесятых – начале шестидесятых прошлого века, на последних отличных романах Набокова и еще не совсем усталых рассказах Борхеса. И, конечно, здесь опять исключения, представленные пассажирами того самого контейнера, что прибыл из Лондона в Ригу в самом конце февраля 2018-го: Леон Богданов, Зебальд, Калассо, кое-кто еще, но их совсем немного. Но в промежутке, между Просвещением и поздним модернизмом, я останусь, наверное, навсегда. Он – «мой», причем даже в мелких деталях, в ненужных подробностях и проч. Почему? Сказать сложно, ну нет, легко, только уточнять замучаешься. А если в общем, то вот так примерно: это период, когда появилось и развилось то, чем и в чём я – своим сознанием, привычками и даже чувствами с эмоциями – живу. Скажем, с Руссо я на (относительно) короткой ноге, а с Рабле – нет. Дневники и письма Стендаля читал и перечитывал несколько раз; а вот эпистолярный мадам де Севинье – нет. Столько лет мечтал погрузиться в дневники Пипса, и что же? Купил относительно недавно, поклевал и отста-

вил на полку. Но то же самое и с теми, кто по времени пришелся на пятьдесят четыре года моей жизни. Зонтаг ужасает тихой истерикой московской интеллигентки. «Бойцовский клуб» путаю с «Гламорамой», не читав ни того ни другого. Смысл существования Уэльбека равняется для меня смыслу существования Петросяна. Романы всегда меня восхищающей великой *P.D. James* на фоне даже средних рассказов о Холмсе – упражнения завсегдатаев деревенского воскресного клуба любителей детективов и триллеров. В сделанном в последние полстолетия я вижу только упадок и изнеможение, иногда, впрочем, принимающее забавные формы; их и можно потреблять, чтобы, так сказать, не отстать и держать руку на.

Но при чем здесь *Tate Britain* и *Tate Modern*, зачем я все это вдруг болтаю, когда речь о другом вроде? Ну так нет же, о том самом. Если оставить в стороне очевидное – то, что в старой *Tate* в постоянной экспозиции висит старое британское искусство, а его мало где еще увидишь (да в общем-то и вовсе нигде в больших количествах), – остается тот факт, что выставки там, не считая финалистов премии Тернера, обычно довольно скучного шоу, умещаются между серединой XIX века и серединой XX. Для меня данный период в истории арта соответствует моему литературному загончику. Соответствие не хронологическое, как видим, хотя загончики отчасти совпадают по времени, а социокультурное. Это время встречи искусства с рынком, с демократическим по-

требителем и его, искусства, действия по данному поводу, маневры, тактики, стратегии избегания, приятия, частично-го избегания, частично-го принятия, просто принятия к сведению, эскапизма уже полного и проч. Грубо говоря, время, когда буржуа уже может заказать свой портрет художнику, или там портрет своего загородного дома, или своей семьи, или своей содержанки, а люди победнее либо заказывают фотографии, либо сами фотографируют. Возникает сначала богема, потом декаденты, потом авангард и подполье, в общем, всё, без чего я не признаю историческое время за таковое. На Западе, конечно, только о нем я веду речь. Ну и доступность арта тут важна, его степень, для, что называется, «масс». До середины XIX доступность эта весьма мала, почти отсутствует за пределами народного искусства и церкви. С начала 1970-х и особенно сейчас – доступно всё, сколько хочешь, только радости это не приносит, одну девальвацию и равнодушие. Перед нами новая ситуация, с которой следует работать, ее обдумывать, делать выводы, двигаться дальше... но... пусть это буду не я и пусть это будет не для меня... см. рассуждения выше об иссякании энтузиазма в определенном возрасте. Так что я уж лучше останусь там, где я есть, рискуя оказаться старомодным. Что делать. Лондонский магазин винтажа, возле которого я прожил четыре с лишним года, называется *Beyond Retro*.

Отсюда и – отчасти – предпочтение, оказываемое мною *Tate Britain* перед *Tate Modern*. Дьявол, конечно, в деталях,

они многое пояснили бы в моем винтажном безумии, скажем, что не выношу импрессионистов, что Давида и Энгра из как бы «не моего времени» решительно предпочту любому Ренуару, а Тёрнера, даже академического, любому прерафаэлиту, что люблю китчевый ориентализм, обожаю Верещагина, тепло отношусь к Семирадскому (ах-ах!), русский авангард не вижу в упор, зато готов, нацепив очки, разглядывать каждую мелочь в коллажах Швиттерса или загогулину в графике Кете Кольвиц. Ну это уже персональное сумасшествие, не так ли?

28 октября 2018-го, Нижний Новгород, Кремль, Арсенал

Переместился в Нижний, в «НиНб», как его теперь зовут, в экс-Горький. Здесь дело к поздней осени, что в этих краях потоскливее русского рока. Поселился опять в Арсенале; вечерами сижу, окруженный кремлевскими стенами, слушаю городской шум за окном, мечтаю почему-то о довоенном Берлине, Берлине, который сочинил Фассбиндер. Или он был на самом деле? В том Берлине Йозеф Рот мечтал о небоскребах, мол, они помогут «преодолеть недостаток пространства за счет покорения высоты». Он как-то забыл, что данный недостаток пространства носит не физический характер, а чисто финансовый: из-за цен на земельные участки. Воздух же до сих пор ничего не стоит, ах, какое упущение... Так что выше краны, девелопер!

29 октября 2019-го, Нижний Новгород, Кремль, Арсенал

Местные тетки носят основательные вязаные шапки, по верху которых идет еще и настоящий шерстяной барельеф, орнамент почти монументальный. Тетки выглядывают из этих шапок, как улитки или черепахи из своих панцирей. Рептилоиды атакуют.

15 января 2019-го, Рига, Гризинькалнс

Сегодня первый день солнце – уже месяц его здесь в Риге (больше десяти минут) не видно было. Или два месяца? Сложно сказать. Когда собирался переносить в Ригу свою портативную штаб-квартиру, меня предупреждали, мол, все ничего, город хороший (будто я и так не знаю?), но зима убийственная, мрачок полный. Я слушал вполуха, знаем мы такие зимы, живали и в Питере, и – особенно – в Праге, где с конца октября по март вместо неба – серые тряпки вроде тех, которыми технички мыли пол в советских школах. Но нет, здесь оказалось другое – другой мрачок, серьезный, основательный, сосущий силы. Если нет нужды, выходить из дому не хочется совсем. Ну как бы незачем. Гулять в Риге поздней весной, летом, ранней осенью – наслаждение; в декабре и январе слово «гулять» кажется в этих краях неуместным незаслуженным оскорблением.

С другой стороны, полезно ведь и дома посидеть, и работы полно, и почитать, и музыку послушать, и подумать. В эти месяцы в голове таким фоном, что ли, возникла вдруг Прага,

не шумом, конечно – ведь слово «фон» имеет отношение не только к звуковому, но и к визуальному, – а возникла картинками. Показывают на задней стенке мозга – если вообразить сознание в качестве представления, что разыгрывается в голове, – в виде кадров, пейзажей, уличных сценок, фотографий отдельных строений, как еще лет сорок назад показывали слайды. Иногда луч света, отправляющий картинку на экран, на задник сцены, как угодно назовем это, прерывается тенью, она, увеличенная в размерах до големной монструозности, шествует по изображению и исчезает. Так работает Прага в моей голове с конца ноября.

Потому сейчас самое время в этом разобраться, раз уж идти некуда и незачем. Понятно, что Прага возникает в Риге из-за сходства, по причине зимней тоски, измождения сил, вялой депрессии. Стоит включить солнце, как города эти станут совершенно разными, но в это время года они – пара. Конечно, схожесть эта ложная, чисто эмоциональная, запрограммированная уже тем фактом, что оба места имеют «средневековый» (неправда!) старый город, что немалая часть их построена во время стремительной индустриализации и урбанизации второй половины XIX – начала XX веков, что тут есть ар-нуво (модерн, сецессион – как угодно), призванный вроде радовать, но ничего, кроме усугубления медленного ощущения беспомощности и бесполезности, не внушающий, что эти города строили другие люди совсем для другого, а продают их сегодня туристам в качестве во-

обще совершенно третьего. Вот это расползание исторических интенций, культурных ожиданий прошлого и позапрошлого столетия, эта бесцельность сегодня, неотрефлексированность урбанистической современности да и само по себе наличие огромного количества старых строений с их грязнотой, затхлыми запахами из подвалов, с их избыточными архитектурными затеями, уже непонятными, а когда их понимаешь – чудовищно глупыми, с пришедшими в упадок советскими градостроительными затеями, с населением, которое все это в упор не замечает, ибо живет своей жизнью, с местом мало связанной (и правильно делает!) – всё это и про Ригу, и про Прагу разом, хоть и не в одинаковой степени. Всё это про них как объектах современного искусства, как базовых объектах здешней современности.

Ведь про что современность, «модерность»? Она про город, про городскую экономику (индустрия, сервисный и финансовый сектор), про городское население (признанная опора данного миропорядка – городской средний класс), про урбанизм вообще. И каждый сегодняшний город есть объект, воплощающий модерность в данном конкретном регионе. Соответственно, если современное искусство есть одна из базовых составляющих нашей современности, то города – также объекты современного искусства. Остается начать считать их как таковые.

Как и в современном искусстве, главное в таких объектах – соотношение того, что публика видит, слышит, обоня-

ет, с тем, что об этом написано, какие концептуальные ожидания тут предлагаются. И здесь – самое сильное и самое слабое место города как объекта современного арта. Сильное, так как люди, которых очень условно можно назвать туристами (не только те, кто толпится на Карловом мосту или делают селфи у Домского собора, но и «культурные», даже «интеллектуальные» туристы, сидящие дома, читающие книги, смотрящие кино и воображающие данные урбанистические объекты в соответствии с этими книгами, фильмами и проч.), склонны верить описаниям, данным в тысячах путеводителей и на десятках тысяч сайтов. Эти описания, несмотря на их качество и обращенность к разным целевым аудиториям, создают могущественный образ, справиться с которым сложно, почти невозможно. Ухватки туристической рекламы известны, также известны трюки (довольно банальные, надо сказать) модного в последние пару десятилетий *city marketing*. Они работают превосходно; первые чуть лучше вторых, но у тех все еще впереди. Продают «Золотую Прагу», «Старую Ригу», «Ригу ар-нуво», «Прагу Кафки», «Прагу Голема», «Еврейскую Прагу» и так далее, не говоря уже еще об одном предназначении обоих этих городов как мест хорошо организованного конвейерного запойчика наиболее вульгарных представителей нижней части среднего класса более богатых европейских стран, преимущественно Британии и Германии. В Риге к ним добавляются финны со шведами, но они, скорее, привезут отсюда дешевый алкоголь

домой и напьются там.

Но есть другой род описаний, стилистически – разновидность ресторанной критики для высоколобых, с помощью которого выдают образ того или иного населенного пункта на тарелочке, с идеальной презентацией роскошной культурной пищи, специально для своих, чтобы без плебса и обывателей. Такие книжки бывают интересные, даже превосходные – надо же что-то прочесть о том городе, куда направляешься. Помню, как в первый раз бродил по Парижу с прекрасной топографически-организованной компиляцией парижских цитат из старой и новой литературы; она у меня до сих пор пылится на полке: *A Literary Companion to Paris* составил и подсочинил свое некий *Ian Littlewood*. Я потом еще несколько раз там был, брал ее с собой, но уже почти и не открывал за ненадобностью, так как Париж действительно ускользает от маркетингования себя как чего-то определенного, слишком в нем всего многого происходило. Париж, как это ни банально звучит, весьма смутен в качестве арт-объекта желания; если оставить в стороне девичьи представления о необходимости романтически бродить по нему непременно в большой шляпе, а потом пить из горла красное с прекрасным незнакомцем под Пон-Нёф и, конечно, если забыть на мгновение об Эйфелевой башне с Монмартром, то Париж действительно поймать сложно, город неприятный, тяжелый, но он как раз сумел сделать из этой сложной неприятности и неприятной сложности великую литературу и ис-

кусство. «Сделать», но не «стать ими». Чем он является сегодня – сказать трудно, тут нужны большие умы, а они во Франции повывелись. Любопытно также, что никто из ныне мертвых больших умов на Париж как на объект внимания не обращал, ни Барт, ни Фуко, ни Делёз, ни Бурдьё. Да и вообще, когда в действительно настоящей французской прозе Париж был объектом рефлексии, пусть и беллетристической? После Пруста, «Ужасных детей» Кокто, Сименона? У Кортасара и некоторых других эмигрантов, безусловно. Но они чужаки и работали с уже готовыми образами, сопоставляя их со своим опытом пришлеца, пусть и заинтересованного, и порой даже очарованного.

Да, так высоколобый культурный *city marketing*. Вчера, отвернувшись от окна, в котором показывали серый снег вперемешку с серой грязью под грязноватыми стенами Гризинькалнса, я решил проверить свои соображения на практике и совершил два опрометчивых поступка. Первый – купил подвернувшийся онлайн недорогой билет в Прагу, послезавтра туда и отправлюсь. Конечно, дела там у меня есть, так что это не пижонство – какая разница, когда делать эти дела, сейчас или через три месяца. Да, в апреле в Праге восхитительно, все цветет, тепло, солнце, можно сидеть на улице возле одного только мне известного винного бара у Святой Анежки, пить посредственное, но не ужасное белое из Жерносеков и болтать на скверном чешском с работающей там с давних пор девушкой. Именно эта прельстительная картинка и за-

ставила меня вчера купить билет не на апрель, а на январь. Если уж сравнивать, так честно. Мрачок рижский с мрачком пражским. Арт-объект *versus* арт-объект.

Второй опрометчивый поступок, о котором я сожалею уже сейчас, – решение перечесть книгу Анжело Марии Рипеллино *Magic Prague*. История тут такова. Я купил ее (на английском конечно, итальянского, увы, не знаю) около двадцати лет назад, почти сразу после переезда в Прагу. Надо же что-то прочесть о том месте, где вдруг поселился; остальные в данном деле помогли мало: Швейка я с юности не выносил, а Кафка тогда казался совершенно универсальным, не местным. Грабала на русском об ту пору еще было совсем мало, хотя странным образом у меня быстро установилась персональная связь с этим удивительным стариком, который погиб за четыре года до моего переезда в Прагу, вывалившись из больничного окна, откуда якобы голубей кормил. Муж моей знакомой, молодой таксист, в середине 1990-х постоянно возил Грабала из «Золотого тигра» домой, в Либень, в жопу пьяного. Кроме данного обстоятельства он не помнил о писателе ничего, разве что жаловался, мол, часто приходилось останавливаться – пивная малая нужда есть нужда серьезная и не терпящая отлагательств. Плюс я толком не знал чешского (увы, не шибко-то и узнал с тех пор), так что великая местная литература – Вахал, Ванчура, Голан – была не по зубам. Кундеру я не выношу так же, как и Гашека. Так что срочно требовалось чтение о Праге. И тут в мага-

зине англоязычных книг *Anagram*, нынче давно уже покойном, я увидел *Magic Prague* неизвестного мне автора с итальянским именем. Времена были досмартфонные и довайфайные, так что прогуглить (и догугловские тоже, хотя уже что-то существовало, *Bing*, кажется, еще и «Яндекс», неохота гуглить сейчас и проверять) *Ripellino* я не мог, довольствовавшись лишь краткой биографической справкой в самой книге: русист и славист, умер в 1978-м, относительно молодым, а также переводчик с русского и чешского, а также поэт и даже романист. И я ее купил.

Кажется, в моей жизни это единственная графоманская книга, которую я дочел до конца – по своей воле. Она восхитила меня напором, безумной энергией и витиеватостью человека, который не привык взвешивать слова, а только швырять их в топку локомотива собственного энтузиазма. Конечно, это книга любви, наверное, единственная такого рода – остальные, великие, от Данте до Шкловского, сочинены все-таки теми, кто действительно умел писать. Семнадцать лет назад казалось, что Рипеллино знал все о вещах, которые меня интересовали – европейском барокко, Тридцатилетней войне, модернизме, Кафке, авангарде в его континентальном изводе, – и о том, о чем я как раз и пытался что-то узнать, – Прага, чешское искусство, чешская литература. Книга эта меня жутко раздражала, примерно каждые несколько часов чтения я отшвыривал ее с негодованиями, но потом подбирал с пола и продолжал. Если важная (м. б.,

самая интересная) часть литературного модернизма была создана графоманами в любом из значений этого слова (Джойс, Роберт Вальзер, Хлебников), то *Magic Prague* – несомненно, шедевр позднего модернизма. Я использую здесь английское название: ведь не знаю, что там в оригинале. А вдруг это все придумал Дэвид Ньютон Маринелли, переводчик и журналист-фрилансер, живший на момент первого английского издания Рипеллино в Вене? Или редактор перевода Майкл Генри Хейм, профессор славистики из университета Калифорнии, подозрительно многоязычный (переложения с чешского, сербско-хорватского, венгерского (!) и русского)? Ответить на этот вопрос и сегодня не могу. Впрочем, он риторический.

Книга удивительная, и я ей навсегда благодарен. Рипеллино указал мне на то, что Кафка – писатель чисто пражский, что Прага – город нескольких исторических катастроф, скорее, результат их, что рассказы про императора Рудольфа – не только завлекаловка для туристов, что это город мрачного пьянства, что чешская литература действительно была отличная, а чешское искусство и того лучше. Благодаря ему я принялся перечитывать некогда отшвырнутого Майринка – и обнаружил еще одного великого графомана. Наконец, всё, что я писал о Праге с тех пор, так или иначе зависит от Рипеллино, пусть эта зависимость негативная – отталкивание, избегание, попытка забыть.

Но самое главное другое. Итальянец вложил мне в голову

образ города, в котором я жил и который мне, на самом деле, не очень нравился, и этот образ стал сильнее той довольно скучной и бессмысленной Праги, что я видел; он его не то чтобы вытеснил, нет, он просто встал рядом и его нейтрализовал. Покрытая собачьим калом и воняющая прогорклым гуляшом Прага оттенила рипеллиновскую, в которой, впрочем, тоже немало эманаций органического. Однако в рипеллиновском магическом городе, внешне совпадающем со столицей Чехии 2002 года, был сюжет и был смысл; точнее, это была точка порождения культурных смыслов. Придуманый Рипеллино сюжет заключался в том, что начиная с позднего Средневековья Прага становится своего рода плантацией, даже парником, где выращивают высокий модернизм XX века (в местном контексте – первой половины, а то и трети этого столетия). Всё, что происходило в городе на протяжении нескольких столетий, пошло на сырьё для производства Верфеля, Майринка, Яначека, Гашека, Коларжа, Киша, Шимы, Брода и, конечно же, Кафки. В этом для Рипеллино – хоть он сам, как мне кажется, это не сознавал: рефлексия не самое его сильное место – современность Праги, которую он видел своими глазами с конца 1950-х до того момента, как советские запретили ему въезд в страну после 1968-го. Тоскуя по потерянному грязноватому чешскому раю, итальянец из данной ситуации ретроспективно, умозрительно выстраивает образ «магической Праги», заменяя им реальный город, где он уже никогда не окажется. Эта иллюзорная ретроспек-

тивная современность Праги и стала идеальным объектом современного искусства. Не «Прага» в любом ее виде, образе, даже туристическом, а ее перенасыщенная прошлым «современность». Сравните эту Прагу с – тоже идеально сочиненной – Прагой из восхитительного романа Брюса Чатвина «Утц» (в отличие от опуса Рипеллино ни секунды не графоманского, а суховатого, экономного, элегантного), и вы почувствуете разницу.

Премия «Поэзия»-2019

Литературные премии в последние годы выполняют роль пружины в часовом механизме литературного процесса. Создается впечатление, что если премии закрыть, то часовой механизм замрет и событий в литературе не то чтобы совсем не станет, их станет значительно меньше. Можно пойти дальше и сказать, что литературные премии подменили собой литературный процесс. С этим многие согласятся, особенно те, кто премиями несправедливо обделен. В любом случае литературная премия – это почти всегда скандал, о премиях спорят, лауреатов рассматривают под микроскопом и – о чудо! – иногда открывают для себя новое имя. Почему так сложилось, хорошо это или плохо – предмет отдельного разговора.

Премия «Поэзия» учреждена фондом «Достоинство» в 2018 году и является преемницей премии «Поэт». Смена формата самой масштабной российской поэтической премии стала ответом на вызовы современности и ожидания читателей. Важное отличие «Поэзии» от «Поэта» организаторы видят в концентрации внимания на отдельных стихотворениях, поэтических переводах и критических материалах о поэзии, опубликованных в течение календарного года, предшествующего году вручения премий. В итоговый список по трем номинациям – «Стихотворение года», «Поэти-

ческий перевод», «Критика» – могут войти до ста поэтических текстов, до пятнадцати переводов с любого языка на русский и до десяти критических статей, эссе, рецензий. Премимальный лист 2019 года включает сто двадцать пять работ. В жюри премии – известные поэты, издатели, редакторы и модераторы интернет-журналов и сетевых литературных ресурсов, журналисты, критики, переводчики, слависты, кураторы ежегодных поэтических фестивалей и региональных литературных программ. В жюри 2019 года входят семьдесят два человека. В следующем сезоне планируется пригласить еще двадцать восемь. Стоит отметить, что эксперты, осуществляющие отбор, и жюри работают в проекте безвозмездно. С условиями работы премии можно ознакомиться на официальном сайте <http://poetryprize.ru/about/polozhenie-o-premii/>

Премия стартовала 1 марта 2019 года, вызвала неожиданный громкий резонанс, споры в литературных кругах не утихают. Эксперты предприняли попытку объединить в одном списке авторов разных поколений, известных и только входящих в литературу, вокруг которых сгущалось общественное внимание, чьи произведения стали событием в 2018 году, вызвали споры внутри профессионального сообщества. Многие «знаковых» имен искушенный читатель в премиальном листе не найдет. Не все звезды оказались доступны кругу экспертов премии, не у всех состоялись публикации в рассматриваемом году, не до каждого мы сумели

донести задачи нового проекта. Отказались участвовать по разным уважительным причинам лишь несколько авторов. Нам недостает дорогих сердцу славных имен, надеемся в будущем заполнить пробелы. Но, с другой стороны, пробелы открыли возможность для участия авторам, которые неизбежно остались бы за бортом премиального ковчега, потому что, как было справедливо сказано в адрес премии, «прекрасных поэтов больше, чем сто».

Через несколько дней после публикации премиального листа, когда интернет забурлил и вознегодовал, в книжном магазине «У Кентавра» прошел круглый стол, организованный Александром Житенёвым в рамках его научного проекта «Поэт и поэзия в постисторическую эпоху». Рабочее название круглого стола было провокационно, под статью премии: «Возможно ли “Стихотворение года”?» Я, как единственный официальный сотрудник премии, «начальник Чукотки», шел на встречу, подготовившись к тому, что ученые мужи меня растерзают, аки львы, или заклюют, как прекрасные птицы гадкого утенка, но новую премию встретили с интересом, учли условия работы и сложности, с которыми проект столкнулся. Огромная благодарность всем участникам и организаторам круглого стола за поддержку проекта.

Виталий ПУХАНОВ

Дмитрий ВЕДЕНЯПИН¹⁷

* * *

1.

Тебя не будет, тебя не будет, тебя не будет, –
Подпрыгнул как-то в своей кроватке дошкольник Изя,
Ладонки взмокли, губа трясётся, глаза как блюдца,
Один на целом-прецелом свете во мраке жизни.

Настало утро, и мальчик Изя и все проснулись.
Вот солнце светит, вот папа ходит, вот мама гладит.
Ночные страхи вдруг расступились, перевернулись
В какой-то дикий *теду бе нябет, теду бе нябет.*

2.

¹⁷ Источник: Веденяпин Д. Птичка. – М.: Воймега, 2018. Стихотворение публикуется с любезного разрешения правообладателя.

Однажды Изе приснилась птичка с часами в спинке.
Она сидела, потом вспорхнула и улетела,
И понял Изя, столетний Изя, тараша зенки,
Что худо дело, ох, худо дело, эх, худо дело.

Опять за горло его схватили железной хваткой,
Опять сверкнули в углу над шкафом клыки и когти.
Будь Изя прежним, подпрыгнул б снова в своей кроватке,
А этот просто, держась за сердце, привстал на локте.

Екатерина СИМОНОВА¹⁸

* * *

Я была рада, когда бабушка умерла.

Сначала она начала задумываться, замолкать,
смотреть куда-то между нами,
потом каким-то последним усилием воли
возвращаться обратно.

Через месяц вдруг спросила маму:
«Что это за мальчик сидит на холодильнике?
Видишь, смеётся, хорошенький такой, светловолосый.
Смотри, смотри же – прыгнул, побежал куда-то,
куда побежал?»

Назавтра увидела деда, молодого, весёлого,
наконец впервые через семнадцать лет после его смерти:
«Что за рубашка на тебе, Афанасий?
Я у тебя что-то не помню такой, я тебе такую не
покупала».

¹⁸ Источник: «Воздух», 2018, № 37 (<http://www.litkarta.ru/projects/vozdukh/issues/2018-37/simonova>). Стихотворение публикуется с любезного разрешения правообладателя.

Через пару дней напротив за столом сидела её мачеха. Бабушка толкала мою мать в бок локтем:

«Оль, ничего не пойму – что она молчит и улыбается и молчит, молчит и улыбается. Матрёна, да что с тобой?»

Через неделю людьми был полон дом.

Бабушка днём и ночью говорила только с ними, знакомыми нам, ни разу нами не виденными, мёртвыми, довольными, рассказывающими наперебой, какой в этом году будет урожай, как они рады встрече, а что это за чёрный котёнок прячется в ванной?

При следующей нашей встрече не узнала меня, как будто меня никогда и не было.

Перестала вставать, открывать глаза, только что-то шептала, тихо, нехорошо так смеялась – пустая оболочка, полная чужим духом, как дымом. Это была не жизнь и не смерть, а что-то совсем чужое, что-то гораздо хуже.

Потом перестала и смеяться.

Когда мы с мамой меняли простыни, пытались вдвоём её приподнять –

измучились, крошечное тело стало втрое тяжелее,
будто уже заживо пыталось уйти в землю,
стремилось к ней.

В день похорон мама первой пришла в бабушкину
квартиру,
присела на кухне.

Рассказывала, что вдруг стало тихо,
потом вдруг ни с того, ни с сего
начали трещать обои по всем комнатам,
вдруг заскрипели, приближаясь, половицы в коридоре.
Но, слава богу, тут кто-то постучался в дверь.

Целовать покойницу в лоб никто не целовал:
тело начало неожиданно чернеть и разлагаться.
Говорят, переморозили в похоронном бюро.
Что-то, говорят, пошло не так.

Я не хочу об этом помнить.
Я всегда думаю об этом.
Ужасно скучаю.

В итоге
смерть даёт нам не меньше, чем жизнь:
законченный образ, историю,
которую нужно однажды рассказать,
чтобы не сойти с ума.

Треск обоев в пустой утренней квартире,

маленький-невидимый-смеющийся мальчик.

Возможно ли «стихотворение года»? *круглый стол*

Участвуют: Евгения ВЕЖЛЯН, Анна ГОЛУБКОВА, Александр ЖИТЕНЁВ, Михаил ПАВЛОВЕЦ, Владимир ГУБАЙЛОВСКИЙ, Александр МАРКОВ, Амарсана УЛЗЫТУЕВ, Евгений НИКИТИН, Виталий ПУХАНОВ

Александр Житенёв. Мы начинаем разговор о премии «Поэзия». Я предложил представителям жюри Михаилу Павловцу, Анне Голубковой, Александру Маркову принять участие в обсуждении. В разговоре принимает участие и Евгения Вежлян. Примерный круг вопросов был определен заранее, но, разумеется, он служит только точкой отсчета, и каждый из участников разговора вправе оттолкнуться от своих собственных соображений.

Напомню: в 2019 году национальную премию «Поэт» сменила премия «Поэзия». В центре внимания (это важная новация) оказывается уже не творческая практика в целом, а отдельный текст, который предлагается рассматривать как «стихотворение года». Возможно ли «стихотворение года»? И что делает стихотворение «стихотворением года»? Именно этот вопрос, как мне кажется, организует множество дру-

гих. В какой мере отдельное поэтическое высказывание способно быть событием такого масштаба? Какие варианты событийности предлагает лонг-лист? Можно ли утверждать, что сегодня мы имеем дело не только с разнообразием поэтик, но и с разнообразием поэзий, которые объединены лишь русским языком? Можно ли рассуждать о поэзии в традиционных категориях миссии, назначения, оправдания или язык такого рода неактуален, кажется излишне выпяренным и не соответствует современному художественному самосознанию? Какие представления о поэзии сегодня не работают? Какие направления поиска, если исходить из лонг-листа, представляются интересными; можно ли их интерпретировать как новые? И можно ли считать привычные понятия современности и новизны критериями, позволяющими оценивать литературные тексты в этом списке?

Предлагаю каждому высказаться либо по любому из предложенных вопросов, либо поделиться своими соображениями по поводу тех сюжетов, которые подразумевает премия.

Евгения Вежлян. Мне кажется, что премия «Поэзия» – это достаточно радикальный эксперимент. Вопросы же, которые сейчас были поставлены, носят, скорее, привычный характер. Мы привыкли говорить о поэзии в терминах поэтики, в терминах некоторой новизны, радикальности или традиционности. Премия «Поэт», которая предшествовала премии «Поэзия», была ориентирована на пространство, где

подобного рода установка была бы правильной, релевантной. Но премия «Поэзия» – это, на мой взгляд, другая история, история про поэзию как институцию. Про поэзию как про некое, как сказал бы Пьер Бурдьё, субполе литературы и про то, что можно сделать с этим субполем, если это социальный эксперимент, если нарушить некоторые традиционные фреймы, табу, привычные действия, которые регулируют это пространство.

Всю радикальность замысленного я поняла только на днях: премия выстрелила. Это был эксперимент, который удался, новая конструкция, которая призвана показать, что все предыдущие конструкции уже не работают, а она работает. В чем радикальность данной премии как жеста? В отказе. Дмитрий Кузьмин писал в «Фейсбуке», что в этой премии интересно не то, что в ней есть, а то, чего в ней нет. Я эту мысль хочу развить, но по-другому. Обычно премия направлена на то, чтобы либо утвердить старую иерархию и канон, либо сменить иерархию, утвердить не канон, а антиканон. Здесь же речь идет не о посягательстве на канон (хотя премия называется пышно, это – национальная премия), а о том, чем стало пространство литературы. Речь идет об акцентуации вниманий, потому что внимания – это основная валюта современной информационной экономики. Типов внимания (читательского, в частности) довольно много. Нет никакого смысла в современном пространстве, таком подвижном и таком мультиплицированном, выделять нечто одно, скажем,

поэта. Важно структурировать поле вниманий и расставить акценты на некоторых объектах.

Культура сейчас – это культура сингулярных, единичных, небольших объектов, и в данном случае стихотворение представляет собой идеальный объект современной культуры. Мне кажется, что премия [«Поэзия»] делает то, что характерно для культуры XXI века. Есть единичный объект, и на нем акцентируется внимание. А то, что литературное сообщество так напрягается, происходит потому, что сознание – и самосознание – сообщества, а особенно поэтического, обладает довольно архаичным характером. Оно ориентировано на модель старой литературы, на модерную модель, которая у нас всегда ассоциировалась со словом «литература». Теперь эта модель, к сожалению, меняется на совсем иную.

Михаил Павловец. Мне бы хотелось обратить внимание на другую смежную тему, заявленную в повестке дня, и, прежде всего, шагнуть от самого понятия «поэзия». Это слово, насколько я понимаю, из категории *singularia tantum*, то есть такое, которое употребляется в основном в единственном числе, как слово «соль» или слово «солнце». Конечно, можно сказать «в сто тысяч солнц закат сиял», можно сказать «соли тяжелых металлов», но это уже другой языковой эксцесс, который требует отдельного комментария. Так же и с поэзией: можно ли говорить: «поэзии», «как много поэзий»? Мне кажется, что можно, и уже поэтому само назва-

ние обсуждаемой премии вступает в диалог с возможностью множества поэзий. Перенесем этот взгляд на любой другой вид искусств, скажем, на музыку. Мы знаем, что есть премия «Грэмми». Она дается не за лучшее музыкальное произведение года вообще, а за отдельные концерты, музыкальные произведения, музыкальные высказывания в рамках различных музыкальных жанров или ответвлений. И рэпер, получающий премию «Грэмми», ни в коем случае не вступает в конкуренцию с автором экспериментальной музыки. У каждого из них – своя категория, и каждый соревнуется внутри своего жанра, своего ответвления. В нашем же случае премия «Поэзия» (по крайней мере в моей голове, как в голове члена жюри) сталкивает разные поэзии и предлагает мне определиться: какую поэзию я признаю поэзией года, какую поэзию я выбираю?

Евгения Вежлян. А надо выбирать-то?

Михаил Павловец. Мне надо выбирать, потому что с меня организаторы требуют определить пять текстов...

Евгения Вежлян. Пять из ста?

Михаил Павловец. Да. Все выбранные мною тексты – без стратификации – я полагаю достойными того, чтобы считаться текстами года. Но я понимаю, что каждая из этих по-

эзий требует особых критериев внутри своих собственных конвенций для того, чтобы внутри них же быть оцененными. Потому что коня и трепетную лань или кирпич и помидор сравнивать крайне сложно. Помню, меня попросили прочитать лекцию о Маяковском на крыше завода «Флакон». Вернее, не лекцию, а лекции, скажем так, небольшого формата, по пятнадцать минут. Я спросил, надо ли популяризировать. «Нет-нет, люди будут образованные, просто короткий формат». И я шел, не зная, на что иду. Это действительно оказалась крыша завода, там стоял микрофон, там разливали сангрию и кормили какими-то каперсами, наколотыми на шпажки. Сидела в основном молодежь, студенческая-постуденческая, двадцати – тридцати пяти лет. Небольшую часть составляли люди предпенсионного возраста. Всего было около тридцати пяти человек. Как все это происходило? Я выходил к микрофону и рассказывал, например, о звуковой форме стихов Маяковского, сильно не снижая планку, хотя видел, что передо мной не филологи. После этого появлялись четыре девушки в бальных платьях и играли *Deep Purple* на виолончелях. Затем профессиональные актеры московских театров артистически читали стихи Маяковского. Потом опять выходил я и рассказывал, почему «Облако в штанах» – это, с точки зрения Маяковского, катехизис современного искусства. Самое интересное, что на все наши выступления реагировали одинаково: кричали «браво», «вау», свистели и хлопали, как на рок-концерте. Я получил огром-

ное удовольствие, мне очень понравился прием, мне очень понравилось, что меня потом засыпали вопросами, что мне налили сангрии, даже что-то заплатили, и я ушел. А через полчаса обнаружил, что забыл зонтик. Вернулся за зонтиком и увидел, что за это время на крыше многое поменялось. Вместо тридцати пяти человек там уже было человек сто, а может, и больше. У микрофона друг друга сменяли те люди, что изначально слушали меня, и они читали свои стихи.

Я, естественно, задержался послушать. Что я могу сказать об этих стихах? Это, конечно, не Маяковский, это не Мария Степанова, это была поэзия непрофессиональная. Но и не то, что мы обычно называем графоманией. Крепкий хороший стих, который вполне мог бы звучать в лито или в литературном семинаре. То есть эти люди сначала слушали стихи Маяковского, а потом стали слушать друг друга. Значит, у них есть потребность и эту поэзию слушать, приветствовать, обсуждать и аплодировать. Может быть, формировать своих кумиров в этой среде. Я понял, что про эту поэзию не знаю совершенно ничего, но она существует. И вспомнил, что подобная ситуация характерна и для музыки: есть популярная музыка, а есть рокопопс. И в прозе существуют подобные вещи: есть массовая литература, а есть беллетристика, работающая на грани массовой культуры, но при этом достаточно профессиональная. Видимо, в поэзии тоже формируются какие-то особые поэзии, которые не обращены ни к профессионалам, ни к экспертам, ни к литературоведам, ни к кри-

тикам, то есть не к литературному сообществу, а к людям, которые испытывают интерес к поэзии, но при этом не очень нуждаются в экспертной оценке и в каких-то премиях. Они больше ориентируются на свою рецепцию, на свой вкус, на то, нравится им или нет. Более того, я знаю, что сами профессиональные поэты крайне заинтересованы в том, чтобы такая публика появлялась и у них. На протяжении десяти лет существовал литературный салон «На Самотёке». Как-то на сцену вышел рафинированный поэт Лев Рубинштейн, посмотрел в зал со сцены и сказал: «Ой, а кто вы такие? Слушайте, я обычно прихожу на свое выступление и с девятью из десяти человек могу поздороваться лично, а здесь я половины из вас не знаю».

Анна Голубкова. Шок.

Михаил Павловец. Да! Шок, трепет, но и радость: ему было приятно, что слушать его собрались студенты, учителя со школьниками и так далее.

Возвращаясь к премии «Поэзия», хочу сказать: получив набор из ста стихотворений, переводов и критических текстов, я задал себе вопрос: что от меня требуется? Как понимать название номинации «Стихотворение года»? Это был своего рода вызов.

Для меня как для литературоведа стихотворение года – это так называемый «прецедентный текст», то есть текст, ко-

торый порождает множество текстов. Скажем, для 1913 года, на мой взгляд, текстом года стало «Дыр бул щыл» Кручёных, потому что мало какое стихотворение породило подобное количество рефлексии и отзывов. Но я не могу выбрать такой прецедентный текст из тех, что мне дали, потому что прецедентный текст должен иметь длинный хвост, многолетний хвост из продолжений, рефлексий и реплик. [Здесь это] не получается, не работает.

Или стихотворение года – это «инновативный текст», то есть текст, который действительно движет вперед поэзию, если исходить из известной триады Дмитрия Кузьмина: поэзия, которая приносит нового субъекта, поэзия, которая предлагает новый язык, и поэзия, которая дает новую небывалую форму, представляющую собой серьезный шаг вперед. Но понимаете, передо мной – сто текстов, и я должен провести не экспертизу, [а] целое научное исследование. Я должен использовать множество разных инструментов – литературоведческих, может быть, социологических и проч. Вряд ли именно этого от меня ожидали, когда приглашали в качестве члена жюри.

Есть еще хороший вариант. [Исходить из того, что] текст года – это самый скандальный текст. Первым делом я полез посмотреть, [есть ли в премиальном листе] один скандальный текст, который сильно встряхнул литературное и нелитературное сообщества. Я этот текст нашел и подумал, что это уж точно и есть тот самый текст года, но не был уве-

рен, что наберу пять текстов, которые действительно вызвали скандал.

И тогда я решил, что самая простая моя задача как члена жюри – это идти от себя. Рецептивный подход: я просто прочту эти стихи. Обычно читаю как минимум два раза: сначала слушаю, как стихотворение звучит, а потом перечитываю и стараюсь на музыку стиха положить смысл, семантику и так далее. И, видимо, я просто отберу пять текстов, которые мне понравились, которые меня каким-то образом всколыхнули. Возможно, там будет и скандальный текст, возможно, окажется даже прецедентный. Но в данном случае я просто переложу ответственность с себя на оргкомитет премии, который выбрал меня в качестве инструмента отбора. Видимо, в этом и состоит моя задача. Я – инструмент, [и ко мне применяется] инструментальный подход как к эксперту. Это облегчает душу. В таком случае я не буду смотреть, есть ли мои друзья и знакомые среди авторов, есть ли там текст, который обязательно должен быть, потому что наверняка его все будут [обсуждать]. Я просто буду читать и каким-то образом реагировать, а статистика, социология, голосование и подсчеты пусть скажут, что из этого получится. А результаты можно будет осмыслять и критически, и научно, и досуже – в разговоре за кружкой пива.

Анна Голубкова. Мне в первую очередь хотелось бы поблагодарить Виталия Пуханова за прекрасную идею, крайне

оживившую литературную жизнь. Благодаря Виталию новый литературный сезон мы начинаем с бурного обсуждения: и стихов, которые включены в премиальный лист, и принципов, по которым он формировался, и персоналий, которые в него включены. Премия подняла массу вопросов. Когда в ночь с 14 на 15 сентября список появился, вся моя френдлента «Фейсбука» поделилась на две части: одна часть пишет «спасибо оргкомитету, меня включили в премиальный лист»; вторая часть проклинает оргкомитет, потому что их в этот самый премиальный лист не включили. Но я все-таки не соглашусь с Евгенией. В этой премии заложен, безусловно, революционный механизм, и он может сработать, но имена и стихотворения, которые включены в премиальный лист, – все они известны. Там есть абсолютно неизвестные тебе имена?

Евгения Вежлян. Дело не в том, чтобы открыть новые имена. Я потом скажу в чем. Вы [участники обсуждения] подтверждаете все мои слова.

Анна Голубкова. Безусловно, по сравнению с премией «Поэт», которая была чисто элитарной и выдавалась за заслуги поэтические, литературные, творческие, то есть как бы служила апофеозом творчества, премия «Поэзия» – это демократичная премия. Потому что вопрос, что считать поэзией, на который все сидящие здесь, думаю, свой ответ име-

ют, все же остается вопросом вечным, из ряда «почему идет дождь? почему светит солнце? есть ли Бог?» Тем не менее, благодаря премии, этот вопрос в очередной раз становится актуальным и активно обсуждается. Но что такое поэзия, что мы можем называть поэзией? Мы знаем ответ на этот вопрос, но, предположим, более широкая публика его не знает.

Евгения Вежлян. А его и нет.

Анна Голубкова. Вероятно. Но, думаю, что каждый из нас выбрал для себя ответ, особенно Виталий, когда задумывал эту премию. Это же ваша идея полностью?

Виталий Пуханов. Я объясню, чья это идея.

Анна Голубкова. Очень интересно. И, как мне кажется, премия «Поэзия» – это, безусловно, шаг к демократизации премиального процесса. Это премия XXI века, когда поэтов стало намного больше...

Михаил Павловец. ...чем читателей.

Анна Голубкова. Нет, почему же? На сайте «Стихи.ру», например, размещено несколько сот тысяч поэтов. А ведь поэты читают друг друга. Почти миллион поэтов со «Стихов.ру» – это и миллион читателей. Плюс сложная система,

где ты одновременно поэт, критик, читатель и литературовед. Это даже не трехголовый Змей Горыныч. На увеличение числа поэтов мы отвечаем таким вот функциональным расширением. Премия «Поэзия», конечно, внутритусовочная, но уже не элитарная, каковой была премия «Поэт». Эта премия позволяет вывести в фокус публичного внимания самых разных поэтов, самые разные поэтические практики. Не бесконечно разные, конечно, потому что все равно были критерии отбора, были поставлены определенные рамки, за которыми оказались злободневные и, может быть, интересные тексты. То есть демократизм премии «Поэзия» небезграничен. Но именно этот интересный опыт, когда наконец-то премиальный процесс повернулся к людям лицом, мне кажется очень важным. И если этот демократизм будет развиваться и в следующих сезонах, вполне есть шанс, что революционный смысл премии, о котором говорила Евгения, реализуется.

Евгения Вежлян. А можно социологический комментарий сделать? Сейчас, особенно в реплике Михаила, прозвучало подтверждение некоторых моих догадок. Что продемонстрировала эта реплика? Человек перебирает критерии, которые кажутся ему объективными. В каком смысле объективными? В смысле их подключенности к тем институционализирующим, легитимирующим, узаконивающим механизмам, которые приняты в литературном сообществе и, уже, в поэтическом сообществе. Он вдруг понимает, что все навязан-

ные или привнесенные механизмы в этой ситуации нерелевантны. И говорит: «Да ну его всё! Вот что мне нравится, мне лично, то я и буду делать, а ответственность пусть лежит на них...». Причем он же не знает, кто эти «они», правда, Миша?

Михаил Павловец. Нет, не знаю.

Евгения Вежлян. Не знает. Премия [«Поэзия»] так устроена, что он не знает, кто эти «они», и снимает с себя ответственность. Что является сейчас самой большой проблемой поэтического сообщества, унаследованной от 1990-х годов, когда оно было абсолютно замкнутым, узким и практически эзотерическим? Это проблема так называемой парохильности, когда отношения в сообществе довольно агрессивны и токсичны. Почему? Потому что все заняты тем, чтобы оградить сообщество от чужаков, и все легитимирующие механизмы направлены на умножение этой токсичности. И когда человеку нужно выбрать текст, он думает: «А что вот этот критерий? Или вот этот? А вдруг потом кто-то что-то скажет», а дальше думает, кто что скажет, и так далее. И каждый человек уже помечен, каждый маркирован.

Одна критикесса написала, что раз в этой премии рядом стоят такой-то и такой-то, в ее картине мира несовместимые, то эта премия не нужна. Пространство должно быть удобеньким, однороденьким, внутри себя бесконфликтным и

направленным против всего мира. Подобная конфигурация социальности называется трайбализмом [внутригрупповой замкнутостью], и она практикуется в нашем литературном сообществе. А тут появляется премия, которая трайбализм отменяет и дает возможность человеку, обладающему вкусом, этот свой персональный, личный, неповторимый, уникальный вкус проявить. И, по-моему, это прекрасно.

Александр Житенёв. Спасибо большое. Теперь я, как модератор, тоже скажу о своих впечатлениях относительно премии «Поэзия».

Мне отраднo, слушая уважаемых коллег, понимать, что во многих позициях мы пересекаемся и прежде всего мы полностью совпадаем в осознании главного сюжетного свойства этой премии, а именно ее нацеленности на блокирование, парализацию привычных механизмов интерпретации литературного процесса и привычных механизмов работы экспертного оценивающего сознания.

С чем мы, в моем представлении, имеем дело? С ситуацией, когда привычные нам культурные конвенции, связанные с оценкой поэзии, заключаются в скобки и нам предлагают подумать о том, что они, возможно, не работают сейчас, о том, что они, возможно, вообще не имеют права на существование. Почему? Потому что само название премии «Поэзия» проблематизирует это слово, заставляет задуматься над тем, что поэзией сегодня является. Это происходит не

в последнюю очередь потому – и это очевидно по премиальному листу, который мы обсуждаем, – что в нем есть некоторые элементы, указывающие на воздействие на этот лист «странных» или «диких» литературных практик, не вполне литературных по своему происхождению, недостаточно в культуре укорененных и не очень нуждающихся в протяженной литературной традиции. Они самозарождаются в современном культурном поле, существуют без оглядки на него, являются состоявшимся фактом этого поля и оказывают обратное воздействие на литературу. А если это происходит, то литература, так или иначе, вынуждена переопределить свои границы. И тогда возникает вопрос: что есть поэзия, если то, что мы привыкли ею считать, может быть, ею не является, или не всегда ею является, или не только это есть поэзия? В этом смысле слово, вынесенное в название премии, – это слово с вопросом. Нам как экспертам, как тем, кто работает в жюри, предлагается тоже задать себе вопрос, что это такое, и исходить из того, что мы не совсем это понимаем. Мы должны найти ответ. Это – становящийся поиск без predetermined решения.

Что в этой премии мне также кажется любопытным? Я внимательно перечитал то, что написано на официальном сайте премии, сравнил аннотацию и Положение, и меня кое-что удивило.

[Отмечу] минимум требований к тексту, который должен стать событием года. Нам предлагается самим решить,

что этим событием должно стать. При этом, несмотря на крайнюю немногословность представителей премии, существуют, очевидно, некие непроговариваемые, принципиально непрозрачные механизмы, которые определяют, скажем, этап начального отбора. Очевидно, что число желающих принять участие в премии больше, чем ограниченный лимит в сто авторов для номинации «Стихотворение года». Нигде не сказано, что обуславливает логику перехода из этого неопределенного множества во вполне определенное, и это – некая интрига, умышленно не проясняемая.

Любопытно и то обстоятельство, что премия предлагает несколько несведенных – и тоже, видимо, принципиально – знаков, на которые представители жюри (и не только они) должны ориентироваться. Что это за знаки? Например, в кратком пояснении на сайте говорится, что «Поэзия» – это «премия живого литературного процесса, где событие важнее престижа». Здесь звучит главное слово «событие», и возникает вопрос о том, что это за событие. Понятно, что литературный процесс – это не иерархическая структура, а структура, где присутствует сразу множество явлений. Отношения между ними являются предметом дискуссии, они не упорядочены. Это – ситуация обнуления нашего знания, где мы должны столкнуться с новой реальностью и понять, как она устроена и как ее дальше ранжировать, если мы способны ее ранжировать. Это – первый вектор, ситуация продуктивного незнания.

Вектор номер два. Мы должны «находить и поощрять выдающиеся произведения современной поэзии, поэтического перевода, литературную критику, посвященную поэтическому творчеству». Так написано в Положении [о премии «Поэзия»]. Это – цель премии. Возникает вопрос: выдающиеся произведения – это какие? Слово «выдающиеся» как единственный критерий опять-таки должно поставить нас в тупик.

Михаил Павловец. В какую сторону выдающиеся?

Анна Голубкова. Очень многозначное слово.

Александр Житенёв. Это просто «пустое» слово, нам предложено самостоятельно определить его содержание.

Есть и еще один вектор. Сказано, что «основная задача премии (замечу: цель премии – одна, а основная задача – другая, она с целью не очень соотносится) – постоянно наводить мосты с читателями. Обеспечивать встречу с новым поколением – в сетевом пространстве, в школе, в студенческой аудитории».

Если векторы соотнести, можно предположить, что одним из критериев оценки текста оказывается событийность для внелитературного пространства – для тех, кто не относится к литературному сообществу. То есть когда о каком-то тексте говорят вне литературного экспертного поля – это собы-

тие, это поэзия, потому что она заметна извне. Но это только [мое] предположение, моя интерпретация, потому что, повторюсь, эта часть детально не прописана и отдельные фрагменты можно рассматривать как противоречащие друг другу. И эта несведенность знаков интересна.

По мысли Михаила Айзенберга, текст, как известно, ищет свое акме, высшую точку, и эта высшая точка отложена во времени. Появившись однажды, текст далеко не всегда резонирует с этим временем и остается на некий период вне поля зрения читателя. Текст непрозрачен, незаметен и может «сыграть» какое-то время спустя. В списке, который нам предьявлен, есть и тексты (о них уже говорилось), которые резонировали, вызвали общественный интерес, и тексты, которые были замечены, но по большому счету ни в литературном мире, ни тем более вне его пока еще не стали событием, и им предоставлен шанс стать этим событием или приобрести соответствующие ему качества.

Так что же такое событие? Художественное высказывание или явление, которое имеет медийный резонанс? Природа какого рода событийности здесь обсуждается? Открылось какое-то выдающееся художественное высказывание – и это событие. Или возникла тысяча комментариев вокруг какого-то текста – и это событие. Здесь, по верному замечанию Евгении, мы имеем дело с акцентуацией внимания, потому что нам предлагается решить: а что каждый из нас считает событием? И какое среднее арифметическое из этих

представлений вырастает?

Дальше можно задать еще один вопрос, если уж нам этого недостаточно. Текст – это событие для кого? Для автора, который его создал? «Какое событие, боже мой!» Стихи пришли, а ведь их раньше не было, «их не было еще вчера». И это факт, который меняет самосознание автора, мир вокруг. Это – событие для литературного сообщества?

Или, может быть, в идеале событие – это то, что должно стать заметным фактом для общества в целом, где поэзия оценивается как значимая культурная и социальная практика? Она тогда событийна, когда заставляет говорить о себе не только внутри профессионального сообщества, но и за его пределами. Она заставляет с собой считаться, в ней сказывается время, и это – реалья, которая делает ее серьезной, важной для большого круга людей, для многих участников культурного производства.

Далее. Если мы говорим о событии (неважно, эстетическом, медийном, состоявшемся, грядущем), то каковы критерии его оценки? Само смещение внимания к событию предполагает, что мы не обсуждаем эстетические ценности или обсуждаем не только их, потому что событийность и эстетизм не всегда пересекаются, они могут существовать независимо друг от друга. Но если мы обсуждаем ценности не эстетические, то какие? И почему какие-то другие [ценности] должны быть критериями в оценке литературного факта, поэтического высказывания? В этом как раз и за-

ключен парадокс премии: она предлагает говорить о литературе, привлекая не только традиционный филологический инструментарий. И этим она интригует меня как эксперта, как филолога, который осознает, что его багажа может быть недостаточно и нужно искать другие подходы.

И наконец вопрос, который возник в широком обсуждении самого списка: насколько мы привыкли (если вообще на это способны) воспринимать тексты вне всего корпуса высказываний автора? Очевидно, что крупного автора мы воспринимаем в совокупности написанного им. Текст вне ряда оказывается беззащитным. Он должен состояться как автономное высказывание. И это – серьезная проблема для экспертов, потому что не всегда удастся отвлечься от сложившегося стереотипа восприятия, или же текст, оказавшись вне ряда, проигрывает. Как репрезентативный пример поэтики он хорош: профессионально написан, демонстрирует определенные закономерности. Но, вытщенный из ряда, он может не сыграть, может показаться заурядным, неинтересным. Это тоже некий вызов для тех, кто оценивает.

Анна Голубкова. У меня есть большие сомнения, что эксперты, профессионалы могут стопроцентно извлечь стихотворение из контекста. Стихотворения подписаны, у каждого автора уже есть сложившаяся репутация, и эта репутация, так или иначе, будет влиять на оценку.

Михаил Павловец. Дело не только в репутации. Многие, особенно сложные тексты раскрываются в контексте, без которого наполовину, а то и вовсе не понятны. Чтобы знать этот контекст, нужно обладать определенной начитанностью. И поэтому у меня есть некоторые опасения, а может быть, не опасения, а интерес: не выйдет ли так, что преимущество получают те тексты, которые прекрасно воспринимаются без авторского контекста не репутации, а именно семантики.

Александр Житенёв. И, конечно, вызовом привычной механике работы премии, претендующей на репрезентативный результат, является статистический подход. У каждого из выступавших есть опыт участия в работе литературной премии. У меня это премия Андрея Белого. У нее есть свое собственное лицо, есть более или менее понятные литературному сообществу критерии, которые позволяют жюри ставить те или иные фигуры в центр общественного внимания. В премии «Поэзия» логика организации голосования и логика вынесения итоговых решений исключает возможность такого рода согласия. Результат вычисляется как среднее арифметическое. Причем среднее арифметическое, связанное не с нашими вкусами, не с тем, что сообщество решило, что сегодня поэзия – это и это, а с тем, что сообщество решило, что событие сегодня – это и это. И это – интрига, поскольку мы не знаем, что сегодня является событием для

всех или для большинства.

Евгения Вежлян. Позвольте я скажу насчет события? Дело в том, что те, кто присутствует в этом зале [в качестве слушателей], читают стихи совершенно не так, как мы с вами. А потом мы им преподаем стихи так, как будто они их читают так, как приучили читать нас. Я проводила исследование, говорила со многими молодыми людьми про то, как они читают стихи. Они открывают «ВКонтакте» и стихи черпают в основном из соцсетей: листают ленту, которая приносит им отдельное стихотворение, и если стихотворение «зашло», то большинство моих респондентов копирует стихотворение в свои «Заметки» в телефоне, не всегда даже зная, кто его написал. Просто стихотворение хорошее. А почему хорошее? Потому что нравится. И с музыкой то же самое.

Михаил Павловец. Плейлист поэзии.

Евгения Вежлян. Да, плейлист. Музыка хорошо зашла – она заносится в плейлист, а кто ее написал, неважно. Хотя, наверное, важно, когда вокруг этого уже есть фан-культура. Но тогда это точно событие.

Что такое событие? Это не то, что вы думаете, и не то, о чем здесь сейчас говорили. Для молодых людей, сидящих в этом зале, текст как событие, музыкальный трек как событие – это такой перформанс. Если я сейчас с этим общаюсь,

мне сейчас с этим хорошо, это мне зашло, то это – событие. И всё. Премия «Поэзия», мне кажется, с таким событием, с перформансом и работает.

Александр Житенёв. А мы сейчас узнаем, с каким событием она работает. Я как модератор хочу воспользоваться своими сомнительными преимуществами и задать аудитории (за которую решили, как она читает тексты) простой и наивный вопрос. (*Обращается к аудитории.*) Есть ли среди вас те, кто читает не так, как сказала Евгения Исааковна?

Евгения Вежлян. Так они и признаются.

Александр Житенёв. Видите, есть!

Евгения Вежлян. Я даже знаю, кто эти люди: это – поэты! Они, конечно, читают не так.

Михаил Павловец. Это к вопросу [о том], надо ли читать отдельное стихотворение или надо читать книгами. (*К аудитории.*) Кто читает книгами стихи?

Евгения Вежлян. Мы с вами читаем книгами.

Михаил Павловец. Мы читаем книгами, мы слушаем музыку альбомами. (*К аудитории.*) Кто слушает музыку аль-

бомами?.. Такое же примерно количество.

Евгения Вежлян. Кстати, те же самые люди! Обратите внимание.

Александр Житенёв. Картина несколько усложнилась. Предоставляем слово Виталию Пуханову. Итак, новые слова, которые появляются в премии, направления критики, ответы на критику и так далее.

Виталий Пуханов. Спасибо всем, кто пришел. Я ожидал, что мы будем сидеть в одиночестве, так как сегодня поэзия никому не интересна. Я не ожидал и того хорошего приема, который получил премиальный лист. Был готов к тому, что все будет намного хуже.

Если коротко о том, кто придумал премию, кто придумал все эти слова, такие как «событие». Меня позвали с улицы и сказали: «Вы семнадцать лет делали литературную премию “Дебют”. Стало быть, вы можете сделать премию “Поэзия”». И из рук в руки передали пакет документов, где в Положении было сказано, что «Поэзия» – это премия живого действия, что «событие важнее престижа» и прочее, пакет, подготовленный...

Анна Голубкова. Кем, интересно?

Виталий Пуханов. Для меня это по-своему загадка. Слушайте дальше.

Сначала обещали: «Вам дадут “Мерседес”, пентхаус, десять тысяч курьеров и миллион долларов». Потом вышли, посоветовались и говорят: «Извините, план меняется: вы живете под мостом». Как в анекдоте. То есть вы не получаете ни копейки на жюри, на экспертов, на административные расходы, а получаете вы премиальный фонд и небольшую зарплату. К тому же необходимо было создать сложнейшую систему – АНО [Автономную некоммерческую организацию] «Поэзия». Потому что одно дело люди собрались и говорят: «А давайте премию сделаем!» «А давайте! Васю позовем, Петю позовем и Костику, нашему другу, вручим что-нибудь хорошее, банан, например, и скажем, что ты лучший, Костик». Но чтобы дать денег автору, необходимо создать колоссальную структуру, которая будет подчиняться всем ужасным налоговым законам, которым подчиняется, скажем, табачный трест. И я в каком-то смысле являюсь директором табачного киоска. Я чуть не погиб, потому что несколько месяцев ушло на то, чтобы создать систему, которая имеет право принять эту денежку маленькую – вознаграждение победителю.

Это – кратко о том, что такое АНО «Поэзия» и как она работает. Будем держать в голове, что лауреаты премии «Поэзия» получают за стихотворение триста тысяч рублей, за перевод – двести тысяч рублей и за критическую статью – двести

тысяч рублей. Это не очень большие деньги, но это хоть что-то, и самое главное, что у АНО «Поэзия» есть перспективы стать оператором различных мероприятий, изданий, фестивалей. Мы можем вырасти в серьезное учреждение, каких сегодня не хватает.

Потом мне сказали: давайте соберем жюри. Я говорю: но соберем ли мы жюри?! Потому что сегодня (простите ради бога, как бы это ни звучало) люди, которые обладают по-настоящему значительным символическим капиталом, уже зачастую недееспособны. Надеюсь, мы сейчас не перессоримся, но, когда мне пришлось писать в столбик имена, я понимал, что люди, которые выдают деньги на премию, не знают практически никого. Нужно понять: то, что вы друг друга знаете и обогащаете друг друга символически, никак не выходит вовне.

Евгения Вежлян. Это как валюта в казино, она не обменивается.

Виталий Пуханов. К сожалению. Я предложил формат до ста членов жюри, чтобы суммарный символический капитал был собран и был достаточен. Рассказываю всё как есть. Вы можете после этого воскликнуть «боже мой!» и выйти из жюри: вы полностью свободны.

Из зала. Виталий Владимирович, сколько сейчас [уже на-

брано членов жюри]?

Виталий Пуханов. Сейчас в жюри семьдесят два человека. А теперь представьте: у меня есть месяц на то, чтобы собрать жюри, в которое должно войти до ста человек. Если я не успеваю за месяц, не будет второго этапа, за которым, соответственно, идет третий. Это обязательные этапы: если все их, как квест, не пройти, то премия погибает.

При этом я не имею права промахнуться ни разу, потому что в «Фейсбуке» может начаться флешмоб (а я попадал в такой флешмоб с «Дебютом») типа «я не вхожу в жюри». Работу подобного рода необходимо проводить так, чтобы не было никакой утечки, и, как видите, сделать это удалось.

Кроме того, необходимо, чтобы люди, обнаружив себя в жюри премии «Поэзия», не сказали: «Я не буду с этим человеком в одном жюри!» И этого не произошло...

Из зала. Это просто чудо.

Виталий Пуханов. Да, это чудо и это сложный математический расчет. Это значит, что я догадываюсь, сколько у кого из вас на счету символического капитала.

Михаил Павловец. А в налоговую эта информация будет передана?

Виталий Пуханов. В символическую налоговую – да, конечно.

Откуда я это знаю? А вы представьте себе, что такое почти двадцать лет в «Дебюте». Сергей Соколовский, делавший «Дебют» первые несколько лет, сбежал. Пришел я, человек, никогда раньше не выходивший в интернет. Передо мной стоит машина с почтовой программой «Бат», и я начинаю ее осваивать. Сажу в ней с утра до ночи, без выходных, год за годом. Пока вы все читаете Набокова и Деррида, я читаю отвратительные стихи и отвратительную прозу... В итоге у меня в почте хранилось сто шестьдесят тысяч писем. И это – после всех зачисток. Мне регулярно писали молодые авторы: «У меня произошла катастрофа – пропали все данные на компьютере. Я вам послала пять лет назад свой роман». И я его находил и отправлял. К сожалению, никто не написал «ах, спасибо», но таких случаев были десятки. Это я рассказываю, чтобы было понятно, каково это – в течение двадцати лет наблюдать, как развивается литературный процесс, помнить, как, к примеру, шестнадцатилетний [Лев] Оборин выходит в первый раз на сцену и мы путаем имя и говорим: «Сейчас выступит Лев Обори́н». Это было не так давно. И так с каждым человеком: история нажитых капиталов, история движений, история рождений и смертей различных институций, журналов. За эти годы мы смогли составить своего рода карту, которая очень помогла, когда мы приступили к работе с премией «Поэзия». И работали в условиях блока-

ды: с нами не сотрудничали многие институции, нам отказывали в помощи. Потом, когда у нас все будет хорошо, мы у этих людей обязательно спросим, почему так получилось.

Премиальный лист мог бы быть лучше, еще сильнее. Просто представьте на месте какого-нибудь стихотворения, которое вам кажется слабым, более сильное стихотворение другого автора, которого нет в листе, и вы увидите, как лист начнет улучшаться. Мы по разным причинам, достаточно уважительным, не получили стихи некоторых авторов. К примеру, эксперты очень хотели поставить стихотворение [Олега] Чухонцева. И издатель его последней книги «Гласы и глоссы», и [другие эксперты] искали, [но] не сумели ничего в ней вычлениить. И это не единичный случай. На те позиции, которые были не заняты именами знаковыми, поставлены тексты, возможно, менее известные. Хотя был выбор: мы могли дать не сто позиций, а восемьдесят, и лист бы от этого выиграл. Но мы решили дать шанс многим авторам. Неизвестно, пройдут ли эти авторы конкурс в следующем году.

По общему мнению, читать премиальный лист удобно, но мы сломали голову, решая, как его подавать. Посмотрите [на списки] других премий: там будет фигурировать фамилия и – в лучшем случае – отдельная подборка автора. Даже в «Дебюте» перечислялись Иванов, Петров, и всё. И никто не спрашивал: «А где стихи?» За двадцать лет никто ни разу не спросил.

Из зала. Все знали.

Виталий Пуханов. Допустим. Но нам нужно было представить людям не поэтов, а сто стихотворений. И мы придумали формат: дали [имя] автора, текст, а внизу – ссылку, по которой можно выйти на автора и текст. Наш верстальщик, к счастью, справился с грандиозной технической задачей: он должен был каждое стихотворение сверить с его начертанием на площадке, откуда текст взят, перенести все курсивчики, все авторские черты текста. И то поступила жалоба, что у одного автора слиплись вторая и третья строфы. Придется заменить полностью файл, который есть на сайте, на новый файл, в котором эти строфы разлиплись.

Или другая проблема. Замечательный, прекрасный человек из журнала «Байкал» провел большую работу и прислал лучшее, что было напечатано в журнале за год. В предлист в результате попал всего один текст из «Байкала», стихотворение поэта, в свое время довольно известного. Тем не менее стихотворение слетело – по той причине, что среди ста стихотворений в премиальном листе были подобные тексты.

В какой-то момент внутри листа возник внутренний конкурс: конкурс стихотворений о бабушках – к нам поступило на эту тему три или четыре блестящих стихотворения. Как быть? Сначала хотели что-то убирать, а потом смирились: ну о бабушках, так о бабушках. В любом случае среди ста стихотворений найдутся те, что по некоей структуре, по некое-

му содержательному контуру окажутся друг на друга похожи, начнут конкурировать, и какое-то стихотворение уйдет, потому что есть подобное ему. Если вы читали лист, даже невнимательно (потому что я не представляю, как можно было успеть все это прочесть), вы наверняка заметили, что тексты в нем разнообразны. Из группы схожих чем-то текстов выбирался, скажем так, наиболее выразительный.

Владимир Губайловский. Виталий, каково соотношение номинированных текстов и текстов, вошедших в лист?

Виталий Пуханов. Мы приняли решение никогда не озвучивать число поступивших работ. Это унижительно для всех: и для авторов, которые отправляли [свои тексты], и для тех, кто победил. Как сказано в пресс-релизе, мы исходили из того, что все тексты 2018 года прошли экспертизу. Вы все, каждый из вас является экспертом. Вы читали и видели всё, что происходило в 2018 году. Достаточно стрелки часов как бы запустить назад, чтобы выявить все «события», все «точки сгущения» внимания. Пользуясь наработками, которые были созданы за многие годы, я обращался к экспертам разной степени квалификации с просьбой указать направление поиска: «На что вы обратили внимание, что вас наиболее впечатлило в 2018 году?» Задал таких вопросов немало. И знаете, что я часто получал в ответ? Ничего. Когда эксперт, уважаемый человек, говорил, что его ничего не впечатлило,

мне оставалось только его поблагодарить... Часть стихотворений была номинирована одним, двумя, тремя экспертами одновременно.

Другой мой вопрос к экспертам был такой: «Кто из авторов оказывался в поле внимания?» Выяснив это, я писал автору: «Уважаемый автор, у вас номинировано такое-то стихотворение». А он отвечал: «Я такое-то не хочу. Я хочу вот это». Тут приходилось добиваться согласия между автором и экспертом. В общем же количество рассмотренных и предложенных только экспертами персоналий доходило до тысячи.

Владимир Губайловский. Именно фамилий?

Виталий Пуханов. Фамилий. Лист в финале состоял из ста сорока – ста пятидесяти позиций, но потом был сокращен. И каждый день случались происшествия. Допустим, лист уже подготовлен и вдруг автор пишет: «А я не хочу участвовать в премии». Потому что он живет в соседнем государстве, с которым у нас случился конфликт, и его упрекнули: «Что ж ты стихи отдаешь врагам?» Он подумал-подумал: «Действительно, не буду я врагам отдавать стихи» – и отказался...

У нас, напомним, лишь два критерия. Это год публикации, 2018-й, и, условно, резонансность произведения. Когда автор предъявляет претензию: «А почему мое прекрасное сти-

хотворение не поставили в список, хотя оно прекрасное?», то я могу ответить только: «Да, оно прекрасное, но никто о вас ничего не сказал, вас никто не порекомендовал. Если стихотворение никому, ни одному человеку не запомнилось, не понравилось, то премия “Поэзия” не обязана выступать в роли первооткрывателя». Наша задача – собрать эти сто точек сгущений внимания.

Важно напомнить, что премия «Поэзия» – это три премии: стихотворение года, перевод и критика. Особенно сложно было с переводами: две трети переводчиков – неизвестные мне люди, я впервые с ними столкнулся. Мы пока вообще не касались переводов в разговоре, но признаюсь, я боялся, что перевод будет самым слабым местом премии. А теперь подозреваю, что это – самая сильная позиция.

Владимир Губайловский. Виталий, еще один вопрос, чисто статистический. «Поэзия» немного напоминает по структуре премию «Большая книга». Там тоже есть экспертный совет, очень небольшой, и там есть большая [Литературная] академия, сто четырнадцать академиков, которые принимают окончательное решение. Но в премии «Большая книга» и список номинантов, и состав экспертов – а меня в данном случае интересуют именно эксперты – известны.

Виталий Пуханов. Да, но кто из вас когда-нибудь открывал список членов академии «Большой книги», тех, кто вы-

бирает лауреатов? Кто в него заглядывал?

Владимир Губайловский. Я этот список знаю.

Виталий Пуханов. Вы можете представить, что все эти люди прочтут семь романов?

Владимир Губайловский. Нет. Тем более, что там надо прочесть не семь романов, а четырнадцать.

Виталий Пуханов. Это нереально, и тем не менее «Большая книга» – уважаемая премия, прекрасно справляющаяся со своей работой. Как? Чудо. Зачем я об этом говорю? Создавая премию «Поэзия», мы с учредителями исходили из того, что, хотя сейчас никто ничего не читает, люди, которые интересуются литературой, все же прочитают сто стихотворений, пятнадцать переводов и десять критических работ. Домашнее задание на осень. В основе создания проекта во многом лежала надежда на то, что некоторое число специалистов готово потратить на знакомство с поэзией три часа своего времени в год. Привлечь людей к этой работе было непросто. Вот пример. Разговариваю по телефону с образованнейшим, умнейшим человеком, работающим со словом. Он говорит: «Да нет, я не пойду. Я там буду как дурак выглядеть». Люди боятся говорить о поэзии: чтобы что-то сказать о стихах, недостаточно филологического образования...

Состав нашего жюри известен, как и в большинстве [премий]. Есть шанс, что члены жюри прочитают тексты и скажут: «Дать премию Иванову, Петрову, Сидорову, и всё!» Но если не прочитают, у нас нет возможности их заставить, сказать: «А ну, читай!» Мы могли только собрать людей, обладающих символическим капиталом, начиная от миллиарда.

Владимир Губайловский. [Так и] не говоришь, кто такие «мы».

Александр Житенёв. Мы этого не узнаем.

Виталий Пуханов. Хорошо, о том, кто такие «мы». Десятки и десятки людей работали, причем на добровольных началах. Кто-то пожелал остаться неизвестным, кто-то себя называет. К примеру, Юлия Подлубнова говорит: «Из десяти номинированных моих – двое». А кто-то не хочет, чтобы знали, что он номинатор, потому что на него оказывают давление: «А почему ты не номинировал меня?»

Владимир Губайловский. [Дарья] Суховой написала, что она эксперт.

Виталий Пуханов. Можно рассказать историю номинирования, это был детектив длиной с утра до ночи, все это время. Казалось бы, что тут сложного: просто читать стихи.

Это как когда едешь по дороге и думаешь: «Да мы эту дорогу всего за час проехали, а люди строили ее целый год. Что они тут делали? Ведь здесь все в порядке». Вот и с премией то же самое. К примеру, есть поэт Вадим Банников. Была поставлена задача экспертам: найти текст Банникова, подходящий для премии. Эксперты нашли нужный текст далеко не сразу. Или другая задача: вычленишь у [Ильи] Данишевского фрагмент. Это тоже по ряду причин было очень сложно сделать...

Разновидностей номинирования было много. Некоторым авторам эксперты были назначены: человек, который хорошо знает творчество поэта, с этим поэтом и работал. Кто-то номинировал себя сам. Приведу пример: в премиальном листе есть стихотворение Василия Нацентов, опубликованное в журнале «Москва». По-своему это прецедент. Напомните мне, когда последний раз номинировался где-нибудь журнал «Москва»?

Владимир Губайловский. Никогда.

Виталий Пуханов. Рассказываю, почему [Василий Нацентов номинировал себя сам]. Эксперты, которые должны были номинировать от журналов «Москва» и «Наш современник», сказали «нет». Они отказались сотрудничать. Василий Нацентов прислал [свои тексты] самономинированием; один из тысяч, он был найден в потоке и включен в лист. Потому что при всех [нюансах] он – один из самых молодых

и самых ярких поэтов, работающих в том поле. Задача премии «Поэзия» – защищать различные зоны обитания, не давать одним сообществам пожирать другие сообщества, как бы это ни звучало.

Из зала. Пускай пожирают друг друга!

Виталий Пуханов. Многие ли в результате выживут? Время сейчас такое, что шанс выжить имеют лишь те животные, которые живут в зоопарке. Когда-нибудь, когда человечество поумнеет, именно от этих животных, может быть, еще размножатся эти биологические виды. А в живой природе – нет.

Александр Марков. Хочу высказать и как свидетель, и как участник экспертного пула, и как человек наблюдающий некоторые сомнения и соображения. Надеюсь, что Виталий на меня не обидится.

Сомнение у меня такое: фактически речь идет о создании нового режима вовлеченности. Мы знаем, что существовал советский режим вовлеченности с его журнально-газетной индустрией: люди были приучены с утра открывать свежую газету. Этот режим модифицировался в годы перестройки, когда все выстраивались в очередь за политическими новостями, в некотором смысле читали их как стихи, а потом он вдруг рухнул. В случае премии «Поэзия» эксперты долж-

ны иметь дело и с толстыми журналами, и с «Фейсбуком», а также представлять себе, как эти платформы работают. И любое экспертное знание конвертируется в этот режим вовлеченности. Ты не просто знаешь, что одно стихотворение взято из журнала, а другое – из «Фейсбука», ты начинаешь представлять, как работают эти платформы и какие модификации должна пережить поэзия, чтобы на пути из журналов или соцсетей стать частью некоего обсуждаемого пула стихов.

Происходит создание консенсусного поля вовлеченности: мы имеем экспертов, любящих стихи и понимающих, что стихи нужно искать на различных платформах. Мы также имеем потенциальных читателей, которые получают своего рода антологию, а с появлением лауреатов – пример того, что является поэзией, что является переводом и что является критической статьей. Вроде бы все хорошо, всем дали места, все получили награды.

Тем не менее здесь имеют место эффекты, которые не запланированы самим существованием современной поэзии, но которые непосредственно следуют из медийной природы, в том числе тех платформ, на которых стихотворения размещаются. Так, если брать стихи, впервые опубликованные в «Фейсбуке» и номинированные именно в качестве фейсбук-публикации (а таких немало), то платформа социальной сети подразумевает конкретный способ саморепрезентации поэта в качестве участника как частного, так и медийного

поля. Поэт, который выкладывает свои стихи в «Фейсбук», как бы заявляет, что ему нечего скрывать, и в этом смысле он не нуждается ни в премиях, ни в режиме вовлеченности. Одновременно тот же поэт отстаивает свою частную жизнь, то есть право выложить наравне со стихами и котиков, потому что он пришел к консенсусу со своими читателями, что он действует не в режиме вовлеченности, а в режиме уже осуществившейся экспертизы, что его читатели уже признали его в качестве поэта. Иначе говоря, экспертное действие было завершено, а значит, никакой борьбы за экспертизу, которая создает обозначенный режим вовлеченности, быть не может. Отсюда может возникнуть недовольство любой экспертизой – как профессиональной, так и общественной.

Когда стихотворение из «Фейсбука» помещается внутрь премии, происходит своего рода слом. С одной стороны, мы, читатели и все заинтересованные лица, вновь должны выступить как эксперты. С другой стороны, мы заведомо создаем режим вовлеченности на основании цензурирования того образа поэта, который он долгое время выстраивал. Сразу же оказывается, что мы должны воспринять размещение данного стихотворения в поле ста стихотворений не столько как поэтический, сколько как медийный жест.

Сложная система, прозрачная на дискуссии, когда каждый объясняет, почему это – поэзия, и в то же время непрозрачная, потому что непонятно, как из, допустим, подборки в журнале извлечено именно это стихотворение, а не то –

все это работает на усиление режима вовлеченности, но и на протесты против экспертизы. Мы видим уже начавшиеся споры вокруг логики номинирования, в которых участвуют иногда и сами авторы, иногда и номинаторы, и просто заинтересованные лица. То, что всюду разворачивается в «Фейсбуке» – только цветочки. На самом деле здесь создается новый режим вовлеченности. Но по каким законам он будет действовать? Не по законам «Фейсбука», не по законам сенсации, не по законам *хайпа*, а по каким-то совершенно новым законам. Итак, что получается? Премия «Поэзия» – притязание на создание нового медийного формата. Мы в некотором смысле возвращаемся в 1990-е, когда все медийные форматы изобретались с начала: чем у нас будет гляцевый журнал, чем – интеллектуальный журнал и т. д. Только это делается на новой платформе, и никому до конца не понятно, как она работает и как производит хайпы (медиаэкспертам, может быть, понятно, но не будешь же к ним постоянно бегать). Я вижу в премии «Поэзия», как ни странно, новые 1990-е, новое время, когда любой медийный формат нужно изобрести с начала. Можно сказать, что в случае с премией «Поэзия» изобретается формат «премиальная публикация».

Виталий Пуханов. «Премиальный лист».

Александр Марков. «Премиальный лист», да. И это –

мое главное сомнение.

Александр Житенёв. Спасибо большое. Дорогие друзья, мы довольно долго заседаем, и я буду подводить итог нашему разговору.

Из разных выступлений я вычленю ровно по одной идее, которые имеют точки пересечения. Мне кажется, сегодня предметом обсуждения стало предложение, которое исходило от самой премии, а именно: обратить внимание на сумму «сгущений внимания». Мы обсуждали не представление о поэзии, а условие разговора о ней, все – по-разному.

Речь шла о том, чем стало пространство литературы: оно стало пространством акцентуации внимания. О том, что у нас есть некий революционный механизм, который в полной мере, может быть, себя еще не проявил, но у него есть взрывной потенциал, который может раскрыться в будущем. Премиаальный лист свидетельствует о том, что мы имеем дело все-таки не с пространством поэзии как *singularia tantum*, а с пространством поэзии с разными механизмами стратификации и с разными способами определения того, чем является текст-событие. Мы имеем дело, в моем понимании, с неким параличом конвенций и с необходимостью выработать новые параметры разговора, про которые пока непонятно, будут ли они обреты или нет. Наконец, еще одна позиция естественным образом резюмировала все сказанное ранее: премия «Поэзия» предлагает создание нового медийно-

го формата, создание нового режима вовлеченности. И то, что мы вовлеклись в этот режим, свидетельствует о том, что эта цель «Поэзией» была достигнута.

Евгения Вежлян. Есть ли у кого-то замечания или вопросы?

Из зала. У меня не то что вопрос... Я не уверен, что скажу что-то новое, но мне кажется, что премиальный лист имеет еще и теоретическое значение. Во-первых, он делает то, о чем писали журналы с начала нулевых: сшивает литературную карту, когда в одном премиальном листе [оказываются] и Вера Полозкова, и Андрей Тавров, и Галина Рымбу, и Нацентов. И второе: по-моему, важно, что возникает задача разработки инструментария анализа отдельного текста, потому что не для всех поэтик этот инструментарий существует.

Амарсана Улзытуев. Я хотел бы поприветствовать премию. Идея действительно замечательная. Мне вспомнилась история, тоже про конкурс стихотворений, малоизвестный в нынешние времена. Кто помнит Эмму Лазáрус? Никто не помнит. Так вот, в одном американском конкурсе, по-моему, в 1885 году¹⁹ она победила Уолта Уитмена, [Генри] Лонг-

¹⁹ Имеется в виду аукцион искусства и литературы *Art Loan Fund Exhibition in Aid of the Bartholdi Pedestal Fund for the Statue of Liberty*, проходивший в 1883

фелло, Марка Твена, Брета Гарта и других [поэтов и] писателей. Это был аукцион, на котором поэты продавали свои неопубликованные стихотворения для сбора денег на постамент для Статуи Свободы. Эмма Лазарус была человеком из известным, замечательным переводчиком с иврита на английский. Принесшее ей победу прекрасное стихотворение через несколько лет было высечено на этом постаменте. Его можно в каком-то смысле назвать стихотворением тысячелетия. Я надеюсь, что студенты его прочитают, а уважаемые мои коллеги, ученые и педагоги (я тоже старший преподаватель литературы со времен института имени Горького), наверное, вспомнят. Я желаю «Поэзии» такого же интересного продолжения. Может быть, «лучшее стихотворение» премии высекут на каком-нибудь памятнике, которым будут любоваться через сотню лет.

Виталий Пуханов. Необходимо Никитину дать слово.

Евгения Вежлян. Евгений Никитин, поэт и литературный критик.

Евгений Никитин. Я не критик. Я хотел сказать, что почему-то не прозвучало главное, с моей точки зрения, что в этой премии происходит: внимание с литературных иерар-

году, для которого Э. Лазарус предоставила свой сонет «Новый колосс». (Прим. М. Д.)

хий и символических капиталов поэтов переходит на их тексты, на то, что они пишут. Так сложилось, что у нас уже много лет есть литературное сообщество, есть премии, есть дискуссии, но это всегда дискуссии о критериях, об инновациях, о социальных группах, но это никогда не разговор о самих текстах. Создать такой разговор – это самое главное, чего премия может добиться.

Виталий Пуханов. Очень важная мысль, мне кажется. Спасибо громадное Евгению, потому что я, конечно, не могу это [поместить] ни в какие релизы, но один из слоганов премии звучит так: премия «Поэзия» не только открывает имена, но и закрывает имена. Предположим, у поэта есть репутация, есть символический капитал. Мы не можем отказаться принять его стихотворение, потому что этот капитал продавливают – до конца победить коррупцию невозможно. Но его текст будет проигрывать, и не только в глазах тех, кто не знаком со всем корпусом [его поэзии], но и в глазах экспертов: они могут увидеть представленный текст по-другому. Вокруг поэта создается определенная атмосфера. Я тридцать лет читаю некоторых поэтов, и как не понимал их тридцать лет назад, так не понимаю и сегодня, и ничто не помогло мне приблизиться [к пониманию]. Так что мы, действительно, не только открываем, но и закрываем имена; закрывайте на здоровье кого считаете нужным.

Александр Житенёв. Давайте мы для начала закроем наш сегодняшний круглый стол, потому что разговоры такого рода имеют свойство превращаться в бесконечные. Всех благодарим, всем спасибо.

Стенограмму подготовил Максим ДЪЯКОНСКИЙ²⁰

²⁰ Мы публикуем журнальный вариант стенограммы круглого стола.